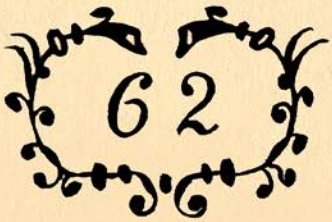
Новый Журнал



THE NEW REVIEW

нью-йорк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1959.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1117.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 29th day of September, 1960, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Comission Expires March 30, 1961.

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Девятнадцатый год издания

Кн. 62
1960

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, December 1960
Quarterly, No. 62
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price $9. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Из литературного наследства И. А. Бунина 5
Борис Пастернак — Безлюбье 10
Ольга Анстей — Четыре стихотворения 19
Вл. Корвин-Пиотровский — Два рассказа 21
Николай Моршен — Три стихотворения 35
Сергей Максимов — Фома Погребцов 38
Виктор Ляпин — Три стихотворения 47
Н. Туроверов — Конец Суворова 50
Странник — Три стихотворения 81
В. С. Яновский — Заложник 83
Н. Ульянов — Алданов-эссеист 111

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Письма Александра Н. Бенуа 121
В. Муромцева-Бунина — Беседы с памятью 147
Ек. Брешковская — Как я ходила в народ 176
Н. Нижальский — Рыбий Бог 211

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. С. Тимашев — Ломка советской школы 216
Д. Н. Иванцов — Легенды о советской деревне 228
Ю. Марголин — Интеллигенция в лагере 246
Н. Нароков — Старые мехи 262
Г. В. Вернадский — Из древней истории Евразии: Хунну . . 273

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Четыре письма В. И. Иванова к В. Ф. Ходасевичу 284

БИБЛИОГРАФИЯ:

Д. Шуб — L. Schapiro. The Communist Party of the USSR. *В. Прянишников* — G. Bailey. The Conspirators. *Вяч. Завалишин* — Л. Ржевский. Двое на камне. *Д. Викор* — Dr. B. Isehboldin. Economic Synthesis. *К. Солнцев* — У истоков русского книгопечатания. *Роман Гуль* — Л. Н. Толстой. Христианство и церковь 290
Книги для отзыва 303

PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS., 142 EAST 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА И. А. БУНИНА

Публикую шестнадцать неизвестных стихотворений Ивана Алексеевича.

В. Муромцева-Бунина

1

Из темноты, что окружает нас,
Доходит ветер свежий и прохладный,
Шумит в саду, шумит вокруг террас
Засохшею листвою виноградной.

Мотает ветер ветви сада
Осенний день, осенний сад.

2

Над скудной северной страной
Пахнула зимняя прохлада.
Полночный ветер под луной
Разносит винный запах сада.

3

Под хмурым небом, в синем море
Воздушно остров розовел

4

Кругла и бледна, поднималась луна
За бором в полночную пору.
При мертвой луне на тяжелом коне
Бежал он по тихому бору.
Светлеет в бору, он спешит ко двору, —
Не выдайте резвые ноги!
Долины молчат, лишь копыта стучат
О корни песчаной дороги.

5

Гляжу с холма из под седых олив
На жаркий блеск воды, на этот блеск зеркальный,
Что льется по стволам, игрив и прихотлив.

6

И снова ночь и снова под луной
Степной обрыв, пустынный и волнистый,
И у прибрежья тускло-золотистый
Печальный блеск, играющий с волной,
И снова там, куда течет, струится,
Все ширясь, золотая пелена,
Где под луной так ясны небеса,
Могильный холм из сумрака круглится.

7

С песками смуглыми сравни
Меня, в браслетах и нагую,
Сандалий пыльные ремни
Целуй и жди — я затоскую,
Я мертвые глаза склоню.

8

Я помню чистый гулкий вход,
Я помню запах этот пряный,
Сухой, как запах мертвых сот,
Пустых гробниц гранит багряный
И золоченый сикомор —
Футляры с коконами мумий.

15.9.22

9

Отвесной каменистою тропой
Сбегаю вниз над бездною безумной —
И море высится стеною голубой;
Спокойное, за чащей звонко шумной.

10

Отлив. Душа обнажена
Душа гола, и безобразно
Чернеет ил сырого дна.

11

Петух на этой церкви древней
В закатных облаках плывет
В чудесное и неземное,
И к Ангелу вечернего покоя
Могильно колокол зовет.

19.8.22

12

Ночь и дождь, в доме лишь одно
Светится в сырую тьму окно,
И стоит, молчит, гнилой, холодный дом,
Точно склеп на кладбище глухом,
Склеп, где уж давно истлели мертвецы,
Прадеды и деды, и отцы,
Где забыт один слепой ночник
И на лавке в шапке спит старик,
Переживший всех господ своих,
Друг, свидетель наших дней былых.

(Ночью засыпая)

13

Наполнила ты гроб дубовый
Могильным холодом своим.

14

Водянистой бирюзой
Светит небо в голой чаще
Над дорогою лесной,
Черной лужами блестящей.
В лужах, черных зеркалах —
Золотые переливы.

15

Листвою мелкою, лимонной
Засыпан черный путь лесной,
Осинник, сизый, обнаженный,
В свинцовом небе надо мной.

16

Из кн. Пророка Исаии.

Возьмет Господь у вас
Всю вашу мощь, отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника. Возьмет
Господь у вас ученых и мудрейших,
Художников и искушенных в слове,
В начальники над городом поставит
Он отроков, и дети наши будут
Главенствовать над вами. И народы
Восстанут друг на друга, дабы каждый
Был нищ и угнетаем. И над старцем
Глумиться будет юноша, а смерд —
Над прежним царедворцем. И падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье — срам и мерзость
Пред Господом, и выраженье лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, величают
Они свой грех. — Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри!

1918.

БЕЗЛЮБЬЕ

Отрывок «Безлюбье», с подзаголовком «глава из повести», был напечатан за подписью Бориса Пастернака в ежедневной газете «Воля Труда» №№ 60 и 62, 26-го и 28-го ноября 1918 года. Эта газета была «органом Центрального Комитета партии революционного коммунизма» — небольшой группы, отколовшейся от левых эс-эров после событий, связанных с убийством в Москве немецкого посла графа Мирбаха в июле 1918 года.

В своих воспоминаниях Пастернак, перечисляя ряд затерянных произведений, ни словом не обмолвился об этом отрывке. Никто из близко следивших за его творчеством повидимому о нем не знает. Я нашел его случайно, просматривая материалы, могущие пролить свет на убийство Мирбаха. На мой взгляд отрывок этот представляет исключительный интерес. Это самое раннее из известных нам прозаических произведений поэта. В нем есть не только в зачаточном виде мысли и образы позднее развернутые в романе «Доктор Живаго». Таких зачаточных элементов много: имена — Гимазетдин и Галлиула, героиня, уходящая сестрой милосердия на фронт, несчастный случай с трамваем, откуда вырастают в романе три эпизода (смерть отца Юрия Живаго под колесами поезда, срыв исполнения музыкального произведения из-за несчастного случая, связанного с одним из музыкальных исполнителей и наконец смерть самого Живаго). Помимо этого отрывок «Безлюбье» содержит сжатую, но вполне точную характеристику одного из главных героев романа — Павла Антипова-Стрельникова. В отрывке это Юрий Ковалевский, при первом известии о февральской революции выехавший с приятелем Гольцевым в центр из глубокой уральской глуши. Еще не вполне уверенные, что революция победила, молодые люди, связанные с партией социалистов-революционеров, добираются по снежным мартовским дорогам до ближайшего промышленного центра. В пути «Ковалевский думал, что Гольцев спит, и не подозревал того, что Гольцев бодрствует, а спит он сам, ныряя из дрёмы в дрёму, из ухаба в ухаб, вместе со своими мыслями о революции, которые были ему опять, как когда-то, дороже шубы, дороже клади, дороже жены и ребенка, дороже сбственной жизни и дороже чужой, и во сне, раз за них уцепившись и их на себе

отогрев...». Все это поэт мог бы без изменений повторить о Стрельникове спустя три с лишним десятилетия.

Стиль отрывка значительно отличается от других известных нам прозаических произведений, написанных до романа, и в частности от отрывков из неоконченного романа, появившихся в тридцатых годах. Ритмичность прозы, аллитерации и особенно созерцательное сближение повседневных явлений человеческой жизни с космическими категориями приближают стиль отрывка «Безлюбье» к стилю романа «Доктор Живаго». То, что голоса двух недоверчивых людей переговариваются через запертые ворота, как бы «разделяют мир пополам» — образ, в котором мы узнаем символику позднейшей лирики и романа Пастернака.

Некоторое недоумение вызывает заглавие отрывка «Безлюбье». Это словообразование не может быть случайным, но в главе напечатанной в «Воле Труда» оно не раскрыто. Может быть Пастернак имел в виду страсть Ковалевского-Антипова-Стрельникова к революции, страсть, которая на всеобщем «безлюбьи» эпохи должна была сойти за любовь?

Отрывок печатается после 1918 года впервые. Он войдет в трехтомное собрание сочинений Бориса Пастернака, которое выйдет в мае 1961 года под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Макс Хэйворд, переводчик «Доктора Живаго», готовит английский перевод отрывка «Безлюбье».

Оксфорд, Англия *Георгий Катков*

ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ

У него был брат. Это он, скрипя по снегу обошел дом, и скрипя по мерзлым ступенькам поднялся на крыльцо и стал стучаться, как стучится человек в дом, обметаемый со всех концов бураном, когда вьюга ледянит его кулак, и свища и завывая, орет ему в уши, чтобы он стучался чаще и сильней, а то как бы не... а между тем сама дубасит в ставни, чтобы заглушить его стук и сбить с толку обитателей.

Его услышали. Ему отперли. Дом стоял на пригорке. Дверь вырвало у него из рук вместе с рукавицей. Пока она летала и ее ловили, — седое вьюжное поле хлынуло в прихожую, его дыханье коснулось ламп, и до слуха долетело отдаленное звяканье колокольца. Он тонул в широком поле и,

захлебываясь, звал на помощь. Его несло к дому неудержимой тягой вихря, ухватившегося за дверь, увалами санной дороги, пришедшей в дьявольское движение, ползавшей под полозьями, и дымившейся на десятки верст кругом столбами душного снега.

Когда дверь поймали и заперли, все поднялись навстречу призраку, стоявшему в пимах, как на задних лапах, в дверях прихожей. «Подают?» спросил Ковалевский.

«Да. Выехали. Едут. Вам пора собираться». — Он облизнулся и утер нос. Поднялась суматоха. Стали выносить узлы и корзины, и дети, хандрившие с самых сумерек, с развески изюма, которой занялись, опростав стол, спуста и сдуру, когда выяснилось, что всё уже уложено, а говорить как будто не о чем, времени же впереди ещё много, дети ударились в рев, оговариваясь друг другом: ревет-де Петя, — а не я, — что папа уезжает, — и они тыкались в передники обеих матерей. За правдой, за избавлением от сумерек и сушеной коринки, от вьюжного поля и хаоса; от уезжающих пап и от ламп, от корзин и от шуб.

Вместо всего этого их, как по знаку, подняли на руки няньки и матери и в порыве душевного волнения, все вдруг, разом, понесли в коридор, и в сенях, обеими половинками дверей перекликавшихся с ямщиками, протянули уезжавшим. Головы обнажались. Все стали, крестясь и умиляясь, прикладываться, кто к кому, торопясь и поторапливая.

А меж тем, с огнем в руках, плескавшим в ночь и не выплескивавшимся на снег, татары — их было трое, а казалось — десятеро, подскочили к коням, запряженным гусем, и едва успев сникнуть и озарить постромки и бабки, привскочили, и, как угорелые, стали хлопотать и бегать, маша пламенем и поднося его то к стоявшим кругом кибитки сундукам, то к её задку, то под морды лошадей, узкою и цельной гирляндой взвивавшихся на воздух, как от порыва ветра, то в снег, то под самый их подпузник и под паха.

Миг отъезда зависел от них. А кругом — снегом гудели леса, снегом бредило поле, и напористый шум этой ночи, каза-

лось, знает по-татарски, и громко споря с Миннибаем, взобравшимся на крышу кибитки, хватает его за руки, и советует вязать чемоданы не так, как кричит Гимазетдин и не так, как полагает сшибаемый вихрем и вовсе осипший Галлиула. Миг отъезда зависел от них. Татар так подмывало взяться за кнут, засвистать и отдаться на волю последнего удалого айда. По всему этому не удержать бы уже больше коней. А ямщиков, как пьяниц к рюмке, тянуло уже безудержно и миг от мига горячей в печаль ямского гиканья и воркованья. И от того в движеньях, с которыми они бросились напяливать азямы поверх дох на господ, была лихорадка и страсть обезумевших алкоголических рук.

И вот, прощаясь, последний поцелуй послало пламя остающимся. Гольцев уже ковырнулся в глубь кибитки. За ним, путаясь в трех парах дошных пол, пролез под полость и Ковалевский. Оба не слыша тупыми валеными дна, стали, обминаясь, тонуть в подушках, в сене, в овчине. Пламя зашло с того бока кибитки, и неожиданно снизясь, исчезло.

Кибитку дернуло и покоробило. Она скользнула, скренилась, и стала валиться на бок. Раздался тихий, из самой глубины азиатской души шедший свист, и на плечах выправляя падавшую кибитку, Миннибай за Гимазетдином с разбега взвились на облучок.

Кибитку вынесло как на крыльях. Она потонула за ближней рощей. Поле встало за ней, ерошась и завывая. Оно радовалось гибели кибитки. Она исчезла без следа между ветвей походивших на басовики; за поворотом у выезда на Чистопольско-Казанское шоссе. Тут Миннибай слез, и пожелав барину счастливой дороги, пропал, прахом развеявшись по бурану. Их мчало и мчало прямым, как стрела большаком.

«Собираясь сюда, я звал её с собой» — так думал один, дыша влагою талого меха.

«Это было, помнится, так. У театра скопилось множество трамваев и у переднего толпился и тревожился народ. ‘Спектакль начался’ шопотом доверился капельдинер, и серый, в сукне, отвел рукой суконную полу, укрывавшую черное хайло

амфитеатров от освещенных вешалок, лавок, калош и афиш. В антракте (он затянулся) — они прогуливались, косясь по зеркалам и не зная, куда им девать руки, свои и чужие, одинаково красные и разгоряченные. «И вот, перебирая всё это, — она хлебнула сельтерской — я и не знаю, что выбрать и как поступить. А потому и не удивляйтесь, пожалуйста, если услышите, что поехала сестрой. На-днях запишусь в общину. — «Лучше поедемте со мной, на Каму» сказал он. Она рассмеялась.

Антракт затянулся оттого, что в начале второго действия предполагался музыкальный номер. А номер был без гобоя неисполним. В гобое же и заключалась несчастная причина скопления трамваев перед театром.

«Он изувечен», передавали вполголоса, рассаживаясь по местам, когда засветился крашеный низ занавеса.

«Он извлечен замертво из-под колес» — узнавали от знакомых, стуча тяжелыми калошами по суконке и волоча концы платков из шалей, упущенных из муфт и рукавов.

«А, теперь они удивятся». — Так думал один, стараясь слить ход своих мыслей с ходом саней и обресть сон в усыпительном подскакиваньи кибитки.

Другой думал о цели их внезапного выезда. Он думал о событиях, о своем былом отрочестве, о том, как встретят его теперь там и о том, что надлежит сделать в первую голову, за что взяться и с чего начать. Он думал также, что Гольцев спит, и не подозревал того, что Гольцев бодрствует, а спит-то он сам, ныряя из дремы в дрему, из ухаба в ухаб, вместе со своими мыслями о революции, которые были ему опять как когда-то дороже шубы и дороже клади, дороже жены и ребенка, дороже собственной жизни, и дороже чужой, и которых он ни за что бы не выпустил и во сне, раз за них уцепившись, и их на себе отогрев.

Сами собой, безучастно приподнялись веки. Их изумленье было безотчетно. Село покоилось глубоким загробным сном. Сверкал снег. Тройка завернулась. Лошади сошли с дороги и стояли, сбившись в кучку, завитком. Была тихая,

ясная ночь. Передовая, подняв голову, вглядывалась с высоты сугроба во что-то оставшееся далеко позади. За избой, схваченная клоком морозного воздуха, загадочно чернелась луна. После торжественности лесов и вьюжного безлюдья полей было былинным дивом наткнуться на людское жилье. Оно словно сознавало, как страшно и как сказочно оно, и сверкая, не торопилось отвечать на стук ямщика. Оно безмолвствовало, и длило своё гнетущее очарованиье. Сверкал снег.

На той станции Гимазетдин разбудил одного Ковалевского, и теперешний их ямщик был Гольцеву незнаком. Зато он сразу признал того Дементия Механошина, которому выдавал однажды в конторе, и значит верст за шестьдесят отсюда, удостоверенье в том, что, содержа тройку и правя попоследний год между Биляром и Сюгинским, он работает на оборону.

Было странно подумать, что тогда он удостоверял эту избу и двор, и совершенно про них не ведая, подписывал свидетельство этому сказочному селу и звездной ночи.

Потом, пока на дворе шла перепряжка и сонная ямщичка поила их чаем, пока тикали часы, и за невязавшимся разговором душно ползли клопы по календарям и коронованным особам, пока равномерно и невпопад, как механизмы с разным заводом, всхрапывали и подсвистывали сопатые тела, спавшие на лавках, Дементий входил и выходил, меняясь во всем с каждым новым появленьем, смотря по тому, что снимал с гвоздя или вытаскивал из-под перины. В первый раз он вошел в зипуне — мужиком хлебосолом, сказать жене, чтобы дала господам с сахаром и вынула булку, в другой — работником, в короткой сибирке — за вожжами, и, наконец, в третий явился ямщиком в армяке и, не входя, сказал, нагибаясь, из сеней, что лошади готовы, а час уже четвертый, время-де собираться, и пнув кнутовищем дверь, вышел на темную, звонко разбренчавшуюся при его выходе, волю.

Вся остальная дорога прошла мимо памяти обоих. Светало, когда проснулся Гольцев, и поле туманилось. По нем, прямясь и растягиваясь, тяжело и парно дымился нескончае-

мый обоз; они его обгоняли и потому казалось, что сани с дровами и возчики только топочут на месте, чтобы отогреться, и только отвизгиваются, кренясь со стороны на сторону, и раскачиваются, вперед не подвигаясь.

Широкая гужевая дорога шла стороной от той тропки, по которой летели они. Она была многим выше. Меся непогаснувшие звезды подымались и опускались ноги, двигались руки, морды лошадей, башлыки и дровни. Казалось, само подслободное утро, серое и трудное, дюжими клоками сырости плывет по прозрачному небу, в ту сторону, где ему почуялась чугунка, кирпич фабричных корпусов, сырой, лежалый уголь, майный, горемычный тар и дым. А кибитка неслась, вылетая из выбоин и перелетая ухабы, захлебывался колокольчик, и обозу не предвиделось скончанья, и давно было уже время взойти солнцу, но до солнца было ещё далеко.

До солнца было ещё далеко. До солнца оставалось ещё верст пять пути, короткая остановка на въезжей, вызов к директору завода и долгое шарканье по половику прихожей.

Тогда оно выглянуло. Оно вошло вместе с ними в кабинет, где оно разбежалось по коврику и, закатившись за цветочные горшки, усмехнулось клеткам и пичужкам в окне елкам за окошком и печке и всем сорока четырем корешкам кожанного Брокгауза.

Потом, во всё время разговора Ковалевского с заводоправителем, двор играл за окном и уже не бросал играть, и не уставал сыпать бирюзой и ручьями терпкого хвойного пота, каплями сварившегося инея и янтарем.

Директор движеньем глаз указал на Гольцева. «Это мой друг» — живо вставил Ковалевский. «При нем можно. Будьте покойны. Так вы знали Брешковскую?..».

Вдруг он поднялся, и повернувшись к Гольцеву, воскликнул как в испуге.

«А мои бумаги? Я говорил — так и есть. Ах, Костя! Ну, что теперь делать?»

Тот не сразу понял его.

«Паспорта со мной».

«Сверток, — рассерженно перебил его Ковалевский — ведь я просил вас напомнить».

«Ах, Юра, простите. Он остался там. Это, в самом деле, свинство. И как это я...»

Меж тем хозяин, плотный и отдышливый коротыш, отдавал приказания по хозяйству, фыркая, смотря на часы, поворачивал кочергой дрова в печке и вдруг, до чего-нибудь не добежав, словно передумавши, круто поворачивал назад, и возвращаясь, с разбега внезапно вырастал у стола, за которым Ковалевский писал брату: — «словом, лучше нельзя, дай Бог дальше так. Теперь перехожу к главному. Исполни всё в точности. В передней, Костя говорит, на машином сундуке, остался сверток с моей нелегальщиной. Разверни, и если среди брошюр найдешь рукописи (воспоминания, организац. границы, шифрованн. корреспонд. периода конспират. квартиры у нас и побега Кулишера и т. п.) то заверни всё, как было, и при первой же верной оказии запечатай и перешли на моё имя в Москву, в адрес Теплорядной конторы. Смотря, разумеется, по обстоятельствам.

Ты ведь и сам не дурак и при изменившейся...»

«Пожалуйте кофе пить, — шаркнув и отшаркнувшись, осторожно шепнул хозяин. Вам, молодой человек», — ещё осторожнее пояснил он Гольцеву с почтительным умолчанием в сторону манжеты Ковалевского, целившейся в нужное выраженье и застывшей над бумагой в ожиданье его пролета.

Мимо окна прошли, беседуя и находу сморкаясь, три пленные австрийца. Они шли, обхаживая образовавшиеся лужи.

— при изменившейся —

Ворона, взлетевшая при появлении австрийцев, тяжело опустилась на прежний сук.

— при изменившейся конъюнктуре —

обрел недоставшее Ковалевский — «свертка в Москву не посылай, а припрячь поверней. Полагаюсь на тебя, как и во всём остальном, о чем уговор у нас. Скоро садиться в поезд.

Смертельно устал. Думаем выспаться в вагоне. Маше пишу отдельно. Ну, прощай. —

P. S. Представь, оказывается Р., директор — старый соц.-рев. Вот и говори после».

В это время в кабинет заглянул Гольцев с откушенной тартинкой, и сглатывая недожеванный мякиш, сказал:

«Вы — Мише ведь? Напишите, чтобы и папку мою — он укусил тартинку и продолжал, глотая и жуя — послали. Я передумал. Не забудьте, Юра. И идите кофе пить».

20 ноября 1918 г. *Б. Пастернак*

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ДЕВОЧКА

Шероховатость кожи у локтей.
Испуганный изгиб неловкой, длинной шеи.
Грань юности. Еще совсем немного дней —
И ты распустишься, плавнея, хорошея.

О не спеши, дитя, туда, в горнило нег!
С твоею скрытною, твоею бурной кровью
Нейди в натоптанный, надышанный ковчег
Тех благ непрошенных, что здесь зовут любовью!

В застенчивости утренних теней,
Вдали от храмины сговорчивой Киприды,
Урчанья жирных стай священных голубей —
Подольше будь подобьем хризалиды
Всем одиночеством нетронутой обиды,
Всей угловатой свежестью своей!

ПОЧТИ КАК ТАМ

Сереющих, чернеющих бугров
Еще лежат объедки у обочин,
Почти как там... Пусть мостик этих слов
Уподобленья — робок и непрочен,

Пусть непохоже! Пусть от нас ушли
Грачей озябших крик и суматоха,
Пусть до сих пор забыть мы не могли
Блаженного дымящегося вздоха
Глубоко промерзающей земли —

А все-таки сугробы залегли
Почти как там... И то уже неплохо!

**
*

Мартовское небо бело́.
Заморозка белы следы.
К поезду в упор подошло
Одеяло белой воды.

Белую просторную гладь
Хочется потрогать рукой.
Неба пуховая кровать.
Белый предапрельский покой.

**
*

Когда весь дом причесан и умыт,
Осмысленной напитан тишиною,
И стол рабочий тянет как магнит
Своею сладостною шириною,

Когда лампадки верный огонек
На рушнике у образа поставлен,
И дух светло-насторожен и строг
И как лампадка, бережно заправлен,

И надо эту тишину вбирать,
И карандаш тянуть к себе рывками,
И теплую раскрытую тетрадь
Листать нетерпеливыми руками —

Тогда возьму я ключ, пойду к дверям,
Подальше спрячу душу человека,
И тишину и свет опять отдам
За двухнедельную бумажку чека.

Ольга Анстей

ДВА РАССКАЗА

ЗАКЛИНАНИЕ ПРИЗРАКА

В то лето веревка, связавшая наши судьбы, была натянута до отказа. Оба мы барахтались, тормошили друг друга и способствовали взаимному удушению.

Такая связь не требовала ни любви, ни уважения. Никто не понимал, зачем она оставила богатого и безобидного мужа, зачем забралась в мою глушь, где жизнь проходит меж сном и зевками. Загадочно также было мое согласие на этот переезд, который тяготил меня и оставлял мало надежд на избавление.

Я возненавидел ее с первого дня, и она, казалось мне, намеренно отравляла мою жизнь, обдуманно мстила за утраченное свое счастье, измеряемое каратами и ювелирными изделиями.

Я ненавидел ее за унижение овладевавшее мной каждый раз, когда губы наши встречались. Не могло быть сомнений, что вместо живого существа мне подсунули отлично сделанную куклу, и великолепные шелковые волосы ее лишь были приклеены к черепу опытным парикмахером.

Все члены куклы ловко двигались, грациозно сгибались и разгибались, но где-то была запрятана пружина часто вылезавшая наружу. Ее хотелось нащупать, вытянуть и сломать.

С отвращением лаская ее, я невольно закрывал глаза, чтобы не видеть розовых губ и голубых глаз где изредка проходил туман.

Страсть наша, даже в невинных формах, была противоестественный и стыдный порок; все друзья мои скоро исчезли, чтобы не быть свидетелями моего падения.

Ни разу души наши не сплелись вместе для радостного полета в высоту. Вместо крыльев мы обрели ярмарочные ка-

чели. Мы скучно раскачивали их, скучно поднимались над шарманкой, над газетным киоском и досчатым забором, — и с этой призрачной высоты нам открывалось огромное количество шляп, дешевых зонтиков, толстых затылков и жадных ртов со вставными зубами. В толпе сновали бездомные кошки и собаки, обнюхивающие пустые кульки и замасленную бумагу от бутербродов.

Я открыл, что красавица была настойчиво ленива и груба. Каждый ее окрик сопровождался страдальческой гримасой и заламыванием рук.

Мой скромный дом скоро превратился в кладбище. В нем не осталось ни одной живой мысли, ни одного живого движения. Вороха мертвых одежд были свалены на стулья, на книги, на кастрюли, не сходившие со стола. Когда наступал час любовной катастрофы, мы поспешно освобождали постель от многочисленных предметов, валявшихся там и тут. Зубные щетки, флакон с духами, тарелки и дырявые шелковые чулки, — все это вместе с одеялом летело на пол, образуя вокруг нас некий магический круг.

Случалось однако, что, полузадушенная мной, она засыпала. Тогда я вставал с воровскими предосторожностями, на цыпочках, выбирался из опозоренной спальни и прокрадывался в смехотворную библиотеку, где хранился запас ее многочисленной обуви.

Грубо наступая на изящные туфли, тяжело сокрушая пятой хрупкие тонкие каблучки, оттаптывая невидимые нежные пальцы призрачных ног, чудившихся повсюду, я зажигал свечу и усаживался за письменный стол.

Я искал отдыха от безобразия, которым была полна моя душа, я тосковал и ждал. В ночной тишине зарождались, наконец, образы — несбывшиеся желания и воспоминания.

Они входили ко мне неслышно, покачиваясь, как длинные водяные цветы, утратившие первоначальный блеск, но сохранившие запах и очарование слабости.

Глядя на эти изменчивые, как бы тающие, формы, слушая их шелест и шорох, я находил, наконец, странное спокойствие,

полное внутренних вздохов. Так зарождались стихи. Не сразу, осторожным движением, я выдвигал ящик, где хранились карандаши, дрянная бумага и перья.

Писал я неторопливо, тщательно проверяя каждое слово, и испуганно вздрагивал, когда мне казалось, что кто-то дышет за дверью.

Я твердо верил, что если бы она застала меня за этими ночными занятиями, им был бы положен конец, — все было бы прочитано, выспрошено, обескровлено. Я никому не показывал моих стихов. Целыми днями, иногда, я носил в боковом кармане, ближе к сердцу, перемятый и скомканный лист, чтобы при случае, в одиночестве, ночью, положить его на подоконник и ждать пока невидимая рука не унесет его в высоту.

Я писал никому.

Я писал прошлому. Тем милым лицам, которые еще сохранила мне память, тем шагáм и прикосновениям, которые заставляли меня трепетать в юности. Я любил все глаза, в которые смотрел когда-то, и ждал от них спасения.

Увы, нас разделяли тысячи километров, беспощадные годы и страшные события, наложившие на чувства запрет.

В ночном одиночестве я мечтал о любви.

Однажды, выправив черновик, я сразу же растворил окно, и ветер, уже поджидая, вырвал из моих рук легкий лист и унес его в пустоту и тьму.

Утром я проснулся за письменным столом. Воробьи уже громко чирикали под окном требуя бисквитных крошек. Молочник пытался сломать садовую калитку и громыхал жестяным бидоном. Луч солнца мутно подрагивал на нечищенном подсвечнике, в котором свеча выгорела до тла. Ноги мои затекли, и на правой щеке глубоко оттиснулся край стола, на котором покоилась моя голова. Привычный беспорядок окружал меня.

В столовой гремела посуда, — единственная наша горничная била ее за троих. Готовился утренний кофе.

Красавица ждала меня, — я никогда не называл ее по имени, боясь перепутать его с другими именами, но она не

протестовала. Должно быть ей нравилось прозвище красавицы, к тому же она и была красива.

Красавица вскользь осмотрела мой перемятый халат, щеку мою с полуночным рубцом, непричесанные волосы. Вид мой был непригляден и потому способствовал нашему примирению.

Мы наскоро обменялись лживым поцелуем и заговорили о погоде.

Было начало лета, листья на деревьях успели развернуться полностью, но в их блеске еще отсутствовала жесткость, приходящая с началом жары. По небу мечтательно проплывало небольшое и безопасное облако, оно приподымало легкие свои края, шевелилось, потягивалось, как бы старалось лечь на бок. Потом оно удлинилось, превратилось в серебряную нить, и исчезло за лесом.

Это навело меня на мысль о небольшой прогулке. Нетрудно было убедить ее, что свежий воздух, цветы, а, возможно, и земляника — приятны и полезны. Так как туалет ее требовал времени мы условились встретиться на определенной лужайке, где в прошлый четверг кувыркалась белая собачка соседей.

Наскоро приведя себя в порядок, довольный неожиданным отпуском, я поторопился выйти на улицу.

Дорога была привычно пустынна. Неказистые дома прятались в густых садах, окна были немногочисленны, детские качели бездействовали, цветные воздушные шарики под забором старательно проткнуты.

В лесу я без труда нашел знакомое место, выбрал дерево погуще и растянул под ним свой плащ.

Лежа на спине, я смотрел, как в полном безветрии трепещут надо мной листья, как кружится небесная синева, как выпрямляется трава, примятая моими ногами.

Из лесной чащи наплывали тишина и очарование. От ночных тревог не осталось и следа, только светлая грусть, щемящее ожидание чуда и сожаление о его невозможности.

Я предался неясным мечтам и потерял постепенно представление о времени.

Часы или минуты протекали в ненарушимом безмолвии, я дремал, и меня охраняло безлюдье.

И все это сразу исчезло. По лесу шел шопот и треск, — я приготовился к встрече.

Прямо на меня, переваливаясь с боку на бок, громыхая и поскрипывая, катилась огромная телега, нагруженная сеном. Знакомый фермер грузно шагал перед лошадью, тыкая кнутовищем в кусты, и дым его трубки наполнял воздух зловонием.

За телегой, почти не касаясь земли, шла красавица, и светлое платье ее казалось прозрачным в солнечном луче, пронзившем листву. Этот солнечный луч порой обнажал ее, тогда легкое ее тело ослепляло чистотой и совершенством форм, но тайная моя вражда, как сторожевая собака, уже натягивала цепь и порывалась выскочить наружу.

К лицу моему была приделана, однако, привычная улыбка. Скрывая досаду, я ждал того слова, которое, словно новенький ключ, сразу откроет пыльный сундук, где тщательно сложены все обиды и оскорбления, — драгоценный багаж, взятый нами в житейское наше путешествие.

Она подошла незаметно, и молча опустилась на кончик плаща.

Сощурив глаза я наблюдал за ней сквозь ресницы. Легкость и простота ее движений были для меня лишь свидетельством ее лживости.

Как искусно отдалась она тишине и очарованию, окружающему нас!

Подсматривая, я видел, как нежно раскрываются розовые губы и пьют чистый зеленоватый воздух. Вот тень прошла по прозрачной щеке, вот отделился и засверкал золотистый волос.

Лес трепетал и вздыхал, я слушал эти вздохи, и мне казалось, что рядом вздыхает живая человеческая грудь.

Неожиданно пугливая рука тронула мои волосы и прошлась по виску. Я узнал прикосновение перстня с большим

изумрудом, который столько раз царапал мне ночью плечи. От перстня исходила прохлада.

Чувствуя, что ей хочется сказать что-то, я притворился спящим, и даже всхрапнул.

Незаметно рука ее проникла мне под затылок; воспользовавшись этим, я крепко прижал голову к земле, стараясь прищемить эту руку. По моему лицу ползала назойливая букашка, мне смертельно хотелось сбросить ее, но каждый жест мог меня выдать, и потому я терпел и копил мщение.

Мучительное это состояние, наконец, кончилось. Откуда-то, как пугливый мышенок, ко мне подобрался глубокий сон, я последовал за ним и забрался в нору, где было спокойно, темно и уютно.

Разбудил меня треск ломаемых сучьев. Та же телега, снова ехала по дороге, но уже обратно. Фермер сидел на передке; не глядя на меня, он небрежно кивнул головой, прикрикнул на лошадь и скоро исчез из виду.

Как часто, проснувшись средь бела дня, мы испытываем вдруг непонятную грусть. Нами овладевает тогда неизъяснимое чувство потери, томительное беспокойство и сознание горького одиночества. Нам хочется тогда человеческого присутствия, даже если человек этот нам ненавистен. Рядом со мной никого не было, и сердце мое щемила тоска.

Солнце уже успело позолотить надломанный дуб, возвышавшийся над орешником, и неизвестно откуда взявшийся ветер с важным шумом раскачивал великолепные его ветви.

Повалявшись еще немного, вызвав и прогнав очень старые и смутные угрызения совести, я без охоты потащился домой. Тень моя лениво плелась рядом, путалась под ногами, забиралась сквозь железные решетки в чужие дворы, и всюду была лишней.

Дома я сразу заметил перемену: всё было не так, а широко распахнутая дверь говорила о поспешном бегстве.

В первой же комнате, на полу, я нашел длинную и чрезвычайно подробную телеграмму от мужа. На потеху телеграфи-

стам и почтальонам он каялся во всем, во всем, и умолял меня вернуть ему жену.

Я изучал каждую строку и не верил своему счастью.

Навеселившись вдоволь, я вышел в сад, развалился в кресле под полосатым зонтиком и закурил. В голове моей возникали разные планы, не требовавшие осуществления, но утверждавшие полную мою независимость.

Появление горничной положило им конец.

Эта старая дева, плоская, как картонная вырезка, не шла, но шествовала.

Брезгливо выпучив изжеванные губы, она двумя пальцами, подальше от себя, напоказ, несла разорванный лифчик, перепачканный пылью и паутиной должно быть найденный за диваном. Этот лифчик ждал погребения в мусорном ящике, всё в нем было позорно и не заслуживало пощады.

Начался строгий допрос, с вывертом и пристрастием.

Разговор был не легкий. Она была упряма от природы, жалила обычно сквозь зубы, высокомерно пожимала плечами. Синий передник ее, затвердевший от мыла, крепких щелочей и жестких щеток, вызывающе топорщился.

Она изворачивалась и увиливала от прямых ответов не потому, что хотела что-то скрыть, но с единственной целью доказать, показать и настоять на своем. Отмалчиваясь и запираясь, она не пропустила ни малейшей подробности и выложила решительно всё.

Я узнал таким образом, что красавица уехала ровно через пять минут после моего ухода. Большой автомобиль — оранжевое и голубое — поджидал ее уже с раннего утра на углу, возле мясной. Шоффер, наглый и опытный малый, сам сваливал в машину шелковые платья, зубные щетки, ботинки, кастрюли и шляпы, — без стыда и совести.

Перетаскивая весь этот хлам, он нарочно оборвал в гостиной занавеску. По ошибке он захватил даже мой старый пиджак, но вовремя выбросил его на цветочную клумбу, предварительно оторвав рукав.

Насладившись рассказом, я прогнал её.

Что крылось за всем этим разгромом и бесстыдством?

Мной овладела странная усталость. Окружающий мир потерял привычную свою устойчивость, он распадался на части, становился текучим. Всё видимое теряло или меняло свое место. Обычные предметы обретали новое лицо, выражение которого было неуловимо. Воздух шуршал и волновался, он полон был тайных слов и признаний. День томил меня.

Я жаждал наступления ночи, чтобы вновь и вновь вызывать дорогие мне тени, послушные заклинаниям. Дневной мир не внушал доверия, в нем жило недоумение.

Колючий куст шиповника шевелился по соседству, покачиваясь в ритм моим мыслям, и никак не мог отпустить бумажку, удерживаемую шипами. Она тщетно пыталась вырваться на свободу, как бы призывая на помощь, — я протянул руку и снял ее.

Еще не читая, на ощупь, я узнал мое ночное послание, призыв любви, заклинание, слезы о невозможном. И под стихами выделялась приписка, сделанная наспех, почти детскими каракулями:

— Я буду долго плакать.

Я без колебания узнал этот почерк.

— Вы всё же проникли в мой мир, красавица? — пробормотал я и запел на известный мотив «тра-ля-ля»:

— Я буду плакать, тра-ля-ля, Я буду плакать, тра-ля-ля.

Я и в самом деле готов был заплакать. Слезы душили меня. Я вспомнил вдруг сон на лесной лужайке и усомнился: Сон ли был это? А что, если в тайный единственный час надо мной склонилась неузнанная душа, пыталась сказать что-то, и я не захотел услышать?

И этого больше не будет.

— Тебя больше не будет! — сказал я вслух, и вошел в опустевший дом. В дверях я остановился и закричал во весь голос:

— Тебя больше не будет!

Я плакал всё громче и громче, и прибежавшая на крик горничная с ужасом смотрела на меня.

Это и было началом моей долгой и очень тяжелой болезни.

ОХОТНИК ЗА БАБОЧКАМИ

Выбравшись, наконец, за городскую черту, студент остановился у первого дерева, вырезал там себе легкую палочку и помахивая этой палочкой, пошел берегом реки дальше, куда глядели глаза.

По небу гуляли небольшие летние облачка, они старательно обходили не очень жаркое солнце, то исчезали, то появлялись снова, — и от этого окрестный пейзаж всё время менялся.

Милый запах травы и разогретой на солнце воды, придавал бодрости, и усталость, приставшая к студенту в городе, постепенно рассеялась сама собой.

Дойдя до какого-то леска, довольно густого, он немедленно забрался в самую чащу, и проплутав там с пол-часа, наслушавшись древесного лепета, насвиставшись вдоволь, вышел на открытое место в самом чудесном настроении.

День был очень хорош, и с каждой минутой становился еще лучше. Скоро набрел он на мостовую второго или третьего сорта, которая, как выяснилось, не вела никуда. Пропетляв несколько километров по полю, она уткнулась в кучу битого камня, — на ней валялись дырявая шляпа и сломанное кресло.

Студент не растерялся, отыскал узкую тропинку, расстегнул воротник и, мурлыча себе под нос, окончательно заблудился среди зеленых пространств.

Время проходило незаметно. Солнце, повидимому, не собиралось менять положение; часов у студента не было, и потому невозможно было определить время, да в общем и не было нужды.

Если изредка налетал ветерок, он приносил с собой лишь тишину и полное спокойствие; человеческое жилье было бы здесь никчему, и никаких его признаков студент не обнаружил.

Так дошел он до обширных лугов, где полагалось бы пасти коров.

Луга были переделены проволочными изгородями, и через них, гоняясь за бабочками, ловко перепрыгивал странный человек. Одет он был необычно: зеленый жакет в крупную клетку, на тонких ногах желтые краги, на голове круглая шапочка. Бледное лицо его, расписанное веснушками обрамляли короткие рыжие бакенбарды.

Он был похож на карикатурного англичанина или на подражающего ему немца, всего же более напоминал он тощего кузнечика. Человек не бегал, а прыгал, сразу отделяясь от земли обеими ногами, что было довольно неприятно.

Возможно, таким и должен быть настоящий охотник за бабочками.

В руках его была сетка, род длинного сачка, и орудовал он ею мастерски. Однажды за спиной его пролетел целый рой бабочек, охотник словно почувствовал их, вздрогнул, повернулся с молниеносной быстротой и одним взмахом захватил всё. Это было неправдоподобно, и студент невольно вскрикнул, не то от восторга, не то от возмущения. Охотник вежливо улыбнулся и прыгающей походкой подошел к нему.

Назвавшись доктором Тайфелем, или что-то в этом роде, он полюбопытствовал не занимается ли и господин студент ловлей бабочек. Тот не знал, что ответить и неопределенно пожал плечами. Так состоялось их знакомство.

Они поболтали о разных вещах, оба похвалили погоду, в меру помолчали, и после этого студент извинился, что отрывает доктора от занятий.

— Нисколько, — сказал охотник, — всё кончено, бабочек больше не будет.

Действительно, над лугом не чувствовалось ни малейшего

полета, — даже ветерок ускользнул куда-то в сторону и замер.

Студент удивился словам доктора, подумал даже — как же так? — и решил попрощаться. Тут доктор засуетился и настойчиво стал просить студента ознакомиться с коллекцией. Порывшись в сумке, висевшей у него сбоку, он вынул целую горсть цветных трупиков. От них шел запах эфира, и каждый трупик был проколот булавкой.

Они перекатывались в широкой ладони, шуршали, как сухие цветы, и казалось, что мертвые крылышки вот-вот распадутся в пыль. Это зрелище не доставило студенту радости. Он спросил, как выбраться отсюда, и получил все необходимые указания: сначала надо взять направо, потом налево, потом снова направо, а там будет тропинка, которая приведет в очаровательный городок знаменитый своей аптекой и развалинами древней башни.

— Если у вас заболит зуб, — добавил доктор, — аптекарь даст вам магическую пилюлю собственного изобретения, и я ручаюсь за успех. Впрочем — возможно, и даже наверное, что в городе никого нет.

Студент еще раз удивился, откланялся и пошел в указанном направлении. Скоро, ни с того ни с сего, у него и впрямь заныл зуб, но на первом повороте заиграл теплый ветер, появились новые бабочки, и летний день развернул перед ним такое великолепие, что зубная боль отступила, и от нее осталось лишь тревожное воспоминание.

Когда за ближайшим холмом показалась колокольня, она ничего не добавила к счастливому его настроению. Студенту хорошо было и так, — городские заботы представлялись ему смехотворными, последний скандал позабавил немало народу, и незнакомый городок обещал бесплатное приложение к внутреннему благополучию.

Он вошел в этот городок скромно, но без всякой робости. Благоразумие напомнило ему об аптеке, и он без труда нашел ее на главной площади. Несколько чудесных каштановых деревьев, под которыми приютился медный фонтан, едва

умещались среди опрятных домов, — здесь царила тень и прохлада.

Аптечная вывеска висела чуть вкось, в витрине красовались затейливые фарфоровые горшки и ступки, резная деревянная дверь с колокольчиком просила войти внутрь. Студент так и сделал.

К удивлению его в аптеке никого не было. Он похлопал в ладони, покричал немного, всё более и более повышая голос, но никто не являлся.

Полюбовавшись на старый медный таз, висевший над стойкой, погладив рукой фарфоровые ступки, он вышел в полном недоумении и уселся на скамье у фонтана.

В бассейне сонно журчала вода, лившаяся из пасти дельфина, и глупый голубь никак не мог дотянуться до нея тупым своим клювом.

Студент не сразу заметил, что журчание это было единственным звуком, который мог уловить его слух. Весь городок словно вымер. Во всех окнах подчеркнуто зияла совершенная невозможность человеческого появления; даже герань на балконах не напоминала о людях. Смущенный необычной пустотой и тишиной, студент сложил руки рупором и позвал во весь голос:

— Эй, кто тут жив! Отзовись!

Никто не отозвался.

Тогда он решился на крайнее средство.

— Караул! — закричал он: — здесь грабят, режут!

Но и из этой попытки ничего не вышло, только испуганный голубь отбежал на несколько шагов и тяжело хлопая крыльями, поднялся на крышу соседнего дома, откуда принялся наблюдать за студентом, но без особого любопытства. Со всех сторон наплывала тоска одиночества. Это одиночество ничем не напоминало того уединения, которого часто ищет человеческая душа. Необъяснимый покой, пропитавший здесь каждый камень, сам превратился в могильный камень и грозил удушением.

Невозможно было примириться, что людей больше нет,

и суетливая жизнь не оставила после себя даже тени.

Светлый день как бы померк. Солнце, сиявшее еще по прежнему, приобрело вдруг мертвый и устрашающий оттенок. Вокруг была даже не смерть, но полное исчезновение всего, что имеет право на смерть.

Студент сидел на скамье, заложив руки за голову, и ждал чего-то. Это ожидание было бессмысленным. По пустынным улицам слонялось безликое равнодушие.

Как во сне прислушивался он к слабому журчанию воды, и казалось ему, что это жизнь медленно выливается из его тела.

Еще немного, и он превратится в пустой пузырь, который сморщится, растает и станет простым пятном. Когда пятно высохнет, ничто в мире не напомнит больше о его существовании, и сам мир, как жухлая кожура, повиснет на призраке городского фонаря. Если в невообразимой пустоте сохранятся математические законы их не к чему будет приложить, и сами эти законы уместятся в одном нуле.

Мысль его лениво угасала; каждый атом его стремился к полному разложению.

В это предпоследнее мгновение кирпичный тротуар за аптекой подхватил чьи-то шаги, послал их к студенту, и сердце его встрепенулось. Все предметы заметно ожили и уточнили свои очертания. С дерева упал лист, поскользнулся в воде, и стал плавать, описывая окружности.

— Кто там? — не своим голосом закричал студент.

— Какая приятная встреча, — любезно сказал доктор Тайфель, подошел к скамье и расшаркался.

Студент рванулся ему навстречу. Он ликовал. Он забыл веснушки доктора, его довольно противный голос и еще что-то что не могло не вызывать отвращения. Объявись сейчас сам дьявол, он был бы рад и ему. Одиночество его кончилось.

Вся наружность доктора выражала крайнее удовольствие. Он суетился, кланялся и хлопал ладонью по сумке, распухшей, как детский воздушный шар. Он хвастался беспримерно и благословлял удачливый день.

Он говорил о редчайших экземплярах бабочек, которые ему сегодня удалось проколоть, — и на губах его выступала слюна.

Студент с упоением слушал каждое слово и умолял показать ему редкую бабочку.

Доктор протянул ему всю сумку, стыдливо уселся рядом и приготовился слушать комплименты.

Студент пошарил наугад и вынул прелестную голубую бабочку. Он положил ее на ладонь, и она лежала неподвижно и грустно. Острая булавка, проходившая в том месте, где полагается быть сердцу, давала ей вес, и все же — она была так легка, что могла улететь от малейшего дыхания.

Движимый чувством состарадания, студент вынул булавку и дунул. Бабочка расправила крылышки и улетела.

— Что вы делаете! — в ужасе закричал доктор, схватил сетку и побежал за ней вдогонку. Он наклонялся и прыгал, яростно размахивал руками, выбивался из сил, — но бабочка уже овладела полетом и забирала всё выше. Доктор сделал отчаянное усилие, допрыгнул до третьего этажа, промахнулся, и скоро изчез за углом дальнего дома.

Студент с лихорадочной быстротой стал вынимать булавки, — бабочки сразу оживали и разлетались во все стороны. Весь воздух был полон сверкающими красками, словно земля посылала в небо обильный радужный дождь.

Когда сумка опустела, студент услышал за собой добродушный смех. Он оглянулся и увидел толстенького человека в белом халате. Он стоял в дверях аптеки, прислонившись к косяку, и приманивал голубей.

Изо всех окон выглянули вдруг оживленные лица, молодые и старые. Все улыбались и весело наблюдали за аптекарем.

На ближайшем балконе появилась прелестная девочка и стала сыпать на мостовую бисквитные крошки.

В светлых её волосах, как большая бабочка, трепетал голубой бант.

Владимир Корвин-Пиотровский

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ*

**
*

В отходящем, уже холодеющем дне
Заменись желтизна синевою!
Догори, доиграй, допылай в тишине
Над пожухшей от пыли травою!

Чем еще любоваться в смятении нам,
Кроме смены тонов и оттенков,
В мире схем, конференций, таблиц, стенограмм,
В мире партий, программ и застенков?

Где полярные льды затирают весну,
Где подсолнух поник головою,
Где голодные псы по ночам на луну
Заунывно стенают и воют?

Где сгибают в бараний, как водится, рог
Всех, кто верит и мыслит инако,
Где надеются тщетно, седеют не в срок,
Говорят невпопад... И однако

В мире тусклых надежд и бездомных собак
По утрам расцветают цветы.
И встает Будапешт. И ведет Пастернак
Разговоры с бессмертьем на ты.

Возникают живые как ртуть полыньи.
Собираются в строчки слова.
Загораются солнца. Гремят соловьи.
И асфальт разрывает трава.

**
*

Поэты атомного племени,
Мы не из рода исполинского,
Мы гибнем без поры, без времени,
Как недоносок Боратынского.

Мы тоже ищем в мире Зодчего,
Но, не желая долго мучиться,
Мы живы верою доходчивой
В идею всёведьникчемучества.

Мы тоже можем грезить демоном,
Но забываем то и дело,
Что задается эта тема нам
Не Лермонтовым, а Максвеллом.

И мы сгибаемся под бременем
Того, что быть должно бы знаменем,
Рождаясь в веке двоевременном
Плоть — в атомном, а души — в каменном.

У СЛОВАРЕЙ

За пыльным томом — пыльный том,
А в них слова стоят гуртом,
Стоят в покое незавидном,
Стоят в бесплодии пустом,
Псевдопорядке алфавитном.

Стадами согнаны сюда
Из всех краев, за все года,
Стоят не горячась, не прячась,
Но не рождает никогда
Количество в них новых качеств.

А мне б не тысячи голов —
Табун хотя бы в сотню слов
Иль просто тройку у крыльца...
Да нет! Как в песне говорится:
Чернее смоли жеребца,
Белее снега кобылицу!

Я их пущу на счастье в ночь
Пером по глянцевой бумаге.
На белом черное — точь-в-точь
Скрещение — не шпаг! — двух магий.

... В степи лишь ветер, как пожар,
Земли от топота дрожанье,
Да полыханию Стожар
Навстречу рвущееся ржанье...

Ударят трижды в берег воды,
И трижды крикнут петухи,
Что нужно ждать к зиме приплода,
Что звери, люди и стихи —
Все братья, все одной породы,
Не прихоть — но закон природы,
Ее успехи, не грехи.

Николай Моршен

ФОМА ПОГРЕБЦОВ

РАССКАЗ

Фома Погребцов, сын известного писателя, лауреата Сталинской премии, вернулся домой поздно — в первом часу ночи.

Стоял конец мая. Отцветала черемуха, отцветала нежная, незаметная кисли́ца, которая сплошь покрывает тенистые места в Переделкине. Ее белорозовый цвет тихо свертывался и падал на́земь.

Над Переделкиным, на иссиня-черном небе, тихо поблескивали низкие, зеленоватые звезды. Над лесом кривился тонкий рогатый месяц. На востоке над Москвой стояло буро-мутное зарево от огней. Справа и слева от просёлка, по которому шел Фома, за досчатыми заборами и за невысокими палисадниками смутно темнели силуэты дач, а вокруг них — белели стволы берёз. И слышно было, как в ветвях этих берез сонно ворочались грачи.

На станции грустно и негромко позвякивали буфера товарных вагонов, и время от времени, посвистывал маневровый паровоз, нагоняя на душу щемящую тоску.

И повсюду, кругом, плыл терпкий, густой, как па́тока, запах отцветающей черемухи.

И этот запах, от которого не́куда было деться, напоминал Фоме о том единственном, о чем одном, в сущности, он и мог думать.

Впрочем, занимало Фому и еще одно обстоятельство, и даже, отчасти — беспокоило его.

Еще в то время, когда он сходил с поезда, и потом — когда шел к дому, его ни на минуту не покидало какое-то

незнакомое ему, странное чувство. Ему казалось, что он как бы слепнет и проваливается в какую-то черную яму.

... В кабинете Николая Ильича Погребцова горел свет — отец, видимо, еще работал или читал. Фома вошел в дом и осторожно поднялся на второй этаж. Комната Фомы была рядом с кабинетом отца.

— Фома!.. — негромко позвал Николай Ильич.

— Что?

— Зайди ко мне.

Фома снял пиджак, устало присел на кровать. И с облегчением ощутил, что незнакомое, нехорошее чувство покидает его, и что он как бы снова прозревает.

Фоме было 22 года. Был он тучен и грузен, некрасивый, с большим, рыхлым носом, и с тяжелым, как из цемента, подбородком. С первого взгляда, он не вызывал к себе ни симпатии, ни расположения. Однако, через одну-две минуты беседы с ним, люди, как правило, подпадали под его необыкновенное обаяние. Чувствовалась в нем какая-то внутренняя чистота и чистоплотность во всём: и в мыслях, и в поведении, и в поступках.

Фома!

— Да, да, иду...

В просторном кабинете Погребцова было полутемно и как-то неуютно. Большое окно было настежь раскрыто, и за окном тихо шелестел листвою сад.

Николай Ильич сидел за массивным письменным столом, спиной к Фоме. На рукопись его, над которой склонился Погребцов, полукружьем падал свет от настольной лампы, с глухим зелёным абажуром. Только край стола и рукопись были освещены, — комната же оставалась в тени. Тускло поблескивали стёкла книжных шкапов. На стенах — портреты писателей и актеров Художественного театра. Портреты актеров были в гримме, в том гримме, в котором они играли в последней пьесе Погребцова — «Московские ночи». В углу на мраморном столике — гипсовый бюст подслеповатого Ле-

нина. И здесь, как и по всему дому, до тошноты пахло черемухой...

— Садись, Фома. Я — сейчас... — не поворачиваясь, сказал Погребцов. — Я, брат, — сейчас... Последняя реплика... Отвлекусь — мысль потеряю. Сиди пока и молчи.

Маленький, тщедушный, с вислыми плечами и с блестящей лысиной, обрамленной клочками седых волос, одетый в широкие домашние штаны и в просторную белую фланельку, он сильно смахивал на приказчика сельского кооператива.

Фома молча сел на диван, со скрипом приминая пружины своим огромным телом.

— Эта пьеска, что я пишу, Фомушка, — говорил меж тем Погребцов, — принесет нам побольше чем «Московские ночи». Вот поверь: принесет она нам тысяч двести-триста, а, быть может, и больше. И еще: когда она пойдет, то я, брат, наверняка стану дважды лауреатом Сталинской премии. Да-с... Потому — тема актуальная, и — образ Сталина выведен.

— А как ты решил назвать новую пьесу? — безынтересно спросил Фома. Работа отца теперь совсем не интересовала его.

— Еще не знаю, — живо и охотно ответил Николай Ильич. — Ориентировочно — «Человек из Кремля». Хорошо?

Фома не ответил. Мысли его были далеко. Он вспомнил Машу и сегодняшнее свидание с нею. Сегодня он впервые был у нее в доме. Вернее, не в доме, а в крохотной, убогой комнатушке, что возле Ново-Девичьего монастыря, где она ютилась с отцом-чернорабочим и парализованной матерью.

Он никогда не подозревал, что существует на свете такая нищета. Букет черемухи, который он привёз для Маши, жёг ему руки. И всё, решительно всё: и букет, и его изящный серый костюм, и до блеска начищенные новые жёлтые ботинки, да и он сам, — всё это казалось ему нелепым, пошло-неуместным в этой убогой комнатушке среди этих бедных людей.

С Машей он познакомился месяц тому назад в клубе железнодорожников, на просмотре художественной самодеятельности. Попал он на этот просмотр просто так — от нечего делать. Пел женский хор работниц завода «Красный пролетарий», что на Калужском шоссе. Запевала Маша. Фому поразил ее свежий и чистый голос. Маша была тоненькая, худощавая девушка, с веснушками на щеках. Фома пошел за кулисы, и они познакомились. Началась любовь. И сегодня Маша впервые пригласила его к себе, чтобы познакомить с отцом и матерью.

...Фома опять почувствовал, как тёмное, нехорошее чувство туманит его голову. «Да что за чорт!» — с досадой подумал он.

— Отец... — тихо сказал он.

— Что? — не поворачиваясь, спросил Погребцов.

— Отец... вот что я хочу тебе сказать. Я рос, как тепли́чное растение. Мама и ты оберегали меня от реальной жизни, и я ничего не знал о ней...

Фома с трудом подбирал слова. Николай же Ильич, уловив в словах и в тоне сына что-то чуждое и незнакомое ему, не выпуская из рук пера, круто повернулся и беспокойно взглянул на Фому. Сын сидел на диване, склонив голову и скрестив на коленях большие, корявые руки, как у чернорабочего.

— Отец... Я рос, как сын богатого человека. Мы никогда не знали нужды... Твои книги расходились миллионными тиражами. Твои пьесы, — кстати сказать — прости — довольно бездарные — будем прямо говорить, — шли одновременно, по всей стране, — в двухстах-трехстах театрах и приносили тебе огромный гонорар... У нас — дача в Переделкине, квартира из шести комнат — в Москве, две домработницы, машина, шофер... Одним словом — ты барин, а я барчук. И заметь: ты, ведь, не член партии!.. И не так уж ты талантлив! За что же тебе эдакая благодать? А?

— Ты прекрасно знаешь — за что... тихо и угрюмо ответил Николай Ильич и сердито бросил на стол вечное перо.

— Ты, Фома, умён, и прекрасно знаешь — за что мне эдакая благодать...

— Да, знаю...

— И помни, Фома, что девяносто девять процентов советских писателей, так же, как и я, пишут ложь именно за то... за то... ты великолепно знаешь — за что... Знаешь, как сын ведущего писателя... Ты, как умный человек, великолепно понимаешь, какую колоссальную роль играем мы, советские писатели, в деле... в деле...

— Аха-ха-ха... — вдруг рассмеялся Фома, откидывая голову и показывая белые, крепкие, но редкие зубы. — Аха-ха-ха... Ты хочешь сказать — играете колоссальную роль в деле обмана всего мира?..

— Почему — обмана?— спокойно сказал отец, нервно постукивая костяным ножичком по рукописи. — В деле прославления коммунизма во всем мире.

— Аха-ха-ха!.. Ваши книги, — книги так называемых, ведущих писателей, а по мне — мошенников из Переделкина, — ваши книги переводятся на многие иностранные языки... И вы, ведущие, обманываете весь мир... — Фома нарочито сделал ударение на слове «ведущие». — И самое забавное состоит в том, что вы наполовину не члены партии.

— Фома!

— Аха-ха-ха!.. — смеялся меж тем Фома. — Отец! да ведь партия и правительство и ставят вас, ведущих советских писателей в привилегированное положение только потому, что вы поливаете розовым маслицем жестокую действительность... Ну, и умница же Сталин!

— Тише! — крикнул Николай Ильич и вскочил с кресла.— Тише, Фома!..

Николай Ильич прошелся по кабинету, потом — снова подошел к столу и дрожащей рукой взял из портсигара папиросу. Закурил. А из окна всё плыл, всё плыл одуряющий, невыносимый для Фомы запах черемухи.

— Закрой окно... — тихо попросил Фома.

Николай Ильич закрыл окно и сказал, не глядя на сына:

— Фома, ты, ведь, прекрасно знаешь, что все наши соседи-писатели по Переделкину, за немногими исключениями, не веря ни в Бога, ни в чорта, ни в социализм, ни в коммунизм, пишут так же, как и я— в защиту советской власти...

— А зачем же вы все пишете? — вяло, но с откровенной иронией спросил Фома. — Зачем же вы пишете, если не верите ни в Бога, ни в чорта? А?

— Зачем? — гневно переспросил Погребцов. — Плохой ты сын, Фома... А затем, что я хочу, как и мои соседи как сотни писателей, чтобы ты, прости, мерзавец, мой сын, и твоя мать, и твоя сестра жили по-человечески и не нуждались ни в чём... Я, прежде всего — отец, а не писатель. И я забочусь о своей семье. И ты, подлец, должен быть мне благодарен! И прежде всего должен быть благодарен за маму и за сестру твою, которые, благодаря тому, что я против совести пишу заведомую ложь, живут в достатке.

— Покорнейше благодарю...

— Я игнорирую твой пошлый тон, Фома... — уже спокойно сказал Николай Ильич. — Игнорирую уже потому, что кроме тебя, у меня на руках, повторяю, твоя мать и моя дочь... И я хочу, чтобы они жили... жили, как... А-а... ну тебя к чорту! Напился ты сегодня, что ли?.. Иди спать!..

Николай Ильич стал возле книжного шкапа спиной к сыну и замолчал.

На станции опять звякнули буфера, а на даче поэта Матвея Грачева, автора текстов к популярным песням, что жил по соседству с Погребцовым, завыл электрофон. Плюлилось томное, заунывное танго. Фома вскочил с дивана и подошел к окну. На залитой огнями веранде дачи Грачева дергались, извивались в танце силуэты мужчин и женщин. И, вспомнив убогую коморку Маши, Фома ощутил такую страшную тоску, что почувствовал почти физическую боль в сердце. Качаясь, он снова подошел к дивану и лег, вытянувшись во весь свой огромный рост.

Николай Ильич потушил недокуренную папиросу, нервно закурил — новую, и присел в ногах у сына.

— Фома... ты прости, что у меня сорвалось грубое слово... Видишь ли, — быть может это не то, что я хочу сказать тебе, но мне почему-то хочется напомнить тебе это... Видишь ли, есть в мире вещи странные, необъяснимые. Например: это было очень давно, — ты был трехлетним мальчиком, и мы с тобой, лютой зимой, ночью, ехали в розвальнях по Волге. Помнится, заночевали в каком-то селе, в избе председателя сельсовета. Я тогда был уже довольно известный писатель, и председатель сельсовета старался, чем мог, угодить мне. Пока нам с тобой ставили самовар, ямщик наш, что вёз нас в розвальнях, обмороженный, с сосульками на рыжей, лопатой, бороде, вошел в избу и подошел к тебе... Ты — что, Фома?

— Ничего... — хрипло ответил Фома. — Ничего... Но я, кажется, что-то припоминаю. Рассказывай дальше.

Николай Ильич погладил сына по колену и — продолжал:

— Так вот: подошел к тебе этот самый ямщик, а ты лежал, помнится, на лавке, укрытый моим тулупом, — подошел он, снял шапку-ушанку и распоясался... Снял с полушубка свой красный кушак...

Фома вдруг вздрогнул, перевернулся на́-спину и как-то дико и странно взглянул на отца.

— Красный кушак? — тихо переспросил он.

— Ну, да — красный кушак, которым он подпоясывал свой ветхий полушубок... — спокойно ответил отец не замечая волнения сына. — Так вот, Фома, сын ты мой милый, снял этот ямщик свой красный кушак и помахал, играючи, кушаком этим перед твоим лицом: «Смотри, мол, мальчуган какой забавный кушак...»

— Кушак? Красный? — снова переспросил Фома.

— Ну, да, кушак... — охотно и весело ответил отец все еще не замечая взволнованности сына. — Простой ямщицкий кушак... И вот, Фома, с тобой случилось что-то непонятное. Ты вдруг упал с лавки и забился как бы в припадке. Все мы, кто был в доме, на́-смерть перепугались. А я, грешный, — дело прошлое, — подумал: неужели сын мой так и останется

припáдочным? Нет! Никогда, ничего подобного с тобою больше не случалось. Я к чему это говорю? Я говорю к тому... Стой!.. Ты что такой бледный...

— Это... это ничего... — с трудом проговорил Фома. Закрой окно, отец. Черемухой пахнет, как ладаном...

— Да окно закрыто! Что с тобой, Фомушка?

— Ничего. Закрой окно получше, глуше, потому что и черемухи и джаза я не выношу. А у Грачевых все гремит джаз...

— У Грачевых сегодня праздник: кино-студия имени Горького приняла его сценарий, и он получил сто тысяч, ну и — справляют... — сказал Николай Ильич.

— Мне это неинтересно... сказал Фома, — ты расскажи лучше... про красный кушак...

Николай Ильич порывисто встал и снова принялся ходить по кабинету.

— Фома, что это с тобою сегодня? Я тебя не узнаю.

— Ничего...

Николай Ильич внимательно посмотрел на Фому.

— Я, брат, понимаю твое настроение. Ты стал презирать меня... Быть может, ты и прав... Но в утешение тебе скажу: как этот твой припадок, при виде красного кушака ямщика, никогда не повторился, так и наши произведения — произведения лауреатов Сталинских премий — никогда, так-сказать, не повторятся, то-есть не станут достоянием русской литературы... Это — бабочки-однодневки — есть такие бабочки, которые живут только один день... Но, видишь ли... видишь ли...

Погребцов запнулся, подыскивая нужные слова.

— Но видишь ли, Фома, если я лгал в своих произведениях, как, впрочем, и другие писатели-то лгут — то этим лганьём я спас нашу семью... Теперь — суди: прав я, или не прав? Ты, ведь, любишь маму? И сестру любишь... Значит — оправдаешь меня. Верно?

— Это плохое оправдание... — тихо сказал Фома. — Ты просто тщеславен.

Погребцов наклонился, сжал руками голову и тихо сказал:

— Дело не в тщеславии. Запомни Фома: в центре всей мировой литературы стоит — человек! Значит, и в жизни он должен быть на первом плане, человек-то этот. И для меня твоя мать и вы — мои дети — самое главное... И — не вини ты меня строго. Пожалуйста, не вини...

— Расстегни мне ворот... — тихо попросил Фома. Он чувствовал на губах противный, приторный запах черемухи. Ах, эта черемуха!..

— Кушак... — пробормотал Фома.

Николай Ильич встал и хотел было снять с сына галстук и расстегнуть ему ворот рубашки, как вдруг Фома вскрикнул и обеими руками, со всей силы рванул на груди рубаху. Рванул и, хрипя, свалился с дивана на пол. Лёжа на полу и дергаясь всем телом, он все еще пытался разорвать рубаху, но руки уже не слушались и бессильно вытянулись вдоль тела. Навзничь закинутая голова его, мерно и сильно, затылком, билась об пол, а в уголках губ его появилась пузырчатая, розовая пена.

— Фома!.. Фомушка!.. — крикнул на весь дом Николай Ильич и метнулся к телефону.

А за окном всё так же томно и нудно завывал джаз.

Через несколько минут, приехала карета скорой помощи. По дороге в больницу Фома умер...

Сергей Максимов

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЕЗДКА НА МОТОЦИКЛЕ

Птицы к вольности привыкли,
Птица вьется и поет.
Хорошо на мотоцикле
Целый день лететь вперед!

Дай свободу быстрым коням!
Заметает пылью след.
Верь, и счастье мы догоним,
Или счастья вовсе нет...

Чешет ветра длинный гребень
Золотые волоса.
Это в поле, или в небе
Славят скорость голоса?

Это — жизни взблеск мгновенный
Над распутьями дорог.
Это взвихренный и пенный,
Самый юный, светлый бог!

...Отступая, никнет лето.
Путь уходит всё вперед.
Не догонишь... Видно, где-то
Счастье село в самолет...

---

* Эти три стихотворения получены нами из-за «железного занавеса» от поэта, которого там не печатают. РЕД.

АРИОН

Разукрашенный, блестящий,
Всем наскучивший вполне,
Запевала, птица-ящик,
На трехметровой волне.

И в волненьи, но без страха,
Залетев за океан,
Начинает фугу Баха
Душный, трепетный Милан.

Начинает петь незримо
В тесной клетке у меня
Хор слепых детей из Рима,
Колокольчиком звеня.

Голос счастья чист и женствен,
На волне летя крутой.
Может, нужно для блаженства
Сердце ранить слепотой?

Будет мучить этим птица,
Раскрывая жаркий клюв.
Будет плакать и молиться,
До рассвета не уснув.

МОРЕ

Смотри, не оно ли
Блестит из-за леса,
Простора и воли
Раздвинув завесу?

Дыша, словно птица,
Свободой и страстью,
Подносит напиться
Ветров и ненастья

Бурлящую, нашу,
Навек без измены,
Хрустальную чашу
Тумана и пены.

Иди ж на мой берег,
Сядь к волнам и слушай,
Земные потери
Оставив на суше.

Я — вечность! Я — море!
И гулом прибоя
И в счастье, и в горе
Тебя успокою.

Виктор Ляпин

КОНЕЦ СУВОРОВА

I

Швейцарские горы оставались позади; спускаться было тяжело. За ночь ветер сдул снег в лощины, на скалах остался слой льда. И люди, и лошади скатывались вниз по скользкому откосу, иные срывались в стремнины; слабые ложились и не поднимались; те, кто хотел отдохнуть, садились на ледяные уступы и засыпали вечным сном; в лицо дул холодный ветер с дождем и снегом, одежда обледенела.

Со дна пропасти предстоял новый подъем на обледенелый утес, напротив которого ревел водопад, низвергая пласты снега. Армия давно потеряла порядок, полки перемешались, — каждый шел там, где ему казалось удобным.

Суворов в круглой, с широкими полями, капуцинской шляпе и в синем обветшалом плаще, который вся армия называла родительским, ехал на небольшой, серой казачьей лошади; два дюжих, высоких казака поддерживали его с обеих сторон; лошадь вел под уздцы старик-доброволец Антонио Гамма; Суворов порывался вырваться из казачьих рук — пустите меня, пустите, я сам пойду! Казаки молчали; только изредка кратко и сердито отвечали — сиди!

Подъемы и спуски становились отлогими; снег и лед сменила невылазная грязь; ветер прекратился; закурилась мгла и густой туман. В глубокой лощине оказался лес; все бросились разводить костры; но сырая мгла гасила огни, горький дым расстилался по земле. У редких костров толпились люди; сухари давно были съедены; кой у кого были еще остатки воловьей кожи, — намотанная на шомпола, она чадила в огне, — ее ели полусырой; другие раскапывали корешки растений.

На следующее утро, в тумане, войска собрались в деревне Паникс, а немного погодя дошли до городка Иланца Здесь, наконец, добыли дров, обогрелись, и 27 сентября потянулись к городу Куру. Все без различия, генералы, офицеры, солдаты и казаки были оборваны, босы, голодны, изнурены; но впереди был близкий отдых.

Суворов крупной рысью обскакивал полки и весело кричал солдатам:

— Здравствуйте, чудо-богатыри, витязи земли русской, — здравствуйте!

— Здравия желаем, отец, батюшка Александр Васильевич! — вырывалось у всех; громкое ура летело за Суворовым; грянули песни.

Швейцарский поход был окончен.

Из 20.000 русских войск, выступивших из Италии, через 17 дней дошли до города Кура меньше 15.000, приведя с собой 1.400 пленных французов. Больше 1.600 было убито, упало в пропасти и замерзло, 3.500 раненых было оставлено на милость врага в Гларисе и Муттентале; потеряны все пушки и обоз. В Швейцарии снова владычествовали французы; парижские газеты сообщили, что Souvarov, «непобедимый варвар, погубил половину своей армии и ретировался со стыдом и яростью в сердце».

В Куре Суворов узнал о разгроме Массеной Римского-Корсакова под Цюрихом. Корсаков потерял 26 орудий, 9 знамен, огромное число убитых, раненых и пленных, — в одном Цюрихе осталось больше 5.000 человек и среди них три генерала.

Суворов ужаснулся. Еще, когда остатки его армии бедствовали на ледяных склонах Ринген Копфа, он обдумал план нового вторжения в Швейцарию: реванш, реванш — прямо на Франш-Контэ, десант в Вандее, восстание в Нидерландах, — гидра должна быть раздавлена в своем логове — в Париже.

Но с кем теперь идти? Суворов склонился над разостланной на столе картой. С цесарцами-австрийцами? Изжили нас из Италии, губили в Швейцарии; безвольный цесарь Франциск, всемогущий Тугут, во главе венского гоф-кригс-рата,

— его предрассудкам, без ответа Богу, нельзя следовать: вяжет из всех четырех углов, хочет управлять за тысячу верст! Потерял Нидерланды, Швейцарию, Рейн и преклонил колени пред Бонапартом. И все Тугут, и везде Тугут — сова в темном гнезде, — подъяческие: мерере, бетрехтлих, и другие двулички. Пришли в Биллинцоп... лошаков нет, лошадей нет, а есть Тугут, и горы и пропасти; но я не живописец, — пошел и прошел. Видели и французов; но всех пустили под такую мать холодным ружьем, по-колено в снегу. Массена проворен, да неуспел...

Суворов сел на стул, задумался, закрыл глаза: так с Бонапартом и не столкнулся. А его ребята не цесарцам чета, — даром, что молодо-зелено! Моро, Макдональд, Виктор, Удино, Мортье, Сен-Сир, Груши, Лекурб, — ему розу подарил, — со всеми познакомился, кой-кого в полон захватил. А Жубер? Молодой человек приехал поучиться: под Нови, на коне, в рядах пехоты: en avant! Пулей наповал, — солдат в пятнадцать лет, генерал в двадцать четыре года. Жаль, жаль!

Так и не привел Господь встретиться с Бонапартом.

Суворов открыл глаза, встал со стула и подошел к окну. Через улицу, на большом дворе, фельдфебель Багратионова полка раздавал егерям винные порции; егеря стояли очередью, в затылок; передний егерь с перевязанной головой выпил водку и, не передавая чарки очередному, протянул ее снова к фельдфебелю, что-то говоря и показывая на свою голову, фельдфебель засмеялся и налил снова. Засмеялся и Суворов: ему захотелось выпить водки, но он сейчас же отскочил от окна и заметался по комнате: а под Цюрихом худо и Лаватера ранили... Цесарцы под Мангеймом, Тугут везде, Гоц нигде... Геройство побеждает храбрость, терпение скорость, рассудок ум, труд, лень.

Из-за двери высунулся Прошка:

— Чего изволите?

— Реляция, реляция! Беги за господином Фуксом.

Через полчаса заспанный статский советник Фукс (он спал четырнадцать часов подряд, все еще не веря сквозь сон,

теплу и покою) не поспевал писать за диктующим Суворовым о Швейцарском походе.

«...Генерал Дерфельден мужеством своим оживотворял воинов; непоколебим был среди опасностей, неутомим и благоразумен в распоряжениях.

Розенбергу предоставлена была слава отмстить Массене за победу его в Швейцарии; Розенберг заманил его в долину, выждал, ударил в штыки, поразил и рассеял. Сей подвиг совершился под Мутенталем.

Генерал Ребиндер отличился при Урзене и Алдорфе; при Мутентале отнял пушки у неприятеля, разя его штыками.

Швейковский неустрашимо предводил вверенною ему частью войск.

Милорадович, начальствуя передовыми войсками генерала Розенберга, с неизменной быстротой разил и гнал врага. Необычайная горная война возбуждала в нем новую отважность. При случае спустился на спине с утесистой горы.

Генерал Мансуров отличился быстротой на высотах Урзена; разил врагов штыками и овладел Тейфельсбриком, сиречь — Чертовым мостом.

Князь Багратион, начавший подвиги на полях Италийских, озарился новою славою и на высотах Альпийских.

Вожди донцов, Денисов и Курнаков, находясь по крыльям полков и впереди, разили врагов, множество брали в плен и везде быстрым появлением наносили ужас...

Суворов в числе отличившихся упомянул и о своем сыне: отцу сладостно видеть полет сыновий! Упомянул и о стаском советнике Фуксе, препоручив его высочайшему вниманию. Фукс порозовел; еще до назначения Суворова он был при армии для ограждения ее от тлетворных влияний якобинцев; но влияний не обнаружилось и остался Фукс при Суворове по письменной части.

Реляция была закончена. Суворов приказал Фуксу намекнуть Гавриле Романовичу Державину через письмо к Резанову о том, что переход Альпов достоин восторгов нашего

барда: ужели он не вострубит? Русские оправдали изречение Ломоносова:

Где только ветры могут дуть,
Там пролетят полки орлины.

Альпы за нами, Господь перед нами! Русские орлы облетали орлов римских! Где проходит олень, там пройдет русский солдат! Как бы это в стихах?.. А скажи, господин статский советник, как по-латыни пословица: поэты родятся, а ораторы делаются?

Фукс ответил: Poetae nascuntur, oratores fiunt.

Суворов засмеялся: жаль, что нет на латинском языке и этой: — одни генералы родятся генералами, а другие делаются. Первых видел я на передовых постах со штыками и саблями, а последних на паркете перед кабинетом, полотерами и несменными стражами. А мундиры у тех и у других одинаковы. Однако, покойной ночи, господин Фукс.

II

Только через месяц, в двадцатых числах октября, было получено в Петербурге известие об исходе Швейцарской кампании. Император Павел вздохнул облегченно. Его беспокойство за армию, за Суворова, за сына — великого князя Константина, находящегося при армии, было жестоко и мучительно. Австрийский император просил помощи — он дал своих солдат: просили полководца — он дал Суворова. Но честность и бескорыстность Европе смешны, — «политика есть гнилое яйцо», — прав Суворов, погибающий теперь в Альпийских громадах. Русский мавр сделал свое дело в Италии — мавр может уйти в швейцарскую ловушку. Кругом обман, лицемерие, эгоизм, трусость и жадность; народ народу — волк, какое там рыцарство Мальтийского креста? Император тревожился и негодовал: было приказано не служить больше молебнов о цесарских победах, курьерам к Суворову не заезжать больше в Вену, объявить Кобенцелю, что русский государь не обязан делать, что угодно Тугуту.

«Вы должны были спасать царей, теперь спасите русских воинов и честь вашего государя. Главное — возвращение ваше в Россию и сохранение ея границ», писал император Суворову в альпийские снега, в неизвестность... И вот только в конце октября пришла, как бы с того света, суворовская реляция — Швейцарский поход был окончен: император вздохнул облегченно: честь России была спасена! Награды каждому — там все герои; награждать Суворова, казалось, было уже нечем, — император пожаловал его генералиссимусом[1], сказав при этом Ростопчину, что другому это было бы много, а Суворову мало: он достоин быть ангелом! «Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов отечества», писал к нему император, «не доставало вам еще одного рода славы: преодолеть самую природу: но вы и над нею одержали ныне верх... Награждая вас и ставя на высшую степень, уверен, что возвожу на оную знаменитейшего полководца сего и других веков». Академии наук было приказано проектировать статую нового генералиссимуса. Козловский, автор Геркулеса на коне и Кариатид Павловского дворца, представил проект: Суворов, в виде рыцаря, закованного в латы, прикрывает российским щитом жертвенник с римской и сицилийской коронами и папской тиарой; проект, изображавший грациозного бога войны, но не Суворова, вызвал восхищение и был одобрен; приказано было приступить к работам. Военной коллегии повелено было вести с Суворовым переписку не указами, а сообщениями.

Над Петербургом гулял ледяной ветер. Державину, прогуливавшемуся вдоль темной и тяжелой Невы, нажгло холодом уши, колючий снежок слезил глаза, — старик зажмурился, вдохновился: на Альпах тот же ветер и снег, но только

---

[1] Суворов был третьим русским генералиссимусом. После него (до Сталина) генералиссимусов не было. До Суворова, «сей чин коронованным главам только надлежащий, а наипаче тому, чье есть войско» (устав Петра Великого) был пожалован Меньшикову, благодаря помолвке его дочери с Петром 2-м, и супругу правительницы Анны Леопольдовны принцу Антону-Ульриху Брауншвейгскому, получившему этот титул вместо Миниха.

трагичнее, трагичнее — там пропасти, водопады, Сен-Готар... «Хохочет ад», потом какой-нибудь там «пар» и... «нахмурясь, смотрит Сен-Готар»... Державин распахнул навстречу ветру шубу и заторопился домой — успеть бы записать:

...Ведет под снегом, вихрем, градом,
Под ужасом природы всей!..
Но россу что и где преграда?
С тобою Бог! — И гор громада
Раздвиглась силою твоей...

Уже входя в дом, Державин забормотал:

Отныне горы в век Альпийски
Пребудут россов обелиски!

От Швейцарского похода Петербург возликовал, а Европа походу удивилась. Газеты были переполнены былями и небылицами о Суворове и его армии. Было сообщено, что генуэзский анти-революционный комитет будто бы предлагал Суворову семь миллионов франков за изгнание французов с Ривьеры, на что, якобы, Суворов и ответил письмом; приводилось и его письмо, полное восхитительного вздора: «Возвышеннейший, могущественнейший, превосходительнейший господин, граф Суворов, слуга Божий и угодника Его Николая Чудотворца, кавалер орденов Тигра, Скорпиона, Барса и Св. Александра Невского, главнокомандующий австро-русскими войсками в четырех частях света, поборник царей, разрушитель республик, архимандрит и епископ греческой церкви, архикатолик и прочая, и прочая, и прочая...»

Во Франции Суворова считали чудовищем с наружностью обезьяны и душою кровожадного пса, и пугали детей переиначенным именем этого монстра Souwarou, вместо loup garou. Бонапарт, бросив свою армию в Египте, поспешил во Францию: дела в Италии шли из рук вон плохо: этот старый скиф «с душою великого полководца» наделал хлопот.

«Qu'avez vous fait de cette France que je vous ai laissée si florissante? Je vous ai laissé la paix, j'ai retrouvé la guerre. Je vous ai lassé des victoires, j'ai retrouvé des revers. Je vous ai laissé les millions de l'Italie et j'ai retrouvé partout la misère»; — неистовствовал Бонапарт в Париже. Правители Франции только чесали затылки... Австрия теряла последние надежды удержать при себе русские войска; расстаться с Суворовым она была, пожалуй, не прочь; Суворову был пожалован большой крест Марии Терезии (хотя в гоф-криге-рате и спорили: не слишком ли велика награда)...«В Вене ваше последнее чудесное дело удостаивают названием belle retraite; если бы они умели так ретироваться, то давно завоевали всю вселенную», писал Суворову язвительный Ростопчин.

Все это было хорошо и утешительно, но не очень. Суворов отлично понимал неполный успех Итальянской кампании и вынужденность Швейцарской; кампании были славные и блестящие, они поражали воображение, а Швейцарская трагедия была достойна Шекспира; но у Суворова в прошлом все было славно и блестяще. Не за этим он приехал сюда, почти похоронив себя в Кончанской опале, на исходе своих семидесяти лет: — изгнание французов, искоренение крамолы, восстановление престолов, торжество религии, — всего этого на деле не оказалось; оставалась русская слава, но она никогда не покидала Суворова — он к ней привык: слава, слава, слава — мы русские, какой восторг! Однако, вот бил французов, да не добил; вместо Парижа — охрана цесарских границ; двоевластие с эрц-герцогом Карлом, требующим планов новых операций, присылающим свои планы, замучившим перепиской, просьбами о свидании. Какое там свидание («юный эрц-герцог Карл хочет оволшебить меня своим демосфенством»), когда вся русская армия нескрываемо ненавидит цесарцев, а великий князь Константин не подает их генералам руки; какие там планы новых операций, когда собранный 7 октября в Линдау русский военный совет единогласно решил: «кроме предательства, ни на какую помощь от цесарцев нет надежды; ради чего наступательную операцию не производить». Домой,

домой! Но Суворову все еще казалось: вот, вот, что-то изменится — есть же правда на свете — подчинят ему герцога, присоединят его войска, развяжут руки: иди, куда знаешь и как хочешь. У Суворова был свой план — краткий, ясный, простой: в ноябре быть в Лионе, Новый Год встретить в Париже. Но время шло; ничего кроме переписки с герцогом, не было: переписка принимала личный характер, — обе стороны впадали в крайности. Предполагаемый Суворовым отход русской армии на винтерквартиры в Баварию герцог назвал отступлением, — Суворов рассвирепел: «во всю жизнь свою не знал я отступлений и обороны, а ваше оборонительное положение в Тироле стоило вам свыше десяти тысяч солдат!» Это было последним письмом Суворова к эрц-герцогу Карлу. За три дня до этого, 18 октября, Егор Борисович Фукс, красный от недоумения, перевел на французский язык прощальное письмо Суворова к герцогу: «Завтра двинусь я на зимние квартиры между Иллером и Лехом. Наследственные владения должны быть защищаемы завоеваниями бескорыстными; для этого нужно привлечь любовь народов справедливостью, а не покидать Нидерландов, не жертвовать двумя прекрасными армиями и Италией. Вам говорит это старый солдат, который почти 60 лет несет уже лямку, который водил к победам войска Иосифа 2-го и Франца 2-го, который не любит болтовни демосфеновой, ни академиков, путающих здравый смысл, ни сената Аннибалова. Я не знаю зависти, контр-маршей, демонстраций; вместо этих ребячеств — глазомер, быстрота, натиск — вот мои руководители...» Письмо было длинное и странное, — трудное для перевода. Суворов тщательно проверил его, особенно слова: глазомер, быстрота, натиск — coup d'oeil, célérité, impulsion, и мелко, четко, черно (он всегда писал тушью) подписал: Monseigneur, de Votre Altesse Royale le très humble et très obéissant serviteur prince Italiski comte Alexandre Souworow-Rimniksky. Свернул в конверт, взял свою обычную печать, на которой, скрещенные шпага и стрела были окружены знаменами, пушками, литаврами и орденами; но раздумал, и взял другую, заветную, изображаю-

щую гору с отскакивающими от нее стрелами и надписью: рази, рази — мать твою в п . . ду[2]. Подышал на печать и крепко приложил ее к сургучу. Фукс только ахнул.

В конце октября Суворов перевел свою главную квартуру в Аугсбург; правее стал корпус Дерфельдена, левее Розенберга, в первой линии, по Иллеру, расположились казаки. Русская армия стала на винтерквартиры. Было время. Над Баварией кружился снег. Союзные войска расстались, чтобы никогда не встретиться. Последняя Суворовская кампания и его боевое поприще были кончены.

III

Союз России с Австрией распадался. Оставаться Суворовской армии на зимних квартирах в Баварии, ожидая весны, уже не имело смысла. Суворов перевел в начале декабря свои войска в Богемию и сам переехал в Прагу. Имя Суворова, выросшее в Европе, и особенно, в Германии, за Итальянскую кампанию, после Швейцарской, засияло особым блеском; он стал центром общего внимания: всюду на его остановках, в Линдау, Аугсбурге и, особенно, в Праге не было прохода от жаждущих возможности хотя бы взглянуть на русского фельдмаршала; общее почтение к нему граничило с благоговением — дамы добивались чести поцеловать его руку.

Отблеск Суворовской заграничной славы отразился в России двойным светом и император Павел в то время был подлинным представителем национального настроения, когда писал Суворову: «не мне тебя, герой, награждать, — ты выше мер моих»; посылая новогодние пожелания, император просил Суворова поделиться ими с войсками, если он — император — «того стоит», так как его единое желание «быть достойным такого воинства».

Император Франц, как бы в свое оправдание, заверил Суворова в своей признательности, оставив ему пожизненно звание

[2] Эта печать находилась потом у генерала Ермолова.

австрийского фельдмаршала с жалованьем в 12.000 гульденов; курфюрст Баварский прислал Суворову орден св. Губерта, а курфюрст Саксонский своего художника Шмидта, поручив ему написать портрет генералиссимуса, что и было исполнено в обстановке весьма необычной. Шмидт был принят Суворовым в Праге, в отведенном ему отеле барона Вимера; к приготовившему уже свой мольберт художнику, выбежал маленький, сухенький, слегка сгорбленный старичек с голубыми прозрачными глазами, гладко выбритым морщинистым лицом и непричесанными редкими, седыми волосами; старичек был в исподнем белье; полупьяный Прошка с двумя большими шейными золотыми медалями на зеленых лентах, пожалованными ему сицилийским королем за сохранение здоровья Суворова, торжественно принес стул. Старичек подбежал к Шмидту и очень точно, отделяя каждое слово, заговорил: — Ihr Pinsel wird Züge meines Gesichts darstellen, diese sind sichtbar, allein meine innere Menschheit ist verboten. Ich muss Ihnen sagen, dass ich Blut in Strömen vergossen habe — ich erbebe, allein ich liebe meinen Nächsten. In meinem Leben habe ich keinen unglücklich gemacht, nie ein Todesurtheil unterzeichnet, ein Insect ist von meiner Hand gefallen — ich war klein, ich war gross.[3]

Суворов вскочил на стул, постоял на нем и спрыгнул:

— Bei der Fluth und Ebbe des Glucks, auf Gott bauend, war ich unerschütterlich, so auch jetzt.[4]

Суворов сел на стул, «Вдохновляйтесь вашим гением и начинайте», сказал он Шмидту. Но вдохновляться художнику особенно не пришлось: через четверть часа Суворов убежал. Только спустя несколько дней, на обеде у Милорадовича,

---

[3] Ваша кисть изобразит черты лица моего — оне видимы; но внутреннее человечество мое скрыто. Я должен вам сказать, что я лил кровь ручьями. Трепещу, но люблю своего ближнего, в жизни своей никого не сделал я несчастным, не подписал ни одного смертного приговора, не раздавил своей рукой ни одного насекомого, — я был мал, я был велик.

[4] В приливе и отливе счастья, уповая на Бога, бывал я неколебим так, как теперь.

Шмидту явилась возможность, украдкой, за столом, зарисовать черты лица генералиссимуса, — это было нелегко: генералиссимус был в прекрасном настроении, ел свою любимую щуку с голубым пером, балагурил и гримасничал; австрийский белый фельдмаршальский мундир и ордена Шмидт дорисовывал на портрете Суворова потом, пользуясь услугами Прошки. Суворов остался доволен портретом[5]), но запротестовал: «Я сорок лет уже не видел себя в зеркале, но неужели я так постарел и подурнел!». В Праге Суворов получил письмо от Нельсона: «Любезный князь и брат! В Европе нет человека, который любил бы вас как я ...» Английский кумир, адмирал Нельсон прилагал к письму свой гравированный портрет, настаивая на своем сходстве с генералиссимусом: Суворов нашел, что и впрямь — они похожи. —Любезный барон и брат! Я, действительно нашел сходство между нами... Победы, славы и благоденствия на новый год!» — ответил Нельсону Суворов.

Давно не было так весело в Праге, как в те дни когда там жил Суворов. Русское офицерство веселилось во всю; вечера и балы следовали один за другим; да и сама Прага, лежащая в уютной котловине, с узкими средневековыми улицами, с Карловым мостом, туманными, мягкими днями, полюбилась русским; особенно шумела русскими голосами пивная Флека — здесь пил пиво когда то сам Лютер — подумать только! Никогда еще не казался таким веселым, подвижным и чудаковатым Суворов, никогда так много не ел и не пил он, как в эти пражские дни, едва поспевая с одного приема на другой, не успевая отдыхать от своих приемов в Вимеровском дворце. На святках у Суворова шел дым коромыслом — вся местная знать, — среди которой были и граф Бельгард и лорд Минто (оба приехавшие из Вены: последняя попытка удержать русские войска), — должна была водить хороводы, играть в фанты, в

---

[5] Этот портрет пастелью весьма долгое время считался погибшим; только в 1898 г. он был разыскан известным знатоком русской художественной старины Верещагиным и приобретен императором Николаем Вторым.

жмурки, в жгуты, петь хором русские песни и гадать. В кутерьме и неразберихе первенствовал Суворов хохоча от души над неспособностью иностранцев веселиться по-русски: в фантах Суворову досталось быть исповедником, все уходили от его исповеди с веселыми лицами, только у трафа Бельгарда вид был невеселый, — накрыв его шалью, Суворов не шутя, очень грустно ему прошептал:

"Si on veut faire encore la guerre à la France, qu'on la fasse bien, mais si on la fera mal, ce sera un poison mortel".

Никогда еще так не веселился Суворов, как на встрече нового девятнадцатого века. Казалось никаких душевных страданий, никаких недомоганий не могло быть у этого жизнерадостного семидесятилетнего старика. Но это только казалось. Сам Суворов чувствовал, что с ним происходит что то не то. Это «не то» первым заметил неразлучный с Суворовым, с самого Измаила, его вестовой казак Селезнев. Сопровождая в начале января Суворова на смотр проходившего через Прагу гренадерского Тучковского полка, Селезнев увидел, как жидко сидел Суворов в казачьем седле, теряя поводья и хватаясь за луку, как испуганно глядели на Суворова давно его не видевшие гренадеры, а, главное, потому что Суворов ничего не сказал им а только заплакал — понял простым казачьим чутьем Селезнев, что Суворову на коня больше не садиться, — и заплакал сам.

Вернувшись домой, он сказал Прохору: — «а наш старик тово... кажись — отвоевался». Заметил и Прошка неслыханную вещь — Суворов стал бояться холода, хотя всячески и скрывал это. Спал он по старому, на сене, укрываясь простыней и плащем, но окачиваясь при пробуждении ледяной водой, уже не кричал, как раньше, от удовольствия, не хлопал себя по бедрам руками, не прыгал по комнате, а съеживался и синел, зубы его стучали, на глазах стояли слезы. Прошка стал подавать воду слегка подогретой. Суворова начал мучить кашель, он стал ненавидеть ветер. Однажды ночью он разбудил Прохора и Селезнева, — в громадной приемной откуда то дуло и они втроем стали бегать по приемной, ловя ветер.

IV

В половине января, отдохнувшая в Богемии суворовская армия двумя колоннами весело двинулась в Россию. Суворов ехал с левой колонной в кибитке. В Кракове Суворову стало худо; жестокий кашель разбивал ему грудь. Местные врачи советовали больному пройти курс лечения на водах. «Помилуй Бог! Посылайте на воды здоровых, богачей, игроков, интриганов, а я болен не шутя», разсердился Суворов: «мне надобны деревенская изба, молитва, баня, кашица, да квас». Генералиссимус («Ох, велик этот чин, он меня придавит, — не долго мне жить») затосковал, заскучал по России. Домой, домой: в Петербург, а потом в родное Кончанское! В Кракове Суворов простился с армией, — до нас не дошел его прощальный приказ, — сдал команду Розенбергу и поскакал, в кибитке, дальше; но скакать ему оказалось уже не под силу: Суворов с трудом дотащился до своего Кобринского поместья, пожалованного ему императрицей Екатериной, в Гродненской губернии, и там слег; императору донес, что останавливается в Кобрине на четыре дня, а остался в польских снегах полтора месяца.

Кобринский господский дом не велик, — Суворовской свите тесно, скучно. Трещат дрова в печах, за окнами трещат морозы, порхает снег. Не скучает только Фукс. Державин прославил Екатерину и прославился сам. Теперь черед Фукса: прославить Суворова, — Фукс серьезно считал себя писателем: «счастливым я себя почту, если мне удастся представить Отечеству сего Гения во всем блеске и величии». Он состоял при «гении», видел его в боях и походах, вел дневник войны, составлял реляции, которые правил Суворов, требуя сжатости, ясности: никакой воды! Однако, Суворовский стиль Фуксу не дался, и представить Суворова отечеству ему так и не удалось; но в эти кобринские дни Фукс не щадил чернил и бумаги. Вспоминая Швейцарский поход, сочинитель распалился: в горах солдаты возроптали, солдаты отказались идти дальше; Суворов приказал вырыть могилу, собрал вокруг нее свое войско и воскликнул: «здесь похороните меня: вы более

не дети мне — я более не отец вам — мне ничего не остается кроме смерти!» Солдаты устыдились и двинулись вперед. Багратион, которому Фукс докучал своими ремарками, только фыркнул: не было сего и быть не могло! Фукс обиделся, отложил на время горные ужасы и взялся за Ломбардию, — его записная книжка налицо, — в малом залог великого! Фукс очинил гусиное перо и крупно вывел:

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СУВОРОВА

Однажды, в Италиянскую кампанию 1799 года, кончив ввечеру все дела свои по службе, вздумал я составить дневную записку и описать в оной все происшествия Графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского (он тогда еще не был Князем). Хотя день сей был и не достопамятнейший, но я не виноват: я избрал его потому, что имел несколько досугу, а сие случалось редко. И так, вот опыт журнала одного дня.

День начался как и всегда начинался: в четыре часа по полуночи вбегает ко мне камердинер его, известный Прошка, и — запыхавшись, кричит: «Пожалуйте к Графу!» Через десять минут пришел я к нему. Он уже встал с соломенного своего ложа помолился Богу, окатился холодной водою и прокричал несколько слов по-турецки. Он был одет в белой Австрийской куртке; но старые сапоги свои и чулки опускал необыкновенно. Он спросил меня, будет ли Лорд Бентинк у него обедать? Я ему отвечал, что пригласил его. После сего, перекрестясь, сели мы за столик и принялись за работу. Я читал ему разные донесения, письма, приказы, реляции и проч. Он вслушивался со вниманием, взвешивал каждое слово на русском, французском, немецком и итальянском языках, советывал иное поправить, а иное выпустить, иное прибавить. Шутки и странности исчезли. Опытность, начитанность, предусмотрительность, глубокомыслие и память его удивляли меня всегда. Не прежде вставал он, как по подписании всех бумаг и выслушании всех докладов. Всегда был он весел, когда подносил я ему много представлений к наградам; и тогда обнимет

и перекрестит меня, повторяя свою аксиому: добро делать спешить должно!

Сегодня кончили мы дела в семь часов утра, и он кликнул Прошку. С сим именем оканчивалась его важность. Он начинал бегать, скакать, кричать, вертеться, помышлять об обеде и порываться выбежать к гостям, от чего я его удерживал, уверяя, что еще не все собрались. Наконец, в 8 часов, он выбежал и стал каждого обнимать и целовать. Пока он еще водки не выпьет, представлялись ему обыкновенно новые лица. Я подвел к нему 18-летнего Коммисариатского офицера, отправляющегося за покупкою 5000 пар сапогов для армии. Он его обнял и вскричал: «спасай Европу!» Юноша вспыхнул и убежал. Италиянец-стихотворец, в шелковом кафтане со всеми комплиментами поднес ему поэму «Освобожденная Италия». Он обнял, прижал к груди поэта, поизмял его букли и воскликнул по-италиянски, с переводом каждого периода на русский язык: «как! вы питомец Аполлона, поете меня, мальчика в отечестве Тасса! Стою ли я того? Слышали ли вы, что и Север имеет Державина? Его недавно сравнили с Анакреоном, но я за него вступился. Для певца любви и вина довольно тихозвучной лиры: для славопевца — труба! Она со славой неразлучна; надобно, чтобы звуки ее раздавались в дальнейшем потомстве, для которого мы живем. Она воскресит нас!» Потом велел он как обыкновенно, читать вслух: Отче наш. По окончании молитвы, повторил: «кто аминь не сказал тому нет водки!» Выпив полстаканчика оной, просил он всех садиться за стол по чинам. По левую сторону подле него садился обыкновенно маиор Румянцев, распоряжавшийся блюдами. Первые места заняли генералы: от инфантерии А. Г. Розенберг и австрийский, от кавалерии, «папа» Мелас, Haute Excellence, так называл он его. Мне приказано было сидеть вместе с сыном Парнасса, и толковать ему, что «Поэт» и «поет» у нас одно и то же. Я радовался что мой сосед, называя графа Александра Васильевича великим феноменом природы, пресыщался лучами гения, ибо стол наш был очень скуден и невкусен, а особливо в постные дни. Едва уселись мы, как граф изъявил

свою радость что у него обедают два Высокопревосходительные. Он заставил Меласа выговаривать по-русски свой титул: **Высокопревосходительство.** Неповоротливый язык дрожащего осьмидесятилетнего старца не мог преодолеть камня претыкания в нашем Ы. Он утомлялся и потел: это подало графу повод говорить о богатстве нашего алфавита, о богатстве русского слова, — что славянский язык, происходящий от славы, есть наш Перу; но что к сожалению бросили мы отрывать сокровища. Все сие говорил он на немецком языке весьма ясно и плавно. Подали говядину, довольно худо изготовленную. Поподчуйте побольше Лорда Бентинка. «Вы», обратясь к нему: «как знаток, можете судить о доброте сего ростбифа. Люблю землю, где родятся Дюки Портланды и Лорды Бентинки». В продолжении разговора с Бентинком, поднимал он безпрестанно опускавшиеся свои чулки, как будто чтобы показать, что у него нет подвязки[6]. Не знаю, понял ли тот. Погодя немного, начал он смыкать глаза, смеяться, кривляться и обводить перстами лицо. «Это» сказал он: «лекарство от обморока». Потом обратился ко всем и говорит: «военному человеку надобно знать языки тех народов, с которыми ведет войну. В Турции я выучился по-турецки, в Польше по-польски, в Финляндии по-чухонски». Тут декламировал он чухонскую песню и хвалил гармонию сего языка. Он говорил с Милорадовичем о военных добродетелях, и приказал ему со мною сделать разбор слов: Vaillance, valeur, courage и bravoure. Мы обещали.

Долго смотрел граф Александр Васильевич пристально на соседа моего, италиянца, держа по-ихнему обыкновению палец под глазом. Вдруг спрашивает его: «о чем вы думаете?» Поэт, восхищенный сим вопросом, со всеми каррикатурными кривляньями ответствует: «воображение мое переселило меня в шатер Агамемнона, где сижу в совете греческих полководцев, и как будто уже вижу падение Трои и торжество Эллады». — Ответ графа ему был по-русски, а Милорадовичу и мне велено было перевесть оный на италиянский язык. Оба мы, признаюсь, очень плохо тогда знали сей язык; но чтобы не попасть

[6] Известно, что он желал иметь английский орден Подвязки.

в немогузнайки, переводили с потом и отважностью. Вот что граф приказал ему пересказать: «Я давно знаю Гомера. Но короче познакомил меня с ним на природном нашем языке приятель мой Ермил Иванович Костров. Люблю Гомера, но не люблю десятилетней Троянской осады. Какая медленность! сколько бед для Греции!.. — И Оссиан, мой спутник, меня воспламеняет; я вижу и слышу Фингала в тумане, на высокой скале сидящего и говорящего: «Оскар одолевай силу в оружии; щади слабую руку! Честь и слава певцам! Они мужают нас»! Потом, обратясь к «папе» Меласу, граф спросил его: «давно ли была Троянская война?» Сей страшась нихтбештимтзагерства-немогузнайства, ответствует: «тысячу лет до Рождества Христова». — «Ах, помилуй Бог! как давно начинается не эпоха, а эра военного нашего искусства! Как оно веками усовершенствовалось! Как оно в наши века исказилось! Запиши это, — обратясь к мне: — любят посредственность, не терпят таланта потому что сей не охотник до узды». Я сие исполнил; карандаш и записная книжка всегда были при мне.

Милорадович рассказал анекдот, как два наши солдата были поставлены в Германии на квартиру к одной старушке, которая угащивала их, как мать. Тронутые ее ласкою, солдаты изъявили ей знаками свою благодарность; но заметя, что она их не понимает, вскричали: «куда старушка бестолкова? Кажется, говоришь ей и по-польски, а она все нихт-ферштеен. Знаешь ли, брат, сказал один: наденем мундиры, отдадим нашей кормилице честь к ноге! Тотчас оделись, вытянулись и прокомандовали: к ноге! Старушка расхохоталась.

Начался разговор о последнем бале. Граф сожалел очень, что не было здесь какой-то Марьи Михайловны первой плясуньи в его Боровицком уезде, которая всех здешних дам помрачила бы. Потом начал он шутить, — что часто делал, — на счет моей храбрости и неустрашимости: «нет, помилуй Бог, он храбр, как его шпага!» Тогда я снял свою маленькую статскую шпагу, положил ее на стол и сказал: «вот она!» Неожиданность сия произвела продолжительный хохот.

Адъютант Меласа маиор Экарт ударил себя по лбу, чтобы

согнать муху. «Ах, помилуй Бог!» вскрикнул, испугавшись, граф: «не убили ль вы мухи?» — «Нет», ответствовал Экарт: «я ее согнал». — «Спасибо вам, — не должно убивать бедных малюток: они ищут пищи. Есть и миролюбивые фельдмаршалы; но те опять никуда не годятся».

Утомясь за столом, за которым просидели мы почти три часа, начал граф дремать. Прошка толкал его в бок, говоря ему на ухо: «пора, сударь, спать!» Он кивал головой. Просидев несколько минут в задумчивости раскрывает глаза и говорит: «после громов оружия музы меня усыпили». Перекрестился, вскочил, побежал в другую горницу и стремглав бросился в солому.

Просидев три часа за обедом, все пустились искать обеда.

В шесть часов пополудни, пришел я с Милорадовичем к графу. Он уже с час проснулся. Мы нашли у него большое собрание. Он бегал из угла в угол, шутил, многих называл фармазонами которые водятся с духами, чернокнижниками, чародеями. Проскакав несколько раз по горнице, остановился пред австрийским генералом Крейцом. Сей, не зная, как начать разговор, придумал сказать, что был некогда в переписке с князем Потемкиным сим великим человеком. «Как вы его назвали?» подхватил граф: «великим человеком или человеком великим: un grand homme ou un homme grand? Он был тот и другой; велик умом велик и ростом!» Крейц удивился умению графа электризовать каждое войско. «Безделица!» воскликнул граф: «помни, что ты человек, что подчиненные твои такие же человеки и твои братии. Люби солдата и он будет любить тебя. Вот вся тайна!»

Видя, что не будет конца разговорам, и желая сбыть приготовленные доклады, подошел я к нему с напоминанием, что пора заняться работою. Тут он на меня раскричался, назвал меня грубияном, жаловался, что разлучаю его с приятелями и склоняю к ненавистной ретираде (сие слово он произносил всегда зажмурясь и с насмешливым протяжением). «Но накажите его», говорил он всему собранию, «останьтесь здесь и дождитесь моего скорого из блокады возвращения».

Едва лишь за порог, как настала тишина. Только перед чтением пенял он мне, что не увел его раньше. Я читал бумаги; он слушал внимательно и подписывал. В заключение я прочел ему реляцию о Новиском сражении. Ему чрезмерно понравились следующие слова: «Таким образом продолжалось 16 часов сражение упорнейшее, кровопролитнейшее и в летописях мира, по выгодному положению неприятеля, единственное. Мрак ночи покрыл бегство врагов. Слава победы, дарованная Всевышним оружию Твоему великий Государь, озарится навеки лучезарным немерцающим светом». Выхватив у меня реляцию, выбежал в другую горницу и заставлял многих читать сие место, повторяя беспрестанно: «как кудряво написано!» — После возвратился и уселся. Кончив все официальные бумаги, читал я ему всегда газеты и журналы, которые тогда наполнены были его именем: старика это тешило. В 10 часов вечера все кончилось. Он меня поцеловал и благословил.

Фукс написал свое сочинение в один присест и остался им очень доволен. Но читать его Багратиону не решился, — Багратион не жаловал писательских длиннот: из Итальянской кампании он привез три раны, да копии суворовских писем, собственноручно им переписанных.

V

Болезнь, которую Суворов называл фликтеною развивалась с каждым днем: сыпь, появившаяся сначала на верхней части тела, перебросилась на ноги, особенно на сгибы; ноги распухли; кашель не давал покоя; желудок не принимал твердой пищи. Суворовский фельдшер Наум лечил больного баней, да вареным медом. «Чистейшее мое многих смертных тело в гное лежит», жаловался Суворов. Багратион поскакал в Петербург. Император послал в Кобрино своего лейб-медика Вейкарта. «Молю Бога, да возвратит Он мне героя Суво-

рова», писал император больному. Вейкарта Суворов встретил враждебно: «в лечении не нуждаюсь, ибо есть лейб-медик фельдшер Наум, первый эскулап в Европе». Большого труда стоило Вейкарту приступить к лечению, при помощи найденных в округе других врачей, из которых Суворов жаловал одного Кернисона. Больному стало лучше. Подошел Великий пост. Суворов отговелся; заставил отговеть и лютеранина Вейкарта, посадив его на самую строгую постную пищу. Из Петербурга пришли вести о готовящемся торжественном приеме генералиссимуса: ему отводились комнаты в Зимнем Дворце; в Гатчино должен был его встретить флигель-адъютант с письмом от императора; придворные кареты приказано выслать до самой Нарвы; войска должны были стоять шпалерами по улицам Петербурга, встречая триумфатора барабанным боем и криками «ура», при пушечной пальбе и колокольном звоне, а вечером предполагалась во всей столице иллюминация. Суворову стало еще лучше, — скорее в столицу! Вейкарту едва удалось оттянуть поездку на вторую половину марта.

Суворов был полон судорожной любви к жизни. Он вспомнил вдруг, что ему до сих пор не доставлены три пушки, пожалованные еще императрицей Екатериной, — они необходимы для праздничной пальбы в Кончанском где он выстроит теперь каменный дом и прикупит у соседки, адмиральши Ельмановой деревню на берегу Мсты: там хорошее купанье. Суворов забеспокоился вдруг, что король неаполитанский забыл дать ему орден св. Януария, что большой крест Иоанна без бриллиантов, что англичане так и не дали ему ордена Подвязки. Желание как можно скорее устроить свои земные дела не давало покою Суворову; он бомбардировал своими поручениями Хвостова, укоряя его в сонливости и в летании за облаками. Но одновременно Суворов составил большую военно-политическую записку о последней кампании ...«tout homme, qui a étudié le génie des révolutions, sera criminel de le taire», — и написал разбор десяти заповедей... «будь христианин... Бог Сам дает и знает, когда дать».

**
*

Уехавшему из Кобрина Фуксу послал вслед письмо, — кратко и ясно изложил будущему историку-очевидцу все то, с чем Фукс не мог справиться. Письмо начиналось так: «Тихими шагами возвращаюсь я опять с другого света куда увлекла меня неумолимая фликтена с величайшими мучениями. Вот моя тактика: отважность, храбрость, проницательность, прозорливость, порядок, мера; правило, глазомер, быстрота, натиск; человечество, мир, забвение. Все войны между собою различны. В Польше нужна была масса; в Италии нужно было, чтобы гром гремел повсюду»...

Письмо было датировано восьмым марта; это было одно из последних суворовских писем.

На дворе стояла весна; цвела верба, орали грачи, мартовский ветер гулял над Польшей, когда в дормезе, на перинах, на подушках, закутанный с головы до ног, Суворов двинулся в путь. Свиты у него почти не было: все разбежались от скуки Кобринского захолустья.

VI

Петербургский генерал-губернатор граф фон дер Пален вел тонкую и страшную игру. Непродолжительное царствование Павла становилось невыносимым: смены безграничного великодушия и слепой ярости становились у него все чаще и непонятнее: чем выше он возвышал, тем страшнее немиловал; никто не был уверен в завтрашнем дне; благосклонность императора была страшна, как улыбка безумца. Дни Павла должны были быть сочтены, и учетом их занялся граф Пален. Суворов, с его чудачествами, всегда был неудобен при дворе, теперь же он мог быть опасен: его солдатская верность престолу могла смешать все карты тонкой игры. Пален

уже докладывал императору, что Суворов в последней кампании неоднократно нарушал установленные его величеством регламенты: солдаты не носили штиблет, унтера изрубили на дрова свои четырех-аршинные алебарды, офицеры побросали эспонтоны, а, главное, применялся временами рассыпной строй, что дерзко нарушает устав. Пален намекал императору, что старик зазнался, став кузеном сицилийского короля, а потому и не торопится в Петербург, где ему готовят триумф, — по заслугам ли? Не прикажет ли еще император, чтобы при встрече на улицах с Суворовым все выходили из экипажей для его приветствия, как это делается для особы его величества?

«Как же, сударь, — ответил Палену император, — я первый, как встречу князя, выйду из кареты».

Но Пален вел тонкую и верную игру. 19-го марта он скорбно доложил императору, что Суворов просит разрешения носить иногда в Петербурге австрийский мундир, — после разрыва с Австрией это было нагло; но кроме наглости было и преступное своеволие генералиссимуса: он восстановил уничтоженную императором должность дежурного генерала, — таковым при Суворове в Праге состоял Милорадович, известный кутила и ветрогон. Император побагровел... Марта 20 дня, при пароле, был отдан высочайший приказ о дерзком нарушении генералиссимусом устава, а так же послан ему рескрипт, требующий объяснений. Грозный рескрипт застал Суворова в бедной литовской избе под Вильно. Генералиссимус лежал на скамейке, покрытый простыней, почти без памяти: дорога изнурила его, он тихо стонал и и бредил Италией. Смерть стояла у его изголовья — какие там рескрипты и опалы!

В Риге, на Пасху, Суворов почувствовал себя лучше; он через силу надел на себя мундир, отстоял заутреню и хотел разговляться у губернатора; но это последнее усилие стоило ему дорого: Суворова на руках принесли домой. Раздев и уложив его в постель, Прошка принес фельдмаршальский мундир со всеми орденами на кухню и повесил его на стул, а

стул придвинул к столу, на котором лежали крашеные яйца, колбаса, стояла пасха и штоф водки: Прошка разговлялся с казаком Селезневым; теперь между ними сидел как бы сам генералиссимус. Его денщик и вестовой налили себе по стакану водки и сказали, обращаясь к мундиру: «Христос Воскресе, батюшка Александр Васильевич!..» По бородатому лицу Селезнева катились слезы, а пьяница, грубиян и непотребник Прошка заплакал в голос.

20 апреля, в 10 часов вечера, в полумраке начинающихся белых ночей, дормез Суворова, как бы тайком, проехал по Петербургу и остановился у дома Фоминой что на Крюковом канале, где жили Хвостовы. Все триумфы были отменены; приготовленные для Суворова комнаты Зимнего дворца уже были отданы принцу Мекленбургскому. Одновременно с Суворовым к Хвостовым приехал от императора князь Долгорукий; к больному его не допустили и он оставил записку, в которой значилось, что генералиссимусу не приказано являться к государю.

VII

В Петербурге больной Суворов остановился у Хвостовых. Дмитрий Иванович Хвостов, которому Суворов выпросил у сицилийского короля Карла-Эммануила графское достоинство, был женат на родной племяннице генералиссимуса, княжне Татьяне Ивановне Горчаковой. Хвостовы были известны всему Петербургу; граф — своим стихоплетством, графиня — своим французским языком. Граф Хвостов вечно был занят сочинением стихов, которые он писал на все случаи жизни; потом печатанием (конечно, на свой счет) этих стихов; затем их распродажей (стихи скупались самим же графом, через подставных лиц), и, наконец, чтением своих стихов всем и каждому, — для прельщения слушателей граф располагал отличным столом и, часто, своим кошельком.

Суворов в один из предсмертных своих дней серьезно уговаривал графа бросить его ужасную стихоманию; граф поцеловал руку генералиссимуса и в слезах вышел в прием-

ную, где все обступили его с расспросами о состоянии больного.

— Увы! — отвечал Хвостов: — хотя еще и говорит, но без сознания, — бредит!

Уговоры Суворова оказались вотще, — после его смерти Хвостов написал:

...Полвека славой кто блистал,
Кто образец мужей великих —
Суворов средь побед толиких,
Как друг, мой мирный глас внимал.

Графиня Хвостова вечно была занята сватовством и устройством свадебных пиров в своем доме, на которых она, в пудре, кружевах, блондах, атласе и бархате, всегда была посаженной матерью, или, как она выражалась на своем французском языке mère assée (вместо mère d'honneur), когда какой-нибудь Gregoire se marie sur Annette remerciant (т. е. благодаря) mes soirées de dimanche.

Когда ее брат, князь Андрей Горчаков, получил в одном сражении рану в левую икру и был награжден лентой (как тогда говорили — «кавалерией») Александра Невского, то графиня поведала всему Петербургу:

«Mon frère a reçu la cavalerie à travers l'épaule pour avoir été blessé au caviar gauche».

Но оба, и граф и графиня, были добры, богаты, благодушны, щедры и гостеприимны; над Хвостовыми подсменвались но их любили; любил их и остановившийся у них больной Суворов.

Хвостов с давних пор был старательным исполнителем всевозможных суворовских поручений, — он был уже сенатором, — его муза не вредила ему в служебной карьере.

У Хвостовых Суворов слег окончательно. Приехавшего на второй день Багратиона он узнал с трудом: «А! это ты, князь Петр; здравствуй!..» и впал в беспамятство. Но временами Суворову становилось лучше; он требовал, чтобы его сажали в кожаное кресло и подкатывали к окну. За окном кончался апрель; небо было высокое, легкое, голубое; оно

отражалось в канале и канал хорошел с бирюзовой водой. Суворов бодрился — ах, как ему хотелось жить! — он приказывал открыть окна; в комнату влетал влажный весенний ветер; Суворов, ставший совсем маленьким, щупленьким, блаженно утопал в кресле.

Однажды, когда Суворову было лучше, приехал Ростопчин с орденами св. Лазаря и Богородицы Кармелитской от Людовика 18-го; Суворов сделал вид, что не понимает, откуда присланы ордена:

«Из Митавы?» — спросил он и добавил: «король Франции должен быть в Париже а не в Митаве».

Врачи переглянулись — каков старик! Знаменитый доктор Гриф, часто навещавший больного, якобы по поручению императора (что Суворова всегда радовало), потер руки:

«Дайте мне полчаса времени, и я с генералиссимусом выиграю любое сражение!»

Но минуты улучшения становились все реже, обмороки все продолжительнее. Врачи разводили руками и спорили о характере суворовской болезни; уже после его смерти решили, что болезнь называется marasmus senilis.

Суворов терял последние силы; ему стала изменять память. Он уже не мог вспомнить лица своей жены, — помнил только ее темный платочек да бедное платье, когда они (он в простой солдатской форме) пришли с ней в церковь на покаяние: мирились и сходились в последний раз, чтобы потом разойтись уже навсегда. Семейная жизнь не удалась, да ее, собственно, и не было: меня родил отец — я должен родить сына! Сын то хорош, красавец, генерал-адъютант в 15 лет, при дворе свой человек, — но тут то ему и погибель: двор добру не научит, — Аркадий и теперь первый охотник до карт. Дочка же Наташенька, Суворочка, Смоляночка, давно уже графиня Наталия Александровна Зубова. Выросли дети, постарел отец, да и времени то не было для детей, для семьи, — сроду не амурничал!

Суворов почему то вспомнил веселую темноглазую графиню Разумовскую, жену венского посла, вспомнил, как при

отъезде из Вены подарил ей золотое сердечко на венецианской цепочке, запирающееся на ключик; ключик он спрятал в карман, а сердечко надел на графиню, коснувшись пальцами ее шеи, плеч, груди; и тотчас отскочил от графини, подул, точно от ожога, на свои пальцы. Суворову захотелось и теперь подуть на пальцы — он поднял руку: она была худа, желта до отвращения; он отвернулся и закрыл глаза, — не было личной жизни и слава Богу!

Все отдал России, славе российской, солдатам! Они теперь мерещились Суворову непрестанно: веселыми зубоскалами на походах и бивуаках застывшими в строю, с устремленными на него глазами, страшными, неподвижными мертвецами, в крови и отрепьях, на полях сражений — «ребятушки, детушки мои родные» прошептал Суворов.

Память покидала его, — он уже не помнил последних кампаний; названия боев меркли одно за другим; память уходила в прошлое все дальше и дальше: Варшава, Финляндия, Измаил, Рымник, Очаков, Кинбурн, Крым, кубанские степи, уральские степи, Пугачев, Козлуджи, Туртукай, Брест, Ланскрона, наконец — Гольнау: первая рана, туроверовские казаки — первая музыка баталий с великим Фредериком...

Суворов терял память, но это уже не пугало его; на старых ранах открылись язвы, начиналась гангрена, но никаких болей уже не было, — была только блаженная усталость... Вечером пятого мая позвали священника; после причастия Суворов прошептал: «долго я гонялся за славой — все мечта, — покой души у престола Всемогущего».

Вокруг умирающего толпились родные, но он уже никого не узнавал. Ночью душил бред: «Суворов торопился отдать армии последние приказания — как можно кратко, как можно сжато! Но отдавать приказания было некому: генералиссимус забыл имена своих генералов. К утру, наконец, вспомнил одно имя — Кутузов, сейчас же вспомнил — Измаил, но глухо выкрикнул — Генуя!

Утром на улице положили солому; в доме Хвостовых стояла тишина.

После полудня полный покой овладел Суворовым... Он, десятилетним мальчиком, лежал на чердаке отцовского деревенского дома, листая громадный фолиант Тюрена; в чердачное окошка вливался сноп солнечного света; в нем плавали пылинки. Внезапно свет померк: его заслонил черный великан. Это был генерал Ганибал, друг суворовского отца, арап Петра Великого. Ганибал рассмеялся: вот ты каков! идем к отцу, — твой воинский карьер мне очевиден!

Он поднял Суворова на руки и начал спускаться с ним по лестнице; на лестнице была тьма, духота; Суворов крепко прижался к арапу и сразу задохнулся...

Князь Италийский, граф Российской и Римских империй, генералиссимус Российских сухопутных и морских войск, фельдмаршал Австрийских и Сардинских войск, Сардинского королевства гранд, принц королевского дома (cousin du Roi) и орденов: российских Св. апостола Андрея Первозванного, Св. Георгия 1-ой степени, Св. Владимира 1-ой степени, Св. Александра Невского, Св. Анны 1-ой степени, Св. Иоанна Иерусалимского большого креста; австрийского Марии Терезии 1-го класса; прусских Черного орла, Красного орла и За достоинство; сардинских Благовещения и Св. Маврикия и Лазаря; французских Кармелитской Богородицы и Св. Лазаря; баварских Св. Губерта и Золотого льва; польских Белого орла и Св. Станислава кавалер, Александр Васильевич Суворов тихо скончался во втором часу дня шестого мая 1800 года, в день Святого Иова Многострадального.

VIII

«...Все, или по крайней мере многие, не только к больному Суворову, но даже к телу его, опасаясь царской немилости, появляться не смели. Вот что видел я своими глазами: приехав однажды, вошел я в комнату, где лежал он в гробе. Всех нас было трое и четвертый — часовой с ружьем на плече. Князь Шаховской, лишившийся руки в одном из сражений, бывших под предводительством Суворова, смотря на него, сказал

сквозь слезы: «За тобою следуя, лишился я руки моей; встань! я с радостью дам себе отрубить другую». Мы с ним прослезились и, отдав последний поклон праху великого мужа, идем мимо часового, который при отдании нам чести, казалось, насильно удерживался от плача. Взглянув на печальное лицо его, мы спросили: «Тебе так же, как и нам, жаль его?» Он вместо ответа залился слезами. «Верно ты служил с ним?», повторили мы вопрос. «Нет, — ответил он рыдая, — не привел Бог!»

Погребение Суворова несмотря на желание Павлово похоронить его просто, было, по великому стечению народа, превеликолепно. Все улицы, по которым его везли, усеяны были людьми. Все балконы и даже крыши домов были наполнены печальными и плачущими зрителями. Сам государь, не для почести, но из любопытства, выехал верхом; и сам потом при мне рассказывал, что лошадь его была окружена народом и две женщины, не приметя, кто на ней сидит смотрели облокотясь на его стремена. При провозе гроба сквозь ворота лавры, когда некоторым показалось, что он, по тесноте их, не пройдет, вспомнилось слово солдата, сказавшего: «Небось! пройдет; везде проходил!»... Так вспоминает очевидец, адмирал Шишков.

Суворов был похоронен 12-го мая в нижней Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, возле левого клироса. Надгробного слова сказано не было. Вместо него певчие пропели концерт Бортнянского — 90 псалом: «Живый в помощи Всевышнего, в крови Бога небесного водворится»... На могилу была положена плита с краткой надписью:

ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ
СУВОРОВ

Граф фон дер Пален вел страшную, но верную игру.

Спустя десять месяцев после смерти Суворова, в первом часу ночи с 11 на 12 марта 1801 года, гр. Пален доложил великому князю наследнику Александру Павловичу о скоропостижной смерти государя. Изуродованное тело императора Павла было предано земле 23 марта.

«...Конец жизни Павла, равно как и Петра Третьего, не был никем, или весьма немногими оплакиваем. Погребение его отнюдь не походило на погребение князя Суворова: там видел я множество печальных и плачущих лиц; а здесь, идучи за гробом Павла, от Михайловского дворца, через Тучков мост, до крепости, из многих тысяч жителей во всю дорогу, не видал я никого, кто бы проливал слезы. Казалось, все смотрели как бы на некое, скорее увеселительное, нежели плачевное зрелище: до такой степени все чувствовали тягость его правления!» Так вспомнил тот же очевидец, адмирал Шишков.

В годовщину смерти Суворова, 5 мая 1801 года на Царицынском лугу в Петербурге, в присутствии юного императора Александра и многочисленной публики, был открыт Суворовский памятник, заказанный Козловскому еще императором Павлом. В 10 часов утра упало полотно, скрывающее памятник: на ярком солнце засиял, закованный с ног до головы в броню, рыцарь, вооруженный мечем и щитом; рыцарь был вознесен на круглом гранитном пьедестале. Загрохотали барабаны; гвардия начала проходить перед памятником, салютуя ему; император Александр отдал честь и улыбнулся стоявшему рядом Аркадию Суворову. Находящийся среди публики Державин, глядя из под ладони на памятник, сердито забормотал: «Не то, совсем не то!» Его сосед, Лев Николаевич Энгельгарт, не понял и громко зашептал на ухо Державину: «Граф Суворов был знаменит в баталиях, но в жизни невыносим — упаси Бог! По взятии нами Варшавы, в девяносто четвертом году, я был зван к графскому столу; сели за стол; мне пришлось сесть наискось против графа. Вдруг он вскочил и закричал: «воняет!» и убежал в другую комнату. Адъютанты его начали открывать окошки и сказали ему, что дурной запах прошел. «Нет! — кричит он, — за столом вонючка сидит». Адъютанты стали обходить всех сидящих и начали обнюхивать; один ко мне подошел и сказал: «Верно, у вас сапоги не чисты, извольте выйти, граф не войдет пока вы не встанете, и прикажите себе сапоги вычистить тогда опять можете сесть за стол. Представьте мое смущение...» Энгельгарт запнулся: глаза Держа-

вина налились кровью, лицо его стало страшным. «Северны громы в гробе лежат! Северны громы, милостивый государь мой!», выкрикнул Державин в лицо Энгельгарту и пошел прочь. Стоявший рядом походный атаман Адриан Карпович Денисов шарахнулся, — державинский рокот: громы, гробы — гр... гр... его ошеломил: в памятнике он не разобрался, а ведь в Италии Суворова из огня на руках выносил. Вечером, в лейб-казачьих казармах, где он остановился у полкового командира Алексея Петровича Орлова, Денисов, имея влечения к ремаркам, записал: «Что Сего 1801 года, мая 5-го числа на Царицынском лугу против Михайловской крепости, токмо ближе к Летнему саду, у самой Канавы, поставлено подобие его сиятельства покойного князя Италийского на мраморном столбе. Монумент вылит из меди несказано выше и толще против натуры. В латах и шишаке; в правой руке шпага вознесена острым концом выше левого плеча, якобы кого на взмашь пересечь хочет. Лицо его геройски обращено на правую сторону. С левой стороны три короны и жезл; но какие, того в скорости не узнать».

В это время, дома, ломая грифель, Державин писал на аспидной доске, — сам не зная почему — свои старые стихи:

...И славы гром,
Как шум морей, как гул воздушных споров
Из дали в даль, с холма на холм,
Из дебри в дебрь, от рода в род
Прокатится, пройдет,
Промчится, прозвучит
И в вечность возвестит
Кто был Суворов!

Николай Туроверов

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПОЭМА

Ты умрешь, и никто не заметит,
Что окно у тебя не светит
И не метит жилище дым...
Ты умрешь, и никто не заметит,
Что тебя на пути не встретит,
Как встречал тебя молодым.
Но звезда на рассвете заметит,
Что дыханье твое ответит
На сиянье другой земли,
На свиданье в новом просторе,
Где бессмертных встречают зори,
Как розовые корабли.

ИСТОРИЯ

История есть долгий в вечность путь,
Больным волом запряженные дроги.
Мы едем и хотели б отдохнуть,
Остановиться где то на дороге.

Лирических поэм не заслужив,
Мы слушаем глухую песнь возницы,
Всё той же страсти медленный разлив,
Который все тысячелетья длится.

ПАМЯТЬ

Не верить памяти не смею,
Не таковы мои права, —
О память, легкая лилея,
Ты предо мной всегда права!

Воспоминание недуга,
Раскаяния Иордань, —
О память, странная подруга,
Несовершенных истин дань.

Свое бессмертье выбирая,
Мы ходим долго средь могил.
О подари нам память Рая,
Светлокрылатый Гавриил.

Странник

ЗАЛОЖНИК*

Книга Третья

Полярные звезды. — Внутренняя эмиграция. Катакомбы или экспедиция. — Подозрительный тип. В полночь позвонила Синтия. — Последние 200-300 шагов. — Либретто для оперы. Кухонный мужик Кюх. — Рубль, франк, крона, марка и чудо. — Первая ночь.

3

Характерно, что на следующей лекции, Адриан говоря о полярной ночи, описывал именно эти зеленые звезды (вспыхнувшие под его лобной костью после удара), а не отдаленные, которые ему приходилось воочию наблюдать во время арктического плавания. Так в жизни человека один опыт вытесняет другой, деспотически пятясь назад, подменяя, преображая прошлое — и вот бывшее становится не бывшим! Полярная ночь особым образом разлагает время. На вопрос «который час», надо, ответив, всегда добавлять — дня или ночи: и это совсем не просто. Вообще дни за полярным кругом претерпевают удручающие изменения, теряя всякую непреложность. Сутки исчисляются поворотом земли вокруг оси. Чем ближе к полюсу, тем быстрее данная точка описывает круг. Экспедиция адмирала Бирда, просидевшая многие месяцы на самом полюсе или вблизи него, перестала воспринимать время по установленному трафарету. Там устанавливались чудесные прецеденты. Думать в терминах севера или юга, полудня или полуночи, даже «сегодня» или «завтра» означало безнадежно путаться в бессмысленных и противоречивых понятиях. Как известно, полдень исчисляется моментом пересечения солнцем меридиана на котором расположено данное место. Но полюс — теоретический пункт, где все меридианы пересека-

---

* См. Кн. 60 и 61 «Нов. Журн.».

ются и откуда все направления ведут к северу: там мы всегда покоимся на всех меридианах сразу! И можем считать любое время за любой час: это будет правильно. Если лететь по маленькому кругу вокруг полюса, то в несколько минут попадаешь из «сегодня» в «завтра» или назад в прошлое. Какие возможности скрываются здесь, нам еще пока не ясно; эти маневры с временем напоминают расщепление атома.

Мы вышли вместе и я сделал Адриану комплимент, сказав что очень ценю его лекции — они меня заражают какой-то неожиданной бодростью.

— Я всегда старался выполнять свои обязанности удовлетворительно, — сдержанно ответил он, а потом продолжал, словно обращаясь уже к другому собеседнику:

— Странно до чего доходит мимикрия. Я самый анти-социальный, необщительный и самолюбивый затейник. А во флоте меня считали славным малым, своим парнем, толковым, веселым и щедрым. То же самое на службе: до сих пор был на лучшем счету. Говорят, люблю своё дело и добросовестно выполняю поручения... Главное, мне не придет в голову спорить с начальством, просвещать старших и требовать реформ! Семь смертных грехов и я их всех отчеканил. Даже больше семи. Ибо я кроме всего еще ленив и труслив, а это тоже отвратительные беззакония. Если я не всегда совершал подходящий смертный грех, то это главным образом объясняется трусостью и ленью, что еще может быть ухудшает метафизический баланс. Вот, например, концлагеря прошлой войны... будущие — только геометрическая возрастающая пропорция; а я себя чувствую вполне способным очутиться в них и выжить! Нет подлости, унижения, страдания, которые я бы не согласился перенести, чтобы избежать еще большей подлости, большего унижения или большей муки. Причем, эти слова уже не выражают основной мысли, а мысль уже не осознает чувство. Всё упразднено, обесценено, лишено хождения, как старый царский рубль или австрийская крона, марка, франк, лира. Я совершенно убежден, что если совершать пакости и кощун-

ства случайно или из-под палки, то человек, я, моя душа, не имеет к этому интимного отношения. Творил и продолжаю творить гадости и несмотря на всё, во мне живет твердая надежда, что это несущественно. Даже больше прежнего уверен, что я достоин спасения и вечной жизни. Мне не совестно предстать у святых врат и позвонить привратнику Тысячелетнего Града. Безумие: я даже думаю, что окажусь внутри и смогу отворить калитку запоздавшему другу...

По старой привычке я заставлял себя возражать, зная, что такого рода доводы, даже если на них сразу не обращают внимание, могут потом оказать некоторое влияние; но Адриан невозмутимо продолжал свой внутренний бег — как лунатик по карнизу:

— Для меня главное, как работник выполняет свой заказ; на каком поприще он подвизается, мне безразлично. Плохой хирург, малокультурный профессор, бездарный министр, дурак-писатель не заслуживают уважения. Я готов восхищаться виртуозом портным, артистом ремесленником. Предпочитаю искусного техника, умелого саксофониста или талантливого продавца пылесосов. Парикмахер, расторопно и умело бреющий клиента, на минуту быстрее своего конкурента, заслужит мое одобрение: пойду обязательно к нему. Пока сосед не побьет его на одну секунду или будет делать то же, но стоя на одной ноге. Почти уже не важно во что человек верит, а как он верит: энтузиазм, жар, искренность. Я предпочту коллегу, самозабвенно преклоняющегося перед чурбаном, другому, умеренно исповедующему истину по косметическим соображениям. Элементы искусства вмешались в нашу политику, религию, науку, профессиональную жизнь. Одно содержание больше не удовлетворяет: важна форма. Не что, а как! И всё перепуталось. Ибо само искусство потеряло своё былое величие, назначение и автономность. Приглядываясь кругом, я замечаю почти то же самое. Даже бабы... Диана на всё способна и к ней не приложимы требования дурного и хорошего, ведь нельзя требовать от оленя качеств моржа или от решетки свойств дамбы. Синтия честная и отважная, но и ей не при-

дет в голову отвернуться от меня или заявить директору, что он дурак и, обучая 15 часов в неделю девочек гимнастике, смешно тратить 18 часов на составление отчетных листов, вымышленных характеристик и статистических кривых. Она целомудрена, но это ей не мешает гоняться за Дианою. Я был девственником, но после прелюбодеяния отнюдь не стал безнравственнее. Вот наша особенность: всё что любой выкидывает, нельзя рассматривать в категориях добра и зла! Оно больше не касается личности человека: не исходит от нас и не возвращается назад. Устанавливается новая природа людей: то, что мы говорим, думаем, чувствуем, совершаем не имеет решающего значения. А только, может-быть, в совокупности с тем как мы это делаем, с какою силою, искренностью, смелостью.

Мне давно хотелось поговорить с Адрианом откровенно и я подумал, что более удобный случай вряд ли скоро представится. Мы очутились в темном, как логовище, баре и под звериный вой призрачного телевизора, уселись за выпирающий, тяжелый, облитый пивом стол.

Лица Адриана нельзя было разглядеть и поэтому мне казалось, что он слушает с затаенным вниманием... Я знаю о всех его мытарствах последнего периода. Я тоже член конспиративного общества и стараюсь организовать экспедицию на русский север. Внезапным броском мы высадимся с корабля и захватим один из многочисленных советских лагерей. Вот наша цель, достойная, хотя и не космического, масштаба. Все рассуждения Адриана тонки и глубоки, но от них нет и пока не может быть проку. А там, в этой великой стране мучаются хорошие люди, среди них гениальный изобретатель и учитель Жан Дут. С той же легкостью, с которой Адриан грешил, лишившись равновесия, не лучше ли постараться помочь этим несчастным. Задача наша даже несколько шире. Мы сделаем документальный фильм, вывезем авторитетных и верных свидетелей, изобличающих наглядно эту сволочную систему порабощения. У нас, говорят, плохо, но у них еще хуже; нам, утверждают трудно или скучно жить, а там попросту невоз-

можно! Здесь, жалуются, воздух разрежен, как на дне колодца, но там совершенно отсутствует.

— Вы уже слышали о моем проекте. И я знаю, что вас увлекает возможность арктического плавания с определенным заданием!

Через дружественного дипломата, мы уведомили Жана Дута и своевременно получили его благословение. Однако, с тех пор многое изменилось. Жана перевели в другой лагерь: на одинокий остров вблизи архипелага Де-Лонга, хорошо знакомый Адриану. Приходится менять весь план целиком и требуется гораздо больше денег и людей, способных управлять машинами. Несколько тайных организаций предлагают нам своё содействие, но мы им не доверяем. К тому же, политические группировки всегда пронизаны агентурою интернационала контр-разведок и это мерзко, да и опасно. Тысячи загадок, ждущих терпеливого разрешения. Нужны умелые руки и смелые офицеры. И в то же время мы отказываемся пользоваться всякими свирепыми попутными ветрами. Мы вне политики и не хотим поступиться полной внешней или внутренней свободою.

— Но ведь это носит характер интервенции и даже может вызвать конфликт, — неохотно заметил Адриан, повторяя довод несчастного Нарциса.

По возможности спокойно (в который раз!), я объяснил, что это частное дело лиц разных национальностей, преимущественно эмигрантов. Мы поплывем под флагом южно-американской республики, порвавшей дипломатические отношения с Кремлем. А перед броском дессанта, поднимем знамя нашего ордена или обычный пиратский флаг — адамова голова на черном поле.

Глаза Адриана переливались веселым огнем: невыразительные в отношении добра и зла, они безусловно свидетельствовали об уме и отваге.

— Вы, как специалист, нам очень нужны, — уверял я. — Вам сам Бог велел к нам присоединиться. Подумайте, сколько таинственного смысла: грешник, детоубийца, вы теперь спа-

саете обреченных каторжников, женщин-рабынь, даже детей, рискуя собственной жизнью. Какое торжество! Великая и святая жизнь: вчера преступник, сегодня герой. Уплатили по счету и продолжаете в разных формах участвовать в общем деле.

— Да, да, точно, — полунасмешливо, но и благодарно повторял Адриан.

А я продолжал: — Нам потребуются техники, навигаторы, летчики, танкисты, парашютисты, артисты радара, всё поколение, воспитанное войною, и деньги, деньги, деньги. Вам знакомо ледокольное управление, метеорология, карта, морские течения, вы должны быть с нами. Нужно победить первым ударом, иначе всё потеряно, а положение наших друзей только ухудшится. Одним словом, избегая участия государства и полиции, мы должны опереться на широкие общественные слои, иначе не осилить! Вот почему необходимо склонить на нашу сторону Конференцию: тогда дело безусловно удастся.

— Я что-то слышал, — опять рассеянно отозвался Адриан. — Знаете, у меня столько хлопот и на всё просто меня не хватает. Нарцис кажется относится сдержанно...

— Но вы должны себе составить независимое мнение, — твердо возразил я. — Очередная Генеральная Ассамблея соберется на Рождество. На этом съезде будет поставлен вопрос об экспедиции в советскую тюрьму. Если большинство поддержит проект, то победа обеспечена, во всяком случае будут средства, люди, снаряжение. Очень важно перетянуть Нарциса и его группу на нашу сторону: с ним еще пока очень считаются.

Из случайных вопросов Адриана выяснилось, что хотя он приглашен на конференцию, но совершенно не представляет себе роли объединения внутренних эмигрантов. Мне доставляло удовольствие посвящать его в эти секреты. Радовало, что он по существу человек дела: к интеллектуальной жизни имел, казалось, только формальное отношение. Такие-то и становятся настоящими мыслителями, учителями, Сократами (если встретится Платон). У него были ладные, умные руки и я чувствовал, что молоток, пила, сексант, ружье, легко и точно

подчинятся ему. Ужасны мудрецы, у которых всё валится из рук: зачем они пришли на эту землю? Русское слово «ум» происходит от уметь (творить); человек не умеющий ничего делать, должен превратиться в дурака, как бы много книг он ни прочитал. Грустно, потребовалось почти четверть века сознательной жизни, опыта, лишений и удач, чтобы усвоить эту истину. (Хотя моё увлечение Жаном Дутом вероятно объяснялось его силою и сноровкою, сказывавшимися в любых критических обстоятельствах). Я вдруг понял: кроме нужды в Адриане, я видел еще в нем достойного ученика, относясь к нему, как бывало Жан Дут ко мне. Увы, поколение успело смениться: еще один необратимый процесс. И вместо красного французского винца теперь мы пили бледное виски.

4

Внутренняя эмиграция составная часть человеческого общества: ею измеряется культура данного государства. Тираны её преследуют, заставляя тем самым превратиться в банальную внешнюю эмиграцию. Демократический режим позволяет внутреннему эмигранту плодотворно сожительствовать с чуждыми ему силами. В этом различие двух политических систем. Психология внутреннего эмигранта, его деятельность, резко отличаются от других оппозиционных групп: спор ведется и в метафизическом плане.

С некоторых пор, внутренние эмигранты всего мира начали регулярно собираться и обсуждать наиболее волнующие темы, стремясь отстоять своё историческое значение.

На последней Конференции местом следующего съезда назначили почти единодушно Нью-Йорк. И хотя теперь обнаружилось, что С.Ш.А. мало удобны для такого рода собрания, так как делегаты разных стран испытывали затруднения при получении визы, но помочь этому уже было нельзя.

В основном внимание Конференции уделялось на этот раз обсуждению плана катакомб... Вопрос необычайно трудный и сложный по принципиальным и техническим соображениям.

Рядом с этой темою проект экспедиции к советским берегам кажется мелким и случайным.

Но именно второстепенное и частное легче осуществить немедленно, если направить туда силы, тогда как «большие предложения» придется еще неоднократно взвешивать и отмеривать, хотя бы из-за нашей общей неподготовленности. Достаточно указать на то, что даже «форма» катакомб еще не ясна. Борятся две партии: одна зовущая, по старинке, зарыться в землю (или под воду); другая, намеревающаяся подняться в межпланетное пространство, — и там переждать несколько поколений, эпох, если нужно веков.

Моя экспедиция не может помешать планам великого исхода. Наоборот, она произведет отбор командиров, способных на дальнейшие и большие подвиги.

Нарцис член Руководящего Комитета; он считается лидером евразийского крыла. Его участие могло бы решить спор в нашу пользу. И вообще ценен каждый голос, так как из-за новых законов о порядке выдачи виз, некоторые друзья, родившиеся в странах Железного Занавеса, не смогут приехать; а между тем они являются моими вернейшими союзниками.

Адриан определенно, хотя несколько вяло, обещал голосовать за моё предложение; также выразил согласие повлиять в желанном смысле на аполитичного и конспиративного Нарциса.

—Тут еще одно обстоятельство, — сообщил я словно невзначай: — вас недавно, впрочем без свидетелей, почти посвятили в высокую степень довольно жестокого ордена. Если вы это посвящение примете, то этим самым перестанете считаться внутренним эмигрантом и лишитесь права голоса на Конференции. Прошу, хотя бы из-за этого одного, подождать немного и не связываться еще с лигою Правителей.

Адриан усмехнулся:

— Понятно. Даже больше: я вероятно сам отправлюсь с вами в плавание и могу рекомендовать несколько полезных членов экипажа.

Я собирался отлучиться в Нантукет, где чинились корабли

общества «Верных Детству»: с адмиралом их флота, вдохновенным Бобом Кастэром, мы вели переговоры относительно аренды ледокола. И поэтому сообщил Адриану наш пароль — в случае, если придется связаться через третье лицо. На этом мы расстались, Адриан рассеянно посвистывая поплелся домой.

У себя, в на редкость чисто прибранной квартире, он застал Диану. Свежая, с косынкою на мокрых потемневших волосах (только что приняла душ), она правила цветным карандашом партитуру своей оперы.

Поцеловала его, покровительственно и мягко улыбаясь.

— Не сердись, душка. Тебе совсем не к лицу семейные сцены. Ведь откровенно говоря, тебе всё безразлично.

— Нет не всё, — строго поправил её Адриан. — На тебя я не сержусь. Мне больно за Синтию.

— Слова какие, «больно»! — рассвирепела она: — Ах бедная голубка, Синтия. А между тем она отлично справляется со всем: начиная с детского паралича и кончая досадным абортом. Ах ты, простофиля. А главное: ты, ты во всём виноват.

— Что это вы все сговорились! К сожалению, я ни в чём не чувствую себя виноватым или, на худой конец, во всём, что одно и то же.

— Шут! Синтия сразу догадалась о наших отношениях. Ей ты никогда этого не предлагал, хотя должен был. Вот ей и захотелось через меня увидеть твоё отражение. И кажется, она разочарована, — весело закончила Диана: — Ожидала большего.

Адриан не знал что ответить; на минуту почувствовал себя уязвленным.

— Знаем мы этих мечтательниц, — шептала Диана, умело его целуя. — Знаем мы этих голубок.

Она ему определенно нравилась: всё больше и сильнее. А Синтия ему тоже нужна! Адриан ничего не понимал и только неумело вздыхал, как суровый воин, которому опытная сестра перевязывает болезненную рану.

— Знаешь, у меня новости, — деловым тоном снова начала она, — за мною увязался подозрительный тип. Ему дали мой адрес там в Нью-Джерси. Недавно из Европы, немец. Расспрашивает об Эльзе и матери. Знает и горничную с второй Эльзой. Я его боюсь. Подозреваю даже, не отец ли он одной из девочек или близкий друг матери.

Адриан так отошел от этих дел, что не сразу понял о чём речь.

— Позор, — ухмельнулся он, — меня это совсем не интересует. Это ужасно.

— Мало ли что, всё ужасно и поэтому ничто больше не возмущает, — беззаботно откликнулась Диана. — Впрочем, это всё только мои догадки. Он всё выпытывает куда девалась Эльза. Весьма похож на палача и вдруг родственная нежность. Я бы его охотно задушила. Тебе нужно с ним встретиться, пугнуть. А то он мне мешает. Знаешь, воспаленные веки, самоуверенные неприличные шуточки, тупая немецкая наглость.

Что-то сомкнулось в душе Адриана, слегка побледнел, зрачки резко съузились, отчего глаза еще больше посветлели.

— Инструкции гласят ничего пока не предпринимать, — мечтательно протянул он. — Но взглянуть на него можно!

Диана заночевала. В какую-то минуту Адриан сказал: «Мы с тобою чета. Вполне ко двору, а может даже чуточку обогнали время».

— А Синтия иная? — усмехнулась Диана. — Она подает нищему милостыню, ей Богу.

— Что тут плохого?

— Если бы её с детства учили вгонять гвозди под ногти, она бы и это делала с такой же простосердечностью.

— Что станет с человеком, если его с детства учить вбивать гвозди в ближнего? — спросил Адриан. Но она опять вплотную занялась им и всё померкло, отступило.

— Она мне сообщила, что не имеет никаких расовых или религиозных предразсудков, — опять начала Диана и так весело засмеялась, что Адриан тоже усмехнулся.

Около полуночи позвонила Синтия...

«Милый, дорогой и несчастный. Диана великолепна, но я немного разочарована. Ты меня любишь и меня одну. Мы окончательно разошлись с Хэнком: бумаги подписаны. Передай это Диане, когда её увидишь. Я иногда плачу, но в общем я счастлива».

На следующий день после завтрака, Диана с ним отправилась на лекцию. Он всё еще читал в огромном амфитеатре, хотя число слушателей заметно убывало.

...Итак, знаменитые «200 или 300 шагов», которые штурман Альбанов не проделал. Как пояснить их символический и роковой характер...

Всем памятна легенда, согласно которой Христофор Колумб скрывал от экипажа расстояние пройденное его флотилией. Матросы при всяком удобном случае бунтовали и требовали возвращения назад. Можно только догадываться об агонии через которую проходил адмирал. Но у него хватило душевных сил, чтобы победить: каравеллы плыли дальше в Море Мрака, парализовавшее одним своим названием средневекового человека.

А вот Варфоломей Диац, за шесть лет до того, как будто провел свои корабли через самый южный рубеж африканского материка... Оттуда уже видно было, что берег поворачивает на восток и португальцы поняли, что они находятся в Индийском океане. Но спутники Диаца отказались следовать дальше. Нам трудно представить себе весь мистический ужас, навеваемый этими широтами в ту пору. Ведь даже культурнейший Данте поместил Одиссея в своем хитро сооруженном аду ибо примерному гражданину не пристало выплывать за пределы Геркулесовых столбов. Диацу удалось убедить своих людей плыть дальше еще только три дня: быть может берег повернет прямо на север и удастся наконец выбраться из этих проклятых античными богами южных широт, где всё живое поглощает Река Океан. Однако, за этот короткий срок им не посчастливилось обогнуть всей южной полосы Африки; материк продолжал ровно тянуться на восток и Диац сдался: повернул каравеллы назад, не дойдя морем до Индии.

В числе спутников Диаца находился генуэзский матрос, по имени Варфоломей Колумб, брат Христофора: вероятно он учел опыт своего неудачного капитана.

Подвиг Диаца остался незавершенным (современники судят по материальным признакам) и вернувшись в Лиссабон он попал в опалу. Ему больше не поручали ответственных заданий; поруганные духи истории мстили и требовали жертвы. В 1497 году отбыла в том же направлении экспедиция Васко да-Гамы. Несмотря на все мольбы, Диацу не позволили командовать даже одним кораблем флотилии своего славного эпигона: ему только поручили на судне, груженом продовольствием, сопровождать Васко до берегов нынешнего Сенегала. Оттуда Диац вернулся назад и только позднее, вместе с ремесленниками и купцами, узнал о чудесном и самоочевидном открытии морского пути в Индию. Следует отметить, что «Святой Гавриил», на котором держал флаг адмирал да-Гама, вел Педро Алемквер, бывший кормчий Диаца — уже раз обогнувший мыс Доброй Надежды. Результат этого эксперимента оценивался государственными людьми гораздо выше находки Христофора Колумба, потому что обещал немедленные и привычные барыши.

Благополучным исключением в этом смысле является экспедиция Нансена: ему не приходилось даже психологически бороться со своим экипажем. Его самого это удивляло: «Порою кажется странным, что никого из наших людей не тревожит мысль, что мы всё далее и далее подвигаемся на север в область неизвестного. Но это так! Никто из них не высказывает ни малейшего беспокойства».

Итак, напрашивается вывод: почти в каждой творческой попытке, во всяком решительном новом акте бывает критическая минута, когда разуму, науке, совести, учету реальных сил, уже больше нет места! Слово за волевым, слепым усилием души — вперед ведут уже только внутренний слух и вера, которые могут, однако, и обмануть. И еще как! Поэтому не следует упрощать таинственной закономерности творческой природы...

В самом деле, когда спутники завоевателя Мексики, Фернадо Кортеса, взбунтовались, настаивая на возвращении к исходной базе, на Кубу, Кортес, чтобы раз навсегда положить этому конец, сжег свои корабли. Но то же самое и совершенно зря проделал Де-Сото. Он высадился на берегу нынешней Флориды и по примеру Фернандо, сжег флотилию; экспедиция пробиралась по непроходимым дебрям в поисках сказочных городов с золотыми башнями. Но ничего кроме мошкары, рептилий, лихорадки и прочего арсенала тропиков, они не нашли, да и не могли найти. И погибли. Теперь в благоустроенной части Флориды, зимою, тучные купцы и богатые невесты плещутся в теплых струях Гольфштрема: это всё. Так вдохновенный художник или мыслитель отдает свою кровь и душу, полагая, что бунтом и ясновидением ему удастся преобразовать будущее, а последующие поколения с комфортом любуются его произведениями, находя в них только лирику прошлого, повесть об отживших нравах, обычаях и мечтах. Такого рода трагическими анекдотами изобилует история культуры.

Но следует усвоить: в основном плане своей жизни у некоторых людей есть верная интуиция. Направление они чувствуют правильно! Человек словно рождается с чем-то подобным компасу в каждой клетке своего тела. Однако все бесчисленные навигационные карты, на которые он так рассчитывает, противоречивы, неточны и даже лживы. И в то же время, вся награда на которую обладатель гениальной интуиции может надеяться, — это начертать собственною рукою еще один кружочек на тех же сомнительных картах! Вот парадокс.

Пора отметить, что в основе каждого значительного открытия лежало предание, некоторая смесь мифа, слуха и сплетни, купленая, украденая в пивной или библиотеке. Колумбу, да-Гама шопотом сообщали, что многие европейцы и арабы прибывали в Индию морским путем; Магеллан подобрал у мертвого матроса карту Америки, на которой Ла-Плата, в образе комфортабельного канала, соединяла оба океана. Зажав эту карту в кулак, Магеллан снарядил свою экспедицию

и отплыл на запад: он несколько недель упорно слонялся в устье реки, к удивлению и недовольству своих спутников. Но самое чудесное: ведь проход в Тихий океан оказался действительностью — хотя и не там и не так, как снилось мертвому матросу... И после мучительных испытаний, заковав своего помощника в кандалы, адмирал обнаружил пролив. Получается, что апокрифы, давая много лживого и ненужного, все-таки выводят на верный, Боговдохновенный путь. Может быть потому что всякая полная хартия, схема, фигура, вариация, если она хорошо подогнана и прилажена, несет в себе долю мировой гармонии и божественной меры, отражая хоть в частях образ родной, первозданной реальности.

Прославленный Ньютон под конец жизни защищал ложную теорию света, распространяющегося, дескать, при помощи передвигающихся частиц; он легко победил молодого Гюйгенса... впрочем не надолго: волновая теория последнего вскоре восторжествовала. И всё-таки на основе сомнительной схемы Ньютона, были сделаны некоторые конкретные открытия в физике, остающиеся незыблемыми по сей день. Такова же судьба многих других Дарвинов,Марксов и Павловых. Скажем: воистину, да здравствует гениальная, всеохватывающая, полная, питающаяся таинственными корнями, теория или схема. И не потому что она есть истина, а только потому, что она в конечном счете отразит какие-то звенья истины в самом неожиданном варианте.

Нужно ли еще добавить, что тот же механизм действует в плане духовной географии: да, основная наша религиозная интуиция верна. Компас нам дан правильный, стрелки его указуют всегда приблизительно на север. Это абсолютно. Древние не знали почему, мы понимаем: магнитная стрелка тянется к своему полюсу. Разница только в сознании! Но и древние пользовались тем же прибором. То, что является добром здесь, будет добром всегда и всюду (с некоторыми магнитными отклонениями); а земное зло воспримется как зло и в других мирах. В этом откровение Бога-Любви, Бога-Слова. Но попадем ли мы действительно в чистилище или сядем по правую

или левую руку от Отца, это уже картография. А все наши навигационные карты неточны, наивны, безграмотны и подчас лживы, подобно плану Магеллана, украденному у мертвого матроса... что впрочем всё-таки помогло адмиралу отправиться в путь и найти истинный пролив.

Слишком часто взрослые герои — и какого пошиба! — ведут себя точно дети. Слепые и тайновидцы одновременно... Колумба ужасала мысль, что зе́мли им открытые могут оказаться совсем не принадлежащими Индии. Нам дана гениальная способность обнаруживать факты, но в их интерпретации мы почти всегда ошибаемся. На рубеже 16-го века флотилия Педро Альвареса Кабраля шла в Индию; полоса ураганов захватила его суденышки. Сколько не бился адмирал, их относило всё дальше на запад: так была открыта легендарная Бразилия. Им надлежало обогнуть с товарами Африку и поэтому путешествие Кабраля считалось неудачным и убыточным. В Луна-Парке за полтинник можно попасть в «лабиринт» откуда почти невозможно выбраться; а в это время зрители, сверху, из другого измерения, — надрывают животики, удивляясь глупости или слепоте, очутившихся в мнимой западне героев. Время и упрямство заменяют лишнее измерение: это наши костыли!

Почему пришлось дожидаться импрессионистов, чтобы раскрасить тени... Если воскресить некоторых художников Возрождения, то они бы поклялись, что находились совсем близко от этого приема.

Вот о чем приходится вспомнить в связи с бесхитростными словами штурмана Альбанова, «о 200 или 300 шагах», которых он, увы, не проделал. Это тема общая для всякого личного творческого порыва и она упирается в другие тайны мироздания.

5

Немец обещал явиться к шести, а они поехали на Ист-Сайд с получасовым опозданием, уже не надеясь застать его (впопыхах, Адриан купил бутылку «скоча»). Но он был из тех, что

безропотно дожидаются: развязно улыбался на площадке у ателье Дианы.

Покрытой рыжим мхом, жилистою рукою налил себе треть стакана «скоча» и жадно вылакал; присутствие Адриана его казалось не удивило. Только многозначительно подмигнул и бросил:

— Интересуетесь? — по-английски он изъяснялся с противным, самоуверенным акцентом, тупо картавя.

Адриану он напомнил русского актера в драме Достоевского: всегда переигрывают. Всё в нем было грубо подчеркнуто, оттопырено, а искренность черезчур навязчива. Незаметно разговорился, часто отпивая из стакана (еще не понимал, что можно мешать алкоголь с водою).

— Известно ли вам, что мы пережили? Могут ли здоровые нервы выдержать такое сотрясение? Увы, нет! Это только видимость, что мы живы. На самом деле люди моего поколения все мертвы.

Адриан взглянул на его уши: дряблые, зеленоватые мочки свисали, как у лягавой.

— Последние десять дней апреля я провел в бункере Адольфа, — утверждал немец: — Причислен к его охране. 20-го апреля мы все собрались поздравлять его со днем рождения. На нем был серый френч, черные брюки, белая рубашка с черным галстуком; свеже выбрит, но вид имел уже страшный: правая рука согнута и непроизвольно тряслась, он с трудом волочил ноги по ковру. Геббельс, Кейтель, Йодл, стенографы, секретарши и прислуга, подходили к нему с выражениями наилучших пожеланий. Я его уже ненавидел, он нам мешал, но всё же по привычке трепетал. Постепенно от всех льстивых слов, маска Адольфа разгладилась, нижняя челюс перестала прыгать, он начал улыбаться и болтать, вдо новенно уверяя, что общее положение к маю месяцу обяза льно улучшится. Меня и тогда тошнило, но я не понимал о чего...

Дальше, вперемежку с множеством отступл й и повторений, следовал рассказ о последних десяти днях жизни вождя. Если немец и привирал, то всё же казалось несомнен-

ным, что он был хорошо осведомлен и встречал очевидцев тех событий. Это чувствовалось по мелочам. Особенно заинтересовалась Диана и задавала жадные вопросы относительно разных продробностей обстановки, быта, одежды Евы Браун. Она даже убегала на кухонку и там делала записи: какой материал для либретто её оперы!

Адриана тоже волновал рассказ; и в то же время охватывало чувство непреодолимой брезгливости (словно моешься в грязной ванне). Раздражала Диана своим трезвым вмешательством и деловым подходом.

— Кто вы? — спросил Адриан, не совсем впрочем зная, что он под этим подразумевает.

— Меня всё еще зовут Клаусом, а фамилий у нас много, — охотно отозвался немец. — Я считался героем, а после ранения на фронте истребил тьму врагов в тылу, согласно присяге. Поверьте, это проще чем кажется и принципиально не имеет границ. Вас поглощает техника работы, вы привыкаете, поднимаясь всё выше на более ответственные места и отступить посередине бессмысленно. Оказывается, вы давно в той или иной форме занимались именно этим, для чего же отказываться от чинов и комфорта. К тому же, бесперебойно уничтожать десятки тысяч, убирать их трупы, это тяжелый труд, требующий смекалки, организации и такого напряжения души, что на всё остальное уже не хватает времени и сил. А выполнив план, испытываешь даже род удовлетворения, как после всякого удачно завершенного дела. Я видел докторов, генералов, судей и священников, они все были похожи на нас. Иногда наступает кризис: истребить 100,000 за сутки это что-то новое. Есть таинственные фазы, когда испытываешь вдруг беспокойство. Алкоголь, проповедь или музыка помогают с этим бороться. Простаки думают, что когда перестаешь курить, то страдаешь равномерно — месяц, два, год, а потом перестаешь томиться. Обман. В русском плену мне пришлось отказаться от трубки. В первый день даже легко. Потом тяжелых три дня; страдаешь опять на седьмой день, на двенадцатый, на пятой неделе. На третьем месяце входишь в полосу

по-своему ничем не уступающую тяжести первого периода. Червь, гад, солитер, живущий в организме, только усыплен, в какие-то промежутки времени он поднимает безобразную рожу, шевелится и опять присасывается. Так же и с другими маниями. Совесть, честь, тоже привычки.

Опять вмешалась Диана; она поставила на стол тарелку с ветчиной, хлебом и банку горчицы (лицо Клауса преобразилось, в голосе зазвучали торжествующие нотки) и задала несколько точных вопросов.

— Под конец меня перевели на личную службу к Адольфу, — охотно ответил немец: он очевидно не мог кусать ослабевшими зубами и отрывал огромные куски хлеба. — В полдень 30-го апреля он вышел из своей половины и приказал Кемке уничтожить эльзасского пса. Адольф уже еле держался на ногах и ему давали разные пилюли, дважды в день делали уколы. От яда или морфия он казался совершенным идиотиком. Нервы всех были напряжены до предела. А пока Адольф жив никто из нас не может заняться собственною судьбою. Даже Геринг в Баварии и Химмлер на севере были связаны по рукам и ногам: попади они тогда в бункер их бы прикончили! Если Адольф не умрет, его надо убить, это ясно. Геббельс на всё согласен, только чтобы сохранить миф самоубийства. А Борман, этот преданный кретин, всё записывал для будущих поколений междометия и откровения только что обвенчавшегося Адольфа, слегка подправляя их. Адольф опять произнес речь, весьма увлекаясь ею; потом попрощался со всеми и удалился вместе с Евою. Мы поняли: совершается тысячелетний эпос! В корридорах слышался приглушенный плач женщин и детей. В казарме гарнизона весть о близком конце встретили радостными кликами. Пели, пили, плясали, выкрикивая обидную брань; меня послали туда пристыдить солдат Рейха. Русские пушки накрывали пядь за пядью. Красные овладели центром столицы: танки подкатили уже к Потсдамской площади; оттуда до нас пять минут ходьбы. Это конец. Но прошло несколько часов и ничего не изменилось: люди всё еще сидели по своим углам и комнатам, дожидаясь револьверного вы-

стрела. Русская пехота показалась уже с той стороны здания Канцлерства.

— Который был час? — осведомилась Диана. Клаус только вздохнул, опорожнил залпом стакан, снова наполнил его и продолжал:

— В два часа пополудни Кемке принес 200 литров бензина к входу в бункер. В это время произошло нечто, испугавшее и насмешившее многих. Из салона новобрачных раздался звонок: невероятно, но Адольф требовал завтрак. Они подкрепились и опять вышли к нам творить миф: рукопожатия, туманная речь и снова занавес, как на провинциальной сцене. Всеобщее нетерпение принимало явно неприличные формы. Я стоял рядом в корридоре и всё же не могу точно сказать, раздался ли один или два выстрела: я слышал точно повторный звук. Борман и Гюнше вбежали туда. «Фюрер умер», — крикнули облегченно. Мне видно было через растворенную дверь: возле человека, похожего на Адольфа, лежал револьвер военного образца, явно не ему принадлежавший. На ковре не было заметно следов крови. Мертвая Ева в домашних туфлях покоилась на софе: пустой флакон валялся тут же, а на груди её я заметил большое красное пятно. Линге и штабной офицер вынесли тело, завернутое в серое солдатское одеяло: лица не видно, а штаны и башмаки точно, фюрера. Обратите внимание, что двойник Адольфа, Кюх, последние дни помогал на кухне; в его присутствии мы все испытывали омерзение: хотелось поскорее размозжить ему голову. Колени трупа согнуты, их нельзя уже выпрямить: будто давно уже застыли! Чету облили бензином и положили у входа в бункер. Русские снаряды ложились всё кучнее и ближе: мы отбежали под прикрытие. Оттуда Борман, творя эпос, бросил несколько горящих тряпок и трупы наконец вспыхнули. Под вечер трое СС похоронили останки в воронке из-под снаряда. Через два дня войска маршала Жукова перевернули всё кругом в поисках обгоревших молодоженов, но по официальной версии, ничего не нашли. Всю правду вероятно знают только в Москве: когда и кем был убит Адольф, куда его останки вывезли и где похоронили. Ева

кажется сгорела рядом с Кюхом, так и утверждал Борман, которого я встречал на русской каторге. Во всяком случае это нам сразу развязало руки и мы могли заняться собственными делами. Решили пробиваться из окружения на запад. Но в каком состоянии мы находились....

Клаус страдальчески крякнул, вытер грязным платком лошадиное, потное лицо, подождал немного, точно ожидая помощи, потом жадно проглотил сандвич, запил «скочом» и снова заспешил, повинуясь очевидно внутренней потребности. Недокуренные папиросы дымили в пепельнице и Адриан с отвращением раздавил их словно головы кобр.

— Представьте себе парк, Тиргартен... одно название чего стоит. Вы думаете там бенгальские тигры прохаживаются по лужайкам, царственные львы? Ошибка. Под землею, где крысы мечутся по трубам канализационной системы, засел Адольф с игрушечным генеральным штабом. Русские оцепили город, дерутся в туннелях; тяжелая артиллерия накрывает бетонные сооружения. Потолок гудит от взрывов, голова сплюснута бессонными ночами, обманом, дешевым классицизмом, истерикой. Два трупа выплюнуты подземельем; лицо Евы открыто и всем знакомо, но Адольф закутан и коленки его уже окоченели, словно от трехдневного раздумья. Где несчастный Кюх, двойник, не догадывавшийся о своей ужасной участи! Что это, мышьяк, цианистый калий? Из пистолетной раны не сочится кровь. Я слышал один выстрел или два? Сумбур, ложь, аборт. Нет, это миф: золото Рейна, Нибелунги, гордись немецкий бог. Крысы, обгоревшие волосы, яд, трусы в генеральских мундирах. Обливают новобрачных синтетическим бензином и прячутся под прикрытие. Русская артиллерия поет соло. Борман, изогнувшись как античный дискобол, бросает с лестницы бункера зажженную паклю: он боится высунуть голову. Наконец трупы вспыхивают: все облегченно скрываются, выполнив свой легендарный долг. Ну разве не величественное зрелище? Торжествуй Геббельс, неудачный литератор. Мы все, боевые офицеры, солдаты, стражи, прислуга, которых завтра убьют или погонят в плен, мы конечно трепещем от эпического восторга.

Гомер, здесь твое солнце. Самое смешное, что была возможность полного выбора. Почему не создать нечто величественное, как готический храм? Ведь в их распоряжении все рессурсы. Лучшие поэты, — не только немецкие, — за деньги написали бы либретто; художники — декорации; композиторы — музыку; а известнейшие виртуозы (даже евреи), за визы, паек, свободу, составили бы оркестр. Адольф никогда хорошим вкусом не отличался. Он был заранее на все согласен, лишь бы только сожгли труп: пример итальянцев, играющих в футбол телом дуче его напугал. Но бедный Геббельс, как он завязывал свой галстук: его все считали артистом! Зато ему удалось обмануть друзей и тайком спровадить двоих меньших детей из бункера. Я это знаю доподлино! — Клаус вытаращил рыбьи глаза и опорожнил стакан; речь его становилась не твердой. Диана поспешно что-то спросила, но он не обратил внимания.

Адриан сидел тихо; он был готов слушать и не прерывать хоть всю ночь.

— Официально предполагалось, что мы все бежим на запад к адмиралу Деницу. Наша группа попыталась организованно прорваться...

Из дальнейшего рассказа опьяневшего и уставшего Клауса можно было понять, что ему лично удалось бы уйти, но его опознал один мерзавец СС. И выдал русским. Под особой охраной перебросили в Москву. Потом отправили на дальний север.

—Но пока не стоит об этом распространяться, — подмигнул Клаус, несмотря на хмель, сохраняя свой обычный наглый и жалкий вид.

— Вы были в особых лагерях? — осведомился Адриан. — Это интересно. Такие люди нам могут понадобиться.

— Экспедиция? — сказал немец и опять осклабился.

— Что вы этим хотите сказать? — забеспокоился Адриан.

— О, это совсем не секрет. А мы там только об этом и мечтали. Если бы вы такое проделали, мы бы все воскресли. А пока мы мертвые, мертвые.

— Мертвых много повсюду, — заметила Диана.

— Я ищу Эльзу и фрау Клару, — произнес точно во сне Клаус и впился в неё глазами.

«Страшно, — подумал Адриан. — Самое страшное, что мертвый человек в одном направлении, оказывается живым в другой комбинации».

— Вы никогда еще не убивали? — вежливо спросил Клаус. — Здесь в Америке я встречаю разного рода девственников, — он хихикнул.

— Я убил Эльзу, вашу дочь, что ли, — сообщил Адриан и отшатнулся: Клаус вцепился в его шею рыжими, волосатыми клещами. С минуту они молча боролись, упиваясь злобою.

Диана размахнулась опорожненной бутылкой:

— Ведите себя умнее, сказала: — Я знаю где одна Эльза.

Немец с трудом дышал, похожий на фигуру из глины, едва, едва оживленную; лицо зеленое, пятнистое. Вдруг заплакал:

— Я никому не верю. Зачем вы меня мучаете, — икал, размазывая обильные (тоже веснущатые) слезы и струи пота.

— Уходите теперь, — решил Адриан: — Мы ещё встретимся: вы нам нужны.

— Да, теперь ступайте! — поддержала Диана. И Клаус, бормоча ругательства, ушел. У самой двери, он выпрямился, щелкнул каблуками, но не оглянулся: всё же осталось впечатление, точно — откозырял.

— Я пьян, — жаловался Адриан. — Но понимаю. Вот я убийца и он! Неужели это одинаково? — опять мучительная ижица на лбу.

— Ах, глупости, — уверенно отмахнулась Диана: она одна, казалось, не боялась окружающей тьмы. — Надоело, право. Точно гимназист, что сходил впервые к женщине и ждет страшных последствий. Меня судили в Бельгии, обвиняя в убийстве не то 17, не то 45 патриотов: в их числе мой муж! Даже цифры настоящей не удалось определить. Потому что немцы узнали о второй группе из другого источника.

— Я что-то слышал, — равнодушно отозвался Адриан.

А я себя чувствовала только обиженой, когда судили: моей злой воли не было. Человек которого я полюбила оказался немецким шпионом.

— Как это можно целовать и не догадываться, что целуешь мерзавца?

— Не знаю. Я была счастлива...

— Какая жизнь, — бормочет Адриан. — Бурый свет. Деньги в банке — тоже кровь ближнего, засушенная, законсервированная: годы чужой или своей жизни, замороженные. Твоя или моя сукровица, сконцентрированная и свернутая в пилюльки, сложенная на полочку в холодильнике, про черный день. Вот теперь в Индии, говорят, официально вводится контроль над деторождением. Скоро научимся влиять на пол эмбриона: отдадим прерогативы начальнику государства, он будет создавать исключительно мальчиков для военных надобностей. Еще чудо, что до сих пор мы не открыли этого секрета, известного насекомым... Кстати, а со мною ты тоже иногда счастлива?

— Ну, конечно, иногда, — быстро ответила Диана и поцеловала его. — Какая это экспедиция на север? — у неё был влажный и светлый взгляд, словно умытый росою. Улыбаясь и глядя на него в упор, она начала раздеваться. Что-то крайне бесстыдное и целомудренное было во всех движениях ладного и живого тела.

— Мы поедем на север освобождать несчастных русских. Или в катакомбы: ты станешь родоначальницей новой культуры, светлою Агарью. Синтия отправится на ракетной платформе в межпланетное пространство. Будет греться в космических лучах, давая жизнь новым поколениям. Всё зависит, что решат на Генеральной Ассамблеи, — болтал Адриан, улыбаясь и морщась. — Да здравствует существование, милая! — шопотом, как тайну, сообщил он: — Днем творить историю. Головой, волею и руками. А ночью, закусив и выпив, целовать тебя или тебе подобную. И восторгаться, каяться, молиться. Ангел мой, широкоплечий, где ты...

7

Адриану кажется, что он бредет по залитому светом и жаром городу. Повсюду мрамор, сверкающий на солнце. Но зноя Адриан не ощущает, духоты не чувствует; тело не потеет, полдневные лучи не режут глаза, в голове не шумит и жажда не томит. Есть только положительные черты лета, камня, столицы — без недостатков. Рядом многоокая толпа, но это не мешает, не стесняет, не раздражает. Все кажутся знакомыми, близкими, погруженными в сияющую стихию (как бы противоположную коричневой). Адриан счастливо кивает своим новым друзьям; ему отвечают улыбкою, взглядом, волною, но не прямою речью.

Город окружен несокрушимым валом, по которому расхаживают часовые. Розовые башни пылают под непостижимым солнцем; тучные голуби взмывают с террас, дети играют на площади, где осторожно прядут ушами тяжелые, оседланные кони. Женщины спускаются к фонтану. Рим, Афины и Иерусалим слиты в кристальном воздухе. Хора не видно, свирели отчетливо не слышно, но над всем льется однообразная, музыкальная фраза, похожая на нимб.

Там за городской стеною сразу наступает ночь и холод и духота и яростные крики и Гегель со всеми организованными противоречиями. Ядовитые испарения, сладострастные подвиги, страдальческий рев хищников и многих жертв, песни нераскаявшихся героев, коричневый закат. На площади покой, голуби клюют просо, взнузданные лошади шевелят мягкими губами; на готических часах нет стрелок, небо замерло. Толпы знакомых святых тихо движутся по аллее. Высоко на сторожевой башне расхаживает коренастый архангел с подзорной трубою.

«Это Тысячелетний Град, — шепчет Адриан: — Мне обещанный. Моя обитель: до страшного Суда и второго воскресения из мертвых. На этой твердой земле Царство от мира сего, небесное селение еще во времени и в истории. Мужайтесь, может в последнюю минуту перед взрывом водорода, обнаружится лазейка и кое-кого из нас детоубийц, лгунов, плантаторов, торговцев разноцветными душами, туда пустят с

нимбом над головою. Там розовые чайки и европейские соловьи, пингвины антарктики и белые медведи севера, арманьяк и полинезейки с кофейными телами, пауки без паучьих повадок и змеи без жала, вибрация русской весны (когда всё тает) и вдохновенная скука парижского кафэ, когда по тенту часто-часто барабанит сентябрьский дождик, и последнего метро — не надо».

В это время раздался тварный, геологический вой сирены, равнодушно предварявшей о всеобщей и собственной гибели.

—Воздушная тревога! — раздались крики параноиков на скамеечках, как-будто только этого и дожидавшихся.

Кругом всё дрогнуло, вильнуло, сместилось. Кареты скорой помощи, полиции и других служб, магическим образом вызванные из небытия, бешено помчались по Риверсайд-Драйв. Сразу появились чины гражданской обороны и начали загонять невинных прохожих, детей, собак, нянек и призраков с газетами (дожидавшихся результатов скачек). Всем надлежало укрыться в подземных убежищах; машины застопорили у обочины тротуара: передние колеса вздымались, точно намереваясь покинуть неуютную землю. Владельцы автомобилей выпрыгивали еще находу и убегали, норовя однако захватить с собою ключи. Снова завыла сирена: ближе и громче, но ничуть не грознее: границы чудовищного были уже достигнуты первым сигналом. (Так взрыв одной бомбы или нескольких действует на жителей пострадавшего квартала почти одинаково; а в описаниях старинных баталистов, от артиллерийского гула Бородина и Ватерлоо солдаты уже тоже глохли).

Всё стихло недобрым покоем; улицы замерли, как на моментальном снимке и только девицы в белых шлемах прогуливались на своих постах. Чтобы не спускаться в подземелье, Адриан пересек Вест-Энд и забежал в аптечный склад. Со стороны океана доносился низкий, ровно нарастающий гром приближающихся эскадрилий. И вот зарево, как вспышка магния, только увеличенная в сто раз; и столб дыма медленно ползет вверх на подобие гриба. И лишь затем раскат взрыва. Синай, новый Синай, там Господь кует современные скрижали. Из

окон аптечного магазина виден стелющийся, густой, точно искусственный дым, пожирающий стены игрушечных зданий; скаты крыш, ахнув, подпрыгнули и повисли чудесным образом в воздухе — по ним ползли, точно спеленутые гусеницы, пожарные.

Полиция оцепила квартал; были пущены в ход знаменитые нью-иоркские шланги, огромного давления. Из соседних домов выносили раненые парализованные куклы. На углу разбили походную кухню и поили пострадавших кофе. Сумятицею воспользовались несколько смуглых подростков и проникли в банк: отставшего главаря успели пристрелить.

В аптечной лавке шла бойкая торговля: собравшиеся, считали долгом чести покупать разные мелочи, из благодарности за предоставленное убежище. Хозяин с тотальной лысиною завернул для Адриана пару домашних туфель; расплачиваясь, Адриан серьезно сказал:

— Вы могли бы теперь уже даром раздавать товар.

Тот не понял и строго поглядел на Адриана.

— Неужели вы думаете, что деньги еще долго будут иметь хождение?

— Как? — горестно воскликнул торговец и даже на минуту помолодел: — Доллар потеряет цену?

И Адриан смутился, как всегда, когда встречался с представителями полного и беззащитного благополучия.

— Вы верите в чудеса? — кротко спросил он:

Фармацевт с достоинством выпрямился:

— Меня удивляет ваша бестактность.

— А в то, что доллар уцелеет, вы верите! Был рубль, франк, крона, марка, иена и превратились в мусор. Стерлинг сохранил треть, потому что цепляется за нас. А доллар стоит и долго еще по-вашему будет так продолжаться? Не будет ли это беспримерным чудом, если он один удержится в мире утопленников. Сообразите, деловой человек.

— Но что же с нами будет, если доллар рухнет? — склоняясь из-за прилавка, спросил изумленный хозяин.

— Вот сообразите, что уцелеет от нашей жизни, когда

зеленые банкноты вылиняют, и копите эти ценности, несите их в банк.

— Что именно? — надежда снова мелькнула в глазах старого человека.

— Дружбу. Друзей. В грядущих потемках вы столкнетесь с тенью и возрыдаете. Только дружба еще пригодится. А деньги уже никому не понадобятся.

— You can't fool me, — опять успокоился продавец, решив, что перед ним шутник или сумасшедший. Но звоночек кассы прозвучал хрипло и предательски.

Радио-аппараты начали усовещевать скученные толпы растерянных обывателей. Бомба упала на Вест 82 улице; насчитывается 112409 убитых и 116500 раненых. На Таймс-сквере лопнула водопроводная труба, вода заливает квартал. Сохраняйте спокойствие и дисциплину. Множество вражеских бомбовозов сбито у подступов к городу. Эскадрильи удаляются; сражаются еще над океаном. Сейчас будет отбой. Сейчас будет отбой.

И, действительно, вскоре опять завыли сирены, как отвратительные обрубки, но их слушали с удовольствием. И все сразу ожило; опьяненная толпа повалила из убежищ. Куклы, раненые, убитые, амбулансы, пожарные исчезли, как при автоматической смене декораций. Взволнованные люди обменивались веселыми возгласами.

— 112 тысяч убитых. 116 тысяч раненых. Как быстро подсчитали. Известно, что 20% населения района гибнет. Здорово, здорово, — верещали кругом. Молодежь легко знакомилась, жадно обнималась, пропадала в исконней тени парка.

Встревоженные дети отчаянно сновали меж ногами; собаки недоверчиво и тоскливо обнюхивали знакомых. Туча автомобилей с уже включенными фонарями устремилась в боковые улицы, норовя поскорее вырваться из зачумленного района.

Адриан стоял, как соляной столб, уставившись в рубиново-зеленую (с голубым и желтым) полосу неба, откуда так убедительно только что прозвучал синайский монолог. Так на

него наткнулась Синтия, пробиравшаяся к Диане. (Она давно кончила занятия; несколько раз звонила Адриану, ей скучно). На её радостные восклицания и шутки: — Это ведь игра, пробная тревога, тренировка барышень... — он возразил:

— Неужели ты думаешь, что действительность будет пристойнее!

— В действительности будут не только жертвы, но и акты героизма, самопожертвования, величия, романтики. Матери спасают детей, женихи чужих невест, отцы соседей. Это освятит даже бойню, — шептала Синтия близко-близко приникая к нему; в сумерках её взгляд казался подернутым веселым и жестоким, библейским огнем.

— Да, я знаю, наша История, — отмахнулся Адриан. — Но последняя война... Газовые камеры, абажуры, сало для мыла. Что-то не слышно было, не осталось следа от этого духовного преображения. Солдаты, как всегда, делали своё, но невинные жертвы прошли как тени. И ни один палач не раскаялся! Матери расставались с детьми, которых бросали в печку; доктора убивали пациентов и коллег по заключению. Отцы бросали в котлы своих близких, когда им приказывали. И все эти страдания не создали ни одного бесспорного, духовного памятника: по крайней мере, мне не известно! Даже в этом смысле, тоже неудача.

— Поедем к тебе, — решила вдруг Синтия.

— Ко мне?

— Почему ты собственно не хочешь. Чего боишься? Почему ты думаешь, что на мне надо сперва жениться. Let's get it over with, — она выжидательно закрыла глаза (напомнив Диану), но не выдержала и по-детски честно, озорно взглянула. Синтия изменила прическу (исчезла прямая чолка на лбу). И духи, новая улыбка: напряженная, условная и волнующая.

Так они провели первую ночь: воздушная атака и другие впечатления дня выбили из-под него еще одну подпорку.

В. С. Яновский

АЛДАНОВ-ЭССЕИСТ

Покойный М. А. Алданов, прославившийся как романист, был вместе с тем, замечательным мастером очерка — жанра, популярного ещё лет двадцать тому назад. Возник он в эпоху реализма и натурализма и знаменовал поиски такой литературной формы, в которой бы доминировал не вымысел, а наблюдение и изучение. Писатель здесь уподоблялся — натуралисту, недаром многие сборники таких очерков носили подзаголовок: «естественная история нравов». Появилась «Физиология Парижа», «Физиология буржуа», «Физиология тюрьмы». В России Некрасов выпустил «Физиологию Петербурга» и «Петербургские углы», Белинский — «Петербург и Москву», а Фаддей Булгарин «Очерки русских нравов или лицевую сторону и изнанку рода человеческого».

Само собой разумеется, что ничего общего с этой ранней ступенью очеркового искусства творчество Алданова не имеет. Очерк прошел с тех пор длинный путь утончения, углубления и заострения приемов. На Западе он давно перестал быть «физиологическим». К концу XIX века элементы мысли, науки, политики в нем возрасли настолько, что романические приемы подверглись предельному сокращению. Уже тогда появились блестящие мастера, вроде Поля де Сен Виктора, которым начал завидовать Гюго. Успеху этому немало способствовали английские эссеисты, литературная деятельность Ницше, а позднее, такие философы-писатели, как Унамуно, Ортега и, конечно, Анатоль Франс. Ко времени Алданова, очерк совершенно освободился от чужеродных примесей: беллетристики, построенной на вымысле, научной статьи и публицистического фельетона. Он всё больше превращался в форму игры свободной мысли, для которой наука, философия, политика служат только возбудителями, но цепей которых он научился избегать. Он приблизился к творчеству своего более благородного прародителя — Монтэня. Почти все очерки Алданова написаны на исторические темы, однако читают их не для приобретения знаний по истории. Привлекательность их в особой словесной ткани недостижимой ни при романсировании, ни при засильи добросовестной научной прозы. В этом смысле Алданов занимает

видное место даже среди западных мастеров, а в русской литературе просто не имеет равных. Я во всяком случае затруднился бы назвать хоть одно имя. Какой-нибудь Михаил Кольцов не может быть назван не только по скудости таланта, но и потому, что в нем не было и грана той общей и литературной культуры, что создала Алданова. Писать романы, не будучи человеком сносно образованным и умным можно; большинство средних писателей таковыми и являются, но совершенно невозможно итти в современный очерк не будучи блестящим эрудитом, артистом, не владея в совершенстве гимнастикой мысли, не впитав в себя умственного богатства своего века. В Алданове пленяют нас именно эти качества. Именно их сочетание породило серию очерков, блестящих, как коллекция старинного оружия чеканной работы. Их хочется сравнивать именно с металлическими изделиями, до того они добротны и прочны, и до того звонко легки, но в то же время увесисты. В чем тайна их привлекательности? Взор обращается, прежде всего к языку. Язык Алданова замечательный; не надо только подходить к нему с позиции «исканий». Ни переворотов в синтаксисе, ни открытий в лексическом составе, ни революции, ни реформы у него нет. Он исходит из старого доброго хозяйства русского литературного языка, в котором так много ещё прекрасных запасов, неразработанного сырья, что нет необходимости в словесном конквистадорстве. Он стремится к тому, чтобы язык его не замечался при чтении. Говорят, это и есть лучший язык. Ни одного длинного периода, ни одного тяжеловесного рассуждения. Ни булыжников гелертерской прозы, ни ораторской трескотни, ни кислосладкой плавности морально-этических опусов. Это подвижной, полный интонационного богатства язык козёра — явление пожалуй новое в русской литературе, не знавшей «разговорных салонов», как во Франции. Он весь приспособлен к передаче остроты мысли и эффектов её игры. Я не ставлю здесь задачей анализировать его по всем правилам опоязовской методологии — рассматривать риторические фигуры, эпитеты, семантические контрасты, вроде того, что звучит в одной фразе о Леоне Блюме: «Его программа очень хороша. Осуществить её невозможно». Не останавливаюсь и на несравненном его искусстве иронии: «'левому крылу' нередко надо бросать кость, — быть может с искренним пожеланием, чтобы оно этой костью подавилось». Хотелось бы только, когда говорят: «что вас восхищает в Алданове, неужели его скептицизм, исторические анекдоты и философия?» — попросить, не вступая в пререкания, указать другого современного писателя, который бы умел так властно

заставлять читать свои очерки. В жанре лишенном сюжета, занимательной интриги и красочных описаний — это необыкновенно трудное дело, и здесь всего одним языком не объяснишь. Многое достигается, незаметной для читателя, египетской работой в библиотеках. У нас успели забыть, что это тоже литературный труд, и тоже требует таланта. Мало кто способен оценить такие, например, строки в очерке о Ганди: «В Индии 600 государств, 2300 сословно кастовых делений людей, 222 языка, из них более 30 главных. Из трехсот миллионов населения, трудолюбивого, честного, несчастного, огромное, подавляющее большинство ни на одном из этих языков не умеет ни читать, ни писать. Бесконечное множество верований. Сложнейшая основная религия, тесно связанная со сложнейшей мифологией, — за её философскими оттенками не всегда мог уследить ум Шопенгауэра. В повседневном же быту — культ коровы». Можно ли сомневаться в том, что для произведения на свет этих десяти строчек прочитан увесистый том об Индии, а то и не один. И, конечно, не один час просижен над сгущением и конденсацией извлеченного материала, над приготовлением из него настоящего бомбардировочного средства. Сила алдановского языка, как совершенной формы, такова, что мы наслаждаемся им независимо от нашего согласия или несогласия с автором по части общих идей.

**
*

В эпоху Возрождения существовало течение в поэзии, полагавшее, что цель поэта — изумлять. Верно ли это в отношении стихов? Сомневаюсь. Но в искусстве современного очерка способность изумлять имеет первостепенное значение. Правильнее было бы сказать — «поражать». Алданов усвоил секрет газетных репортеров и фельетонистов завладевать вниманием читателя против его воли. Легко, игриво подносит он сложнейший материал, отточенные мысли, и заставляет почувствовать к ним вкус. Он, как бомбометчик, стремится с первых же строк пустить в читателя словесный заряд необычайной силы, и сразив, и оглушив, вести потом на аркане, поражая время от времени новыми ударами. В этом искусстве меткой стрельбы он не имел себе равных. Иногда это было просто острое словцо, иногда фактическая справка, чуть не протокольного характера, но облюбованная, выбранная и преподнесенная так, что никакие страницы остроумия не могут её заменить. Выкопал же он откуда-то, что гитлеровская партия

должна была вначале называться «партией социалистов-революционеров»... или — цитата из воззвания французского патриота Дюка де Ришелье, который, будучи губернатором Новороссийского края в 1812 году, призывал жителей «явить себя истинными россиянами» в борьбе с его соотечественниками-французами. А чего стоят те три строчки, что посвящены бюджету Германской Республики в инфляционном 1923 году: «Государственные расходы по этому бюджету составляли 6 квинтиллионов, 533 квадриллиона, 521 триллион марок (биллионы не считались, как теперь не считаются пфенниги». Это очень дорого стоющий эффект. Труд писателя похож в таких случаях на добычу золота. Надо промыть тонны песка, чтобы найти крупинку драгоценного металла. И надо при этом не ошибиться и не принять за золото какую-нибудь простую породу.

Тоже с цитатами и афоризмами. Все читавшие алдановские очерки знают, какое видное место занимают в них выдержки из документов и знаменитых авторов. Искусство пользования ими доведено до предела. «У меня в жизни было 22 дуэли: две из-за собак и ни одной из-за женщин». Выбрать эти слова из всех сентенций и заявлений графа Эстергази, виновника дела Дрейфуса, — всё равно, что одним взмахом карандаша дать портретный набросок. Такую же тонкость в выборе цитат находим в очерке о Ганди, отрицавшем европейскую цивилизацию и твердо верившем в корову: «Никто не почитает корову больше чем я», но «не надо защищать корову насилием... это значило бы принижать высокий смысл защиты коровы». Выбранные с таким вкусом строки, создают Алданову великолепный трамплин для его собственного остроумия: «Собственно, Европа на корову и не нападает. Но, может быть, западная цивилизация вправе скромно пожелать, чтобы и её с Леонардо, Декартами, Гетё и Пушкиными не так уж безжалостно разоблачали во имя культа коровы».

Наконец, никакие памфлеты и профессорские исследования не передадут более ярко духовного климата эпохи первой пятилетки, чем эта гениально найденная фраза об энтузиазме советской молодежи, у которой «уже четыре года 'в порядке непрерывки' горят глаза оттого, что благодаря ликвидации обезлички и уравниловки в зарплате, хозрасчетные бригады арматурщиков на Турбострое четко выполняют регулировочное задание с недопродукцией всего лишь в 18 процентов, вызываемой вылазками ещё не ликвидированных с корнем рвачествующих классово-чуждых одиночек». В современном

пулеметном деле существует выражение: «огонь кинжального действия». Так называется короткий, но меткий сноп пуль, посылаемый в чувствительную точку неприятельского фронта. Алданов был великим мастером такого огня. Прочтите его краткие и острые характеристики знаменитых людей! «Освальд Шпенглер — Боссюэт германской философии». «Пилсудский сорвался со страниц исторических романов Сенкевича». Троцкий — «великий артист для невзыскательной публики, Иванов-Козельский русской революции». «Блюм в социалистическом лагере профессионал любезности. Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной лица».

Любовь к афористическому способу выражения породила множество настоящих жемчужин. Вот некоторые из них: «Партийная игра — организованная нечестность мысли». «Отношения между Европой и Советской Россией — трагикомедия коварства и любви». «Мифичность» современного политического языка иллюстрируется у него примером: «пишется «самоопределение народов», а читается «бакинский керосин». И наконец, одно из самых замечательных его mots относится к размышлениям о судьбах капитализма. «Поистине, должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом мире, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость нынешних его руководителей».

***

Конечно, Алданов, как всякий истинный писатель знает для кого пишет и, как всякий истинный писатель, ни для кого кроме умственной элиты своего времени не пишет. Писать «для народа» — не литература, а просвещение. Либо пропаганда. Даже «народные» рассказы и сказки Льва Толстого предназначались не для избы-читальни. Алданов очень взыскателен к своему читателю. Касаясь исторических сюжетов, он вероятно с ужасом думал об опасности превратиться в Мордовцева и наводнить очерки суконщиной историко-биографических справок и повествований. Он требует от читателя знания предмета о котором идет речь. Ему совсем неинтересно излагать историю польских разделов и патриотическую драму шляхты, чтобы от этого «исторического фона» перейти к своему герою кн. Адаму Чарторыйскому. Не только «фон», но и герой должны быть читателю хорошо известны. Только при этом условии артистизм штрихов и линий становится ощутимым. Алданов любит давать справки о фактах неизвестных самым начитанным людям. Идя по улице Denfert-Rochereau мимо памятника маршалу Нею, он ни за что не упустит случая обронить заме-

чание, что памятник поставлен «на том месте, где не был расстрелян маршал Ней». Предполагая известной общую биографию кн. Чарторыйского, он привлекает внимание читателя только к одному пикантному факту — к его русскому происхождению. Отметить в образе величайшего ненавистника России представителя ополяченного русского княжеского рода и незаконного сына русского фельдмаршала кн. Репина — это и есть та парадоксальность истории, чем Алданов часто сражает своих читателей. Каждая такая изюминка — литературная находка.

***

В очерках, пожалуй ярче, чем в романах сказался взгляд его на историю. Подобно Анатолю Франсу он понимал всю жизнь людей на земле «как случайное и не очень удачное биологическое осложнение слепых, никуда не ведущих, ни для чего не нужных космических процессов». С подчеркнутым одобрением к выраженному мнению, приведен им и отзыв Черчилля о Бальфуре, которому всё безразлично, ибо он знает, что когда-то был ледниковый период и когда-то снова будет ледниковый период. Чем представляется история, созерцаемая с таких высот? Перед нами блестящая галлерея портретов: — Ллойд Джордж, Вильсон, Людендорф, Клемансо, Кайо, Ленин, Бриан, Пилсудский, Сталин, Троцкий, Де Валера, Альфонс XIII и многие другие. Посвященная им серия очерков — увлекательный рассказ

Обо всех мировых дураках,
Что судьбу человечества держат в руках,
Обо всех мертвецах подлецах,
Что уходят в историю в светлых венцах.

Никакого положительного смысла и даже просто никакого смысла в их деятельности и шуме, которым они наполняли мир, наш писатель не видит. Клемансо, по его словам, не понимал, зачем всю жизнь свергал министерства, ожесточенно дрался в парламенте, в печати, на дуэлях, был остро ненавидим врагами и сам столь же бешено ненавидел. Слава, овации и бронзовый памятник пришли случайно, он их не ожидал и они могли не прийти вовсе. Тоже с Пилсудским. Этот неукротимой энергии человек ещё меньше шансов имел на успех; он, по выражению Алданова, поставил на проигравшую лошадь, и в своем триумфе был абсолютно неповинен.

А как часто усилия героев приводят не к тому, к чему они стремились. Надо прочесть очерк о Пикаре, чтобы видеть, как замечательно подано в конце разочарование победивших дрейфусаров. Все невинно пострадавшие возвращены, честь их восстановлена, темные силы уничтожены, у власти борцы за правду и справедливость, и Пикар — главный виновник победы сделан военным министром. И что же? Уныние, разочарование, сознание бесполезности потраченных усилий. Какому-то восторженному дрейфусару захотелось плюнуть в лицо Пикару. А другой выразил своё настроение словами: "Dreyfus était innocent. Et nous aussi". Маршал Пилсудский хотел, по его словам, сделать «последнюю попытку править народом без кнута». «Очень придирчивый критик, — замечает по этому поводу Алданов, — оценивая эти слова о последней попытке, мог бы, пожалуй, заметить, что не стоило пятьдесят лет так страстно проклинать 'кнут проклятого царизма'».

Пусть профессора социологии ищут смысл в историческом процессе, пусть задним числом подыскивают политико-экономические законы, объясняющие захват власти бандой политических дельцов, ничего кроме улыбки эти поиски не способны вызвать. Только одно подобие закона мог приметить Алданов, —это повторяемость или, как он его называет словами Вико,— «возвращение истории». Но у Вико в этом как раз и усматривается «закон»; алдановская же повторяемость больше похожа на учение Экклезиаста, на свидетельство бессмысленности истории. «Пулемет заменил пищаль, вот и весь прогресс с XVI века». Первые же очерки, написанные в 1919 году, посвящены необычайному сходству русской революции и контр-революции с революцией и контр-революцией французской. В мире не случается ничего такого, чего уже не было когда то. «Варфоломеевский год кончился. Варфоломеевский год начинается».

**
*

Однажды он привел выдержку из Шекспира: «История — нелепая сказка, рассказанная дураком». Но кто из читавших Алданова не знает, что, подобно самому Шекспиру, он без ума от этой сказки? Что ни говори, а созерцанию её он посвятил жизнь. И какова бы ни была интерпретация людей и дел в его очерках, написаны они человеком, упивающимся ароматом прошлого. И волновало оно его необычайно. Презрение ко всему совершавшемуся в человеческом обществе сочеталось у него,

как это ни странно, с симпатиями и осуждениями. То и другое трудно бывает заметить за насмешливой, иронической манерой письма, но их можно проследить на всём протяжении его творчества. Беру первое попавшееся под руку. Рассказывая о подпольной деятельности Пилсудского, занимавшегося лет 50 тому назад экспроприациями в почтовых поездах, он ссылается на труды биографов и историков маршала, называвших «дела в Рогове, в Мазовецке, в Безданах — блестящими военными действиями». Особенно смелое нападение на поезд совершено было на полустанке Безданы в 1908 году. «От людей хорошо его знавших, — говорит Алданов, — мне не раз приходилось слышать о благородстве натуры и личной обаятельности Пилсудского. Каким образом он мог участвовать в «блестящих военных действиях» указанного выше рода, мне, признаюсь, остается непонятным. Одно дело кровь в чернильнице, другое — хрипящий в агонии кондуктор поезда, старичек-почтальон с простреленным животом... Никакие метафоры, никакие "à la guerre comme à la guerre" из Бездан Аустерлица не сделают». И другой приговор, более мягкий по форме, но не менее суровый по сушеству. Повествуя о свободолюбии кн. Адама Чарторыйского, мечтавшего о наступлении либеральной эры, но не освободившего ни одного из десятков тысяч своих крепостных, он замечает: «попрекать свободолюбивых магнатов XVIII века крепостным правом так же бесполезно, как например, в наше время попрекать главу II интернационала его миллионами и роскошной виллой в окрестностях Брюсселя». Если собрать вместе все такие осуждения и выражения симпатии, то окажется, что осуждает он всегда строго и осуждает то, что принято считать злом, а расположение питает к тому, что во всеобщем представлении связано с понятием добра. У скептика оказывается существует ясно выраженная мораль. Не какая-нибудь новая, сочиненная, приноровленная к экстравагантному мировоззрению, а старинная мораль десяти заповедей.

Больше того, скептик и насмешник попал однажды сам в смешное положение; история оказалась циничнее. Проводя свои любимые параллели между русской и французской революциями и коснувшись темы пожирания якобинцами друг друга, он во взаимоотношениях Сталина с Бухариным хоть и видел что-то близкое к «возвращениям истории», но полагал, что Бухарина то Сталин уж во всяком случае, не расстреляет. Глубоким он был скептиком.

И уж совсем не модной, явно портившей репутацию скеп-

тика, была любовь его к родине. Когда мне довелось упомянуть о ней в некрологе Алданова, одна дама строго меня отчитала за это печатно. В замысловатых и темных выражениях она пыталась, если не отрицать её, то всячески затушевать. Беру, однако, смелость ещё раз заявить о глубокой привязанности, о настоящей влюбленности М. А. Алданова в Россию. Казалось бы, в изгнании ему легче было, чем многим другим, сделаться Джозефом Конрадом или Анри Труайя. Давно бы уже был «бессмертным». Вместо этого предпочел влачить тяжелую жизнь русского писателя заграницей и не изменять русскому языку. Читая его очерки ясно видишь, что написаны они человеком, постоянно думавшим о России, смотревшим на всё русскими глазами. Каких бы тем ни касался, о чем бы ни говорил, Россия была с ним всегда.

Все ненавидящие отчизну начинают с ненависти к её «проклятому прошлому». Доктринерское мышление отождествило у нас любовь к русской истории с симпатиями к самодержавию. Алданова трудно заподозрить в таких симпатиях, но прошлое России он любил и знал, как дай Бог всякому записному патриоту. И это мне представляется признаком истинной любви, каковую трудно допустить у Константина Леонтьева, например, любившего только самодержавную и православную Россию, или у революционеров, соглашающихся любить лишь Россию социалистическую. Патриотизм Алданова «просвещенный», как у французов, которые, любя королевский период своей истории и гордясь им, воздвигают в то же время памятники Дантону, Камиллу Демулену, всем деятелям революции. Алданов любил не политический идеал, а Россию.

**
*

Что же остается от его скептицизма? В одном из очерков речь идет о Спинозе и Густаве Флобере. Спиноза считал необходимым условием познания природы и истины, полное бесстрастие философа. И сам старался быть образцом спокойно-созерцательного отношения к миру. Но вот он однажды узнает, что какой-то его знакомый невинно пострадал. Негодование завладевает им до такой степени, что бросив всё, он хочет устремиться на защиту попранной справедливости. «Не должно верить бесстрастию мудрых философов».

Флобер тоже всю жизнь хотел быть образцом безучастия к страстям и переживаниям, служившим ему материалом для романов. Но бывали случаи, когда некоторые из этих страстей,

особенно политические, доводили его до бешенства. «Не должно верить бесстрастию объективных художников».

В конце концов, Алданов призывает не верить коммунистическим симпатиям Анат. Франса, его обожанию Ленина. И делает это убедительно. Он нам лишний раз дает урок, как нелепо приставать к писателям с такими требованиями, как политические убеждения. От писателей ничего нельзя требовать кроме одного — искусства. Но почему же из этого правила должен быть изъят сам Алданов? Почему, не веря бесстрастию Спинозы и Флобера, надо верить его бесстрастному созерцанию истории и общества? Да и таким ли уж холодным наблюдателем он был? Он, ведь, пытался делать историю. Человек, сказавший, что «после политики проституция — самое грязное занятие в мире» — состоял членом политической партии. Писательское лицо не тождественно с житейским обликом его носителя. Существует литературная поза. Гумилев за неё жизнью заплатил. Весьма возможно, что для искусства она важнее истинного облика человека, и не лучшим ли свидетельством писательского дара Алданова надо признать то, что он нас заставил поверить в его скептицизм. Он создал такой писательский образ, которого ещё не было в русской литературе.

Н. Ульянов

ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА Н. БЕНУА

Переписка моя с А. Н. Бенуа началась в 1937 году и, к сожалению, общение с ним осталось только письменным, — встретиться с А. Н. мне так и не пришлось. Личность А. Н. Бенуа настолько значительна, а влияние его на русское искусство было столь заметно, что всё относящееся к его деятельности, несомненно, представляет большой интерес. Опуская личное, я публикую из писем А. Н. всё, имеющее общее значение.

Е. Е. Климов

Я по своему обыкновению больше занят театром, но все же успеваю делать и простые этюды с натуры, а периодами мне удается уделять и несколько дней для продолжения моих воспоминаний. Но увидят-ли они когда-либо свет?

(Париж, 1943 г.)

Утешительными строками в Вашем письме является то, что пишете о выставке![1] Значит ещё не всё погибло, значит кое-что осталось, чтоб радовать глаз и утешать душу! Я даже позавидовал Вам, так как соскучился по всяким Вольгемутам, Груневальдам, Буркмайерам и т. д. — по их чудесной цветистости, по их аппетитной технике и по всему их Gemüt'у. Но где же была устроена эта выставка? Я слышал, что здание Ст. Пинакотеки разрушено... Интересует меня и то, что сталось с сокровищами Национального Музея, с апартаментами «Резиденций» и т. п. Всё, о чем скорбит душа, не перечесть и всё же теплится надежда, что, авось, кое-что и уцелело... Здесь тоже далеко не всё утешительно, но в сравнении с другими более тяжело испытанными странами всё же «жить ещё можно». Меня, впрочем, лично особенно тревожит не столько продолжающееся разорение мате-

риального порядка, не плохое состояние всего питательного аппарата... сколько то, до какой степени признаки всеобщего огрубения и одичалости приобретают всё более отчетливый характер! И несомненно однако, что самым крупным проявлением этого духовного оскудения является продолжающий развиваться и расползаться по миру культ Пикассо! Постепенно, благодаря ему «гнусная харя с высунутым языком» становится как-бы эмблемой нашей эпохи! И к тому же — в каком планетарном масштабе! Вот где уж никак нельзя усомниться в присутствии бесовского начала — но отнюдь не в смысле чего-либо величественного и демонически прекрасного, а в смысле самой пакостной и низменной чертовщины. Вот Вы вспоминаете слова Достоевского: «раз Бога нет, то всё позволено». Но тут на лицо уже та стадия позволенности, когда всё роскошное оргиастически, пусть порочное, но всё-же пленительно прекрасное исчезает, а вместо того вылезли обман и наглое издевательство, что и «подобает». *Всё* позволено, но черт, посылая в лице Пикассо на землю одного из своих агентов, радуется, что люди, прельщенные всей дозволенностью, получают в творчестве этого художника лишь какой-то кукиш — к тому же сложенный не из нормальных человеческих пальцев, а из чего-то корявого, обглоданного и падалью воняющего... Вы спрашиваете, отозвалась-ли на нас война? Разумеется *да*. И здесь были моменты и весьма жутковатые из-за бомбардировок и многого другого. Нервы были до последней степени напряжены. И, увы, нельзя сказать, чтобы с тех пор они совершенно успокоились. И вот что особенно тягостно. С самого начала войны нам не удалось покинуть Париж, городскую атмосферу. И я, и моя жена, мы ужасно устали.

(Париж. Май, 1946 г.)

...я пребываю в каких-то непрерывных «попыхах», т. к. занят театральными постановками, что всегда требует спешки. Это очень отзывается на моей нервной системе.

(Париж. Октябрь, 1946 г.)

Сердце болит, когда подумаешь, что нет больше ни того, ни другого, ни третьего музея, в которые входил с трепетом и покидал которые с чувством, точно побывал в гостях у небожи-

телей!... слава Богу — содержание музеев сохранилось и это всё же *главное*. Кстати, помните-ли Вы, что в Эрмитаже было повторение (или современная копия) «Св. Луки, пишущего Богоматерь». Оно было слабее оригинала и, кажется, приписывалось сыну Роже. Но и на нем отдыхал глаз... Что же касается до Мориса Дени, то было время, когда я очень увлекался его искусством, но после ряда разочарований (а иногда и «возмущений», как, например, в отношении «Истории Психеи», которую он написал для Московского особняка И. А. Морозова), я потерял к нему доверие. Всё же остаются некоторые его ранние картины и в особенности очаровательные его путевые этюды, среди коих меня пленили пейзажи Тосканы. Он вообще по природе пейзажист, но, как и многие другие художники, он не сознавал настоящего места своего дарования, а пришедшая ему слава в католических кругах и среди раздателей официальных заказов, окончательно его испортила. Мне ужасно жаль его, точнее жаль, что тут для всего человечества получилась потеря чего-то, если и скромного, то всё-же глубоко-поэтичного и *подлинного!* И вот именно благодаря *свиху* таких художников, как Морис Дени, явилась возможность для всяких лиходеев, сатанистов, шутов гороховых, шарлатанов и юродивых, утвердиться в месте святом и сделаться кумирами обезумевшего человечества. Но кто виноват? Кто вообще в чем-либо виноват? Всё творится по какому-то велению высших сил, а для чего эти силы так с нами обращаются, куда всё это ведет, что с нами будет (раз мы избрали своим знаменем кошмар г-на Пикассо) — это одному Господу известно. А пока во всяком случае жутко — ух как жутко!!

(Париж. Ноябрь, 1946 г.)

...Я с самого января почти всё время не выходил из болезни — вызванной как отвратительными холодами, так и здешней несуразной борьбой с ними. Теперь однако мой (вернее — наш) грипп, благодаря наступающей сравнительно более теплой погоде, как будто начинает проходить и я надеюсь, что дня через четыре и я, и жена моя совершенно оправимся.

Вы меня несказанно порадовали сообщением о виденных Вами выставках.[2] Значит, не всё погибло и, хотя мне лично уже едва-ли удастся выбраться в такую даль и налюбоваться всеми этими красотами (а как хотелось бы!), но уже сознание, что другим они будут доставлять то счастье, которое когда-то они

доставляли мне, действует отрадным образом. И самый размах этих выставок *отраден!* Но вот Вы не пишите, *где* именно была устроена выставка Фишера и ничего не говорите об его шедевре — о гробнице св. Себастьяна. Неужели она погибла? Неужели погибли и все чудеса, что превращали церковь св. Лаврентия в настоящий музей!? Так хотелось-бы узнать об участи её и разных других архитектурных памятников, «почти» еще более дорогих моему сердцу, нежели живопись. Неужели не существует больше божественного Амалиенбурга и ничего не осталось от «Резиденций»? Наконец, уцелела ли моя любимая церковь св. Иоанна, построенная и разукрашенная волшебниками братьями Азам? Если она всё ещё стоит и невредима, то зайдите в неё и поклонитесь за меня её стенам, её алтарю! Ох, ноет сердце, когда вспоминаешь (стараешься не вспоминать), что произошло с человечеством, в какую пропасть оно провалилось, как беспомощно оно продолжает в ней барахтаться! Вы спросите, чего я жалуюсь, когда всё ещё стоит Лувр с его сокровищами, когда по-прежнему высятся башни Notre Dame и т. д. и т. д. Но что поделаешь, когда моей жадности нет пределов!

В виде «новинки» здесь сейчас показывают Ван-Гога, представленного с необычайной полнотой. Толпа валит валом, даже «очередь» образуется перед входом в "Orangerie" — под дождем и на холоде! Но меня как раз это злит и даже как-то отпугивает. Может быть, ещё и то, что я как-то переел за долгую свою жизнь всего подобного. С другой стороны столь откровенное проявление глупого *стадного* чувства только бесит. Те самые люди, которые ещё недавно издевались над его искусством и которые отравляли ему жизнь, теперь с ума сходят от (предписанного) восторга. Безумие того же порядка, как культ, которым продолжает удостаиваться Пикассо и вся прочая нечисть. Противно — до тошноты. Уж больно всё как-то свихнулось, полезло в сторону, сошло с рельс.

...а всё же здесь (и помимо снобизма) есть что посмотреть, чем насладиться, на чем поучиться и освежиться. Приезжайте. Вместе прокатимся в Версаль, погуляем по Лувру. Да и некоторые выставки интересны. Тот же Ван-Гог, которого и я не могу не уважать, в котором светится подлинная художественная душа.

(Париж. Март, 1947 г.)

...но я всё ещё надеюсь, что при Вашем следующем посещении Мюнхена, Вы разыщите Johann Nepomuck Kirche и порадуете меня сообщением, что этот перл XVIII века всё ещё

стоит и что, если и пострадал, то не безнадежно. У меня это род недуга. *Люблю* эту очаровательную фантастику, эту трогательную, полную искренней патетики театральщину эпохи рококо! И как раз эта церквуля является (являлась?) самым изумительным примером того, каких высот достигали в своих поисках реализировать мечту о Царствии Небесном немецкие (и итальянские) архитектора-постановщики. В данном случае, кудесники братья Азам создали бесподобный шедевр, пристроив к своему (тоже чудесному) Familienhaus'у эту гениальную безделушку. Она восхитительная снаружи, но главный её шарм внутри. Непременно разыщите! И потом сообщите, жива ли она, цела-ли, не слишком ли изувечена? Ну, а если не жива, то останется лишь хранить в благодарной памяти те минуты, что я проводил, сидя на её изогнутых скамьях...

...Переживаемое время слишком полно всяких тревог, неожиданностей, гримас! Мне всюду чудятся рожи Пикассо — вот и выходит, что этот жуткий кривляка «истинный выразитель нашего времени»...

Впрочем, не обращайте внимания на моё «бубнение». Это мимолетный кризис. Вот, например, если я узнаю, что Johanneskirche цела, то почувствую облегчение и прояснение...

P. S. За травку с могилы Дюрера *огромное спасибо!*

(Париж. Июнь, 1947 г.)

Все эти месяцы мы провели безвыездно в Милане, но не подумайте, что тому причиной «туристическая блажь», на что потребовались бы такие средства, кои наше время не предоставляет художнику, а произошла такая временная эмиграция потому, что здесь у меня работа в театре Scala и эта работа связана с необходимостью производить её на месте. Таким образом от лета мы как-бы ничего не видели, а сидели (и продолжаем сидеть) в городской атмосфере, имея перед собою широкую, но безотрадную панораму, состоящую из голых брандмауэров, крыш и труб. Правда, слева выглядывает из-за такой баррикады чудесная церковь Браманте — S. Maria della Grazie, но видна от неё лишь одна макушка, ещё левее на самом горизонте вырисовывается могучий силуэт Monte Rosa, но бывает это крайне редко, при особых атмосферических условиях; правее из-за крыш вылезают четыре средневековые башни, но и это лишь верхушки замка Висконти и Сфорца; наконец, каждые четверть часа раздается часовой бой с одной из колоколен Sant'

Ambroggio, но самое эту божественную церковь заслоняет от нас выступ того самого дома, в котором мы живем. Разумеется, все эти мировые диковины мы можем созерцать и вблизи, стоит мне спуститься с нашего шестого этажа и побродить по миланским (столь разрушенным!) улицам; не так далеко и до беломраморного Duomo, до торжественного San Lorenzo и до поэтичного Sant Eustargio, но и это всё *город,* а меня с женой так тянет ins Grüne!...

(Милан. Сентябрь, 1947 г.)

...Я ещё не поблагодарил Вас за столь отрадные сведения о Johanneskirche...

У нас здесь гостит чудесная выставка сокровищ Венских музеев. Не всё лучшее прислано (досаднее всего, что отсутствуют все самые интересные картины моего архилюбимца Питера Брейгеля, нет и всех картин особенно большого формата), но и за то спасибо — есть чем понасладиться! Что же касается наших двух заграничных пребываний, то оба оказались необычайно удачными. И в Англии (где мы жили в деревне близ древнего городка Cirencester с прекрасной готической церковью), и в Италии, где мы часть времени провели в Милане, а часть в горах Тироля (в Меране). Я много работал, как с натуры, так и для театра (исполняя заказ для «Скалы» — постановка "Balle in Maschera") и именно такая непрерывная занятость после непрерывной и бестолковой суеты Парижской жизни послужила мне наилучшим отдыхом. Но Боже! до чего пострадал Милан от бомбардировок! Треть города разрушена. Однако, итальянцы молодцы. Какая кипучая деятельность, сноровка и талантливость! Работы по восстановлению идут полным ходом, а церкви (в общем скорее пощаженные) уже и починены и *патинированы* так, что часто все признаки поранения скрыты. Сейчас я снова занят работой для театра — для парижской «Оперы». Повторяю (в который раз!) своего «Петрушку» (с вариантами) и надеюсь увидать его на сцене в наступающем году. Дай-то Бог, чтобы этот 1948 год был бы отраднее того, что кончается, чтобы дуновения здорового смысла развеяли наползающие с востока тучи всяческого безумия... чтобы и Вы и мы стали себя чувствовать более уютно на этом свете.

(Париж. Декабрь, 1947 г.)

Не сетуйте на меня за длительное молчание. Причин тому много — и хворь, и крайняя занятость (постановки в Милане, а теперь — здесь, возобновление балета «Жизель» в "Opera"), и переутомление, и водворение в своё постоянное обиталище (не сразу свыкся с заботами и довольно беспорядочными условиями парижской жизни), и всякие очередные неприятности и заботы...

Вы снова спрашиваете меня о том... (как) представляется мне взаимоотношение русской и западной живописи. Ответить на это не так-то легко. Я отнюдь не принадлежу к тем, кто даже, при известной положительной оценке, смотрит на русское искусство как-то свысока. Но я и далек от какого-то исключительного поклонения ему. Вообще же во мне как-то укладываются самые, как будто, враждующие между собой симпатии. Это мне свойственно — это всегда было так — это и легло в основу программы всего нашего «Мира Искусства». Отсюда возможность совмещения поклонения произведениям «Мирового значения» и какого-то «нежного признания» весьма многих отечественных художников. В частности, я продолжаю быть *благодарным* Сурикову за те эмоции, которые я испытал перед его картинами. Однако, я никак не могу согласиться с тем, чтобы, признавая мощь Сурикова, считать персонажи Менцеля «кукольными». Хорош и поражает своей мощью Суриков, в его картинах и в самой «корявой» живописи его сказывается нечто стихийное. Но и от необъятного в своем разнообразии и столь всегда острого и столь всегда захватывающего художества Менцеля веет своего рода титанизмом. Творение Менцеля: картины, рисунки, гуаши, исторические иллюстрации и т. д. с первого же моего знакомства с ним (еще в конце 1880-ых годов) остались для меня неисчерпаемым источником наслаждений. В нем живет подлинная вдохновенность, а это и есть то, что является самой сутью искусства. И нужды нет, что многое у Менцеля чисто по-немецки грубовато, plump (ведь и Кранах и Балдуинг и сам Дюрер бывали «чисто по-немецки» безвкусны), всё же это всё проникнуто художественным трепетом. За редчайшими исключениями, Менцель никогда не бывал скучен, пуст...

Впрочем, comparaison n'est pas raison, и лучше, для души спокойнее, не делать выбора, не отбрасывать одно в угоду другому, а совмещать всё хорошее, всё истинное и только опасаться лжи, притворства, всякого мудрствования лукавого... Как раз этими лживыми потугами на гениальность изобилует наша эпоха и от этого становится всё скучнее и скучнее жить на свете...

(Париж. Декабрь, 1948 г.)

...Здесь становится уж очень неуютно и невольно иной раз подумываешь, а не удрать ли и нам по-добру, по-здорову... Но, к сожалению, мы оба слишком стары, чтобы пускаться в новые авантюры. К тому же и здоровье моё испортилось... Я стал быстро уставать, не могу больше взбегать одним махом по лестницам и т. п. И всё же осенью я успел создать для Римской Оперы (но премьера прошла в театре Перуджии) постановку оратории Поля Клоделя с музыкой Дариюса Мийо, "La Sagesse", а затем для миланской «Скалы» сочинил декорации к «Лебединому Озеру» и к «Сильфидам». Вероятно, впрочем, именно то, что после летней операции мне пришлось сразу ехать в Италию, пробыть полтора месяца в Риме, где стояла убийственная жара, словом, что мне не дали более основательного поправления, это и затянуло восстановление моих сил. И все-же я благодарю Бога за то, что всё сложилось так, что выдалось ни с чем несравнимое *счастье* снова увидать «Станцы» Рафаэля, Сикстинскую Капеллу и ещё многое другое!...

...если желаете мне сделать особое удовольствие, то приложите к письму легкое кроки того, что перед Вашими глазами! А то — и парочку фотографических снимков.

(Париж. Январь, 1950 г.)

Я очень рассчитывал, что по дороге в Америку, Вы проедете через Париж... так хотелось бы от писанного слова перейти к живому словообмену... хорошо Вы делаете, что украшаете свои письма Вашими набросками и снимками... Но кто знает, может быть мы ещё и встретимся... На этом свете... Что же касается до встреч на «том», то я многого от такой перспективы не жду в смысле дружеского общения, да ещё между художниками. Уж очень мы с Вами связаны со «здешним», осязательным, зрительным, к тому же суетно-привлекательным. Ведь общение наше питается больше всего этими вещественными, конкретными впечатлениями. Да и не могу себе вообразить, как это быть без них. Вот я теперь как раз вплотную подошел к тому занавесу, за которым, как будто, что-то есть, однако именно теперь я менее чем когда-либо ощущаю эту потусторонность — тогда как когда-то казалось, что ощущаю её и даже довольно отчетливо!

Возвращаюсь к посюсторонности... Планов на лето ещё никаких... здесь в «столице» водворился, и как будто надолго, какой-то страшный паралич. И на что художники будут жить в будущем, скрыто от них жалостливым роком — вероятно для

того, чтобы не слишком пугать и приводить в отчаяние! В значительной степени в этом параличе повинен всё проедающий и отравляющий снобизм. И как удивительно! Исторические ретроспективные выставки имеют здесь большой успех, публика валит валом (только-что закончилась выставка немецких примитивов, на которой сияли шедевры Лохнера, Л. Мозера, Пахера, а сейчас в Petit Palais открыта грандиозная выставка французского искусства, посвященная Пресвятой Деве; какие скульптуры, какая красота «Благовещение» всё ещё неизвестного мастера из церкви св. Магдалины в Эксе!), но если пристальнее всмотреться и в этот успех, то и тут окажется большая доля снобизма... напротив совсем мало простого непосредственного чувства. А вообще, современные люди, особенно молодые, просто *разучились глядеть* не мудрствуя лукаво и получать лично удовольствие через вхождение в контакт с данным произведением — непосредственно. До чего все заврались, запутались, ошалели (годами длящаяся ошалелость, с малых лет воспитываемая)!

Сплошное царствование Голого Короля и тех шарлатанов, которые его облекли в несуществующие ризы! И до чего же всё опошлено, испоганено, сколько жемчуга затоптано свиными копытами. Тошнит от всего этого!... Здесь в «Столице Столиц» не лучше. Мразь, туман. Этот туман, пожалуй, отсюда и ползёт и окутывает, отравляет весь мир. Вероятно «так надо» для того, чтобы всё насквозь прогнило. И до чего же это скучно...

Занят сейчас повторением «своих исторических фантазий»: «Выходом Екатерины II» и «Парадом при Павле». Но кому это нужно? Кому теперь нужно всё то, что питало, радовало, волновало нашу молодежь? И ей-же-ей, те волнения, которые мы испытывали когда-то... никак не могут идти в сравнение с теми, какими нынче питается молодежь, быть может, по-прежнему и алчущая свежих и радостных впечатлений, однако вместо животворящей пищи, получающая одни щебни, песок и пыль. И снова припев: «вероятно так нужно».

Ой, разболтался...

(Париж. Май и Июнь, 1950 г.)

...Замотался!! За это время мы успели побывать (и даже пожить) в Италии (отчасти в Милане, отчасти «на даче» — в Бергамских — о сколь прекрасных Альпах), я состряпал две, довольно сложные постановки («Травиаты» и «Вертера»), не-

много поболели, немного и пофланировали. И вот, оглянуться не успели, как зима снова накатила, зима, впрочем, до сего дня удивительно теплая и (на севере Франции) довольно сухая.

Работа над «Вертером» не сразу далась мне (я не такой поклонник Масснэ), но затем постепенно взял верх Гёте и я с увлечением создал как все эти «наружные» декорации, так и обе «комнаты». Вы вероятно заметили мою слабость к старой Германии и мне даже кажется, что Вы её чуточку разделяете. А тут и выдалась мне возможность в мыслях (увы, не наяву) погулять по городку Wetzlar'y, вообразить себе его тесные улички, его церкви, его уютные домики... Я даже выбрался за его стены и посетил (всё в воображении) тот, стоящий в лесу домик папаши Fräulein Lotte Buff — знаменитой героини романа. И не странно-ли то, что судьба меня привела туда, где я уже бывал (всё в воображении) в 1924 году, когда создавал иллюстрации к книге André Maurois ''Les souffrences du jeune Werter''. И это возвращение оказалось весьма приятно. Теперь остается ещё сделать костюмы, иначе говоря создать самые типы действующих лиц оперы — которые, в общей характеристике, не отличаются от героев романа. ...нет ни малейшей гарантии, что при следующей мировой бойне (которая уже готовится разразиться) не погибнет ещё и то, что чудом осталось после первых двух. Будь они трижды прокляты, все умные политические головы, а вместе с ними все, якобы, предохранительные аппараты, разные ONU и т. п. Всё это не только бесполезная, но и вредная, ибо по существу бездарная, попытка несчастного человечества высвободиться из той сети лжи и жестокости, в которую его (человечество) загнал «прогресс».

Но с чего это я заговорил (несмотря на все данные себе зароки) на «политические» темы? Может быть Вы иначе относитесь к современной «конъюнктуре»? С другой стороны, как не повздыхать о *всеобщем* горе?!

(Париж. Ноябрь, 1950 г.)

Вообще жизнь здесь пока не меняется. Хоровод на вулкане продолжается в прежнем темпе. Но, разумеется, мы в этот хоровод не вступаем и даже со стороны стараемся не поглядывать туда. Больно всё это надоело. Да и слишком мало в этом подлинного соблазна. Ведь те, кто в этом хороводе принимают деятельное участие, находятся в состоянии сплошного самообмана. А, впрочем, люди молодые способны взаправду веселиться при

всяких обстоятельствах, и даже там, где явно ничего веселого нет. Всего же омерзительнее те «весельчаки», дамы и кавалеры, которые цепляются за ускользающую, или вовсе ускользнувшую, молодежь. Это они-то (имя им легион) и вносят особенно гнусную ложь в полагающуюся для Парижа (его всемирная приманка и специальность) вакханалию.

Однако не подумайте, что мы, люди старые, пожилые, пожившие, в то же время отжившие люди. К тому же, и на нашу долю, щедрый на всякие amusements, Париж припасает всякую всячину. Вот хотя бы сейчас. К нашим услугам целых три интереснейших выставки. На выставке «Голландского пейзажа» я уже побывал четыре раза и ещё собираюсь. При этом, как-то особенно досадно, что выставка должна будет скоро закрыться, а чудесные картины, собранные на ней, разбредутся по своим местам... Ничего более душистого, искреннего, «точного» по чувству и настроению, словом, ничего более отвечающего самому благородному вкусу, человечество во всякие времена не создавало! Какие Аверкампы, Рембрандты, Хоббемы, Питер-де-Хохи и т. д. Перед пляжем Адриана-ван-ден-Вельде, или его же «Зимкой» хочется плакать, до того это *трогательно!* Наслаждаясь этими картинами, мне почему-то пришел на ум наш Петр Алексеевич. Воображаю, как его должны были *поразить,* после своей дикой, суровой Московии, эти «тихие», такие милые, застенчивые и всё-же такие исполненные сильного чувства картины. Недаром сам юный царь (в шкиперском наряде) просиживал на аукционах и покупал этих «маленьких голландцев». И какое же он им построил впоследствии чудесное хранилище в своем «голландском» домике, на берегу Финского залива — в Монплезире! Сказать кстати, на днях меня уверяли, что этот дворец Петра *спасён.* Правда, стоявшие в нем с 1941 по 1943 год итальянцы сожгли в качестве топлива всё, что можно было сжечь, иначе говоря, всю ту деревянную обшивку стен, которая и служила обрамлением целой галлерейке голландских картин, но нашлись средства, нашлись и сведующие специалисты, которые по существующим документам восстановили всё прежнее. Это чуточку утешает за гибель Большого Петергофского дворца...

Но вот тут же узнаю, что те же варвары, в ведение которых достался центр Берлина, приступили к полному снесению Schloss'a — этого шедевра германского барокко. Правда, этот дворец уже сильно пострадал от бомбардировок, однако в общем он всё-же выстоял и в нем даже устраивались выставки и какие-то сборища. Но надо же дать корм озверелым тупицам-доктринерам и прочим любителям всяких разрушений!

Кроме «Голландского Пейзажа» здесь открылась и выставка картин из Берлинских музеев. На ней я ещё не побывал, опасаясь слишком густого наплыва толпы (к иным маленьким картинам не пробраться). Сюда попала лишь небольшая горсточка из тех сокровищ, которыми гордился Kaiser-Friedrich-Museum. Много первоклассных вещей, главным образом итальянских примитивов, говорят, погибло; они были сложены в специальную блиндированную башню, а в нее-то и угодил снаряд! Но и за те 122 картины, что выставлены, надо благодарить судьбу. Среди них изумительный женский портрет Роже в. д. Вейдена, оба Вермэра, Питер де Хох, «Ферма» Адриана в. д. Вельде и чудеснейший «Эрот» Караваджо.

(Париж. Февраль, 1951 г.)

...в извинение своего молчания могу привести то, что я почти всё это время болел, да и сейчас не совсем в порядке... Однако я не стану следовать поговорке: «Что у кого болит, тот о том и говорит». Лучше побеседуем на темы более близкие нашим душам. Но и тут свихну на болезнь, ибо из-за неё до сих пор не побывал на сенсационной выставке французской живописи XIX века, составленной целиком из картин, принадлежащих германским музеям. Эта выставка тем именно сенсационна, что доказывает, что в своё время оценили всех «классиков импрессионизма» — Мане, Моне, Ренуара, Дега, Сезанна, а также Гогена, Ван-Гога, Домье — не собственные соотечественники, а «презренные вандалы», «гунны» — ...не только слабость и недуги помешали мне пойти поклониться моим когда-то богам, а и то, что они в глазах моих в значительной степени утратили в своей божественности. Пожалуй, единственно Дега всё ещё продолжает меня волновать, а остальные... ну вот остальные не так уже *тянут!* Вот если бы вместо этой выставки была бы устроена выставка картин Веронеза, Тициана, или Чимы, Беллини, тут я бы, кряхтя и охая, преодолел бы болезненные ощущения и поплелся бы порадовать душу! Пожалуй, даже получил бы и некоторое облегчение страданий. Возможно, что живя в Париже, я всех этих выше помянутых господ *переел.* Ведь все они мне знакомы уже целые пятьдесят лет, а то и больше, и слишком мы их здесь часто и много видим. Пожалуй, продолжая откровенничать, я бы даже предпочел увидать творения тех самых мастеров (того-же XIX века), которых мы когда-то во имя «принципов чистой живописи» кляли, и которые из каких-то знаменитых

снизились до положения презренных париев всё вследствие того-же культа: живописи an und für sich. Уверяю Вас, я-бы помчался на выставку, на которой были бы представлены Кнаус, Вотье, Лудвиг Рихтер, Мориц фон Швинд, не говоря уже о моем архилюбимце Менцеле. Мало того, я бы даже с удовольствием и не без нежности поглядел бы на нашего Владимира Маковского... А всё же, как-нибудь соберусь и, если при виде тех или иных произведений во мне воскреснут прежняя радость, прежние ощущения свежести и правды, то покаюсь и непременно опишу Вам об этом...

Сегодня окончательно завершил свою работу, над которой трудился с самого августа. А именно, постановку (декорации и костюмы) «Риголетто». Получилось не так уж плохо, а кое-что и совсем по-новому (без желания во что бы то ни стало делать новое). Затянулась же работа на сей раз единственно из-за чего-то постороннего и привходящего, т. е. из-за моего недуга. При этом прибавлю, что самая задача была не совсем мне по вкусу. Разумеется, я бы отнесся совсем иначе к задаче, если-бы мне выдалось счастье ставить «Пиковую Даму», или «Спящую Красавицу», или «Щелкунчика» и вообще такие музыкальные произведения, [которые] мне глубоко «созвучны», меня возбуждают и вдохновляют. Этого возбуждения не вызывает во мне Верди, хотя я вполне оцениваю его прелестный дар. Однако едва-ли мне еще будет дано осуществить такие мечты. А если бы даже кто из директоров и «обратился сдуру» ко мне, то могло бы произойти то, что однажды (лет пять назад) и произошло с моими иллюстрациями [к] «Капитанской Дочке», заказанными одним французским издательством. Когда мои рисунки были готовы и я их представил заказчикам, то у этих господ вырвался «крик души»: "Ah, mon Dieu! ce n'est pas ça du tout!" Когда же я попробовал выяснить, что именно они ожидали, то оказалось, что они надеялись увидеть "quelque chose dans le genre des Ballets Russes, de 'Petrouchka' par exemple". Всё же заплатили—и даже довольно крупную сумму, но рисуночки мои и по сей день лежат под спудом и не пущены в оборот. Ой, как всё это скучно!

(Париж. Декабрь, 1951 г.)

Во-первых о выставке[3]: говорю прямо: на меня прошу *не* расчитывать! Я решил *вообще* больше не выставлять. А причина тому слишком глубокая и заключается в убеждении, что это совершенно бесполезно, что мое искусство сейчас никому не

нужно. Да и не только моё, а вообще всё искусство нашего круга идей, чувства, мироощущения и т. д. Всё, что нам представлялось и представляется ценным в художественном творчестве, что мы любили в душах, близких нам по духу, художников и в чем мы видели некое духовное объединяющее нас родство, теперь объявляется сущим вздором. Явление не новое. Так бывало уже несколько раз в истории человечества. Это род «закона природы». За примером не далеко ходить. Нечто подобное произошло в конце XVIII века, когда во имя сурового классицизма (сколь действительно прекрасного в своем роде) было объявлено гонение на грациозное, душистое, ласковое искусство, так называемой, эпохи рококо; а затем, то же самое повторилось, когда романтическое буйство (тоже сколь в своем роде прекрасное) объявило войну только что безапеляционно царившему классицизму. Сейчас полному презрению предано всё характерное для конца XIX века, то, что в России с особенной отчетливостью выливалось в творчестве «Мира Искусства». Всё, что требует внимательного, любовного подхода, что говорит о прелести жизни (и хотя-бы в её драматических и трагических формах), а также, в чем художники любили высказывать своё мастерство в передаче видимости и т. д. — во всём этом ныне никто ничего не смыслит и просто этим не интересуется! И чем тоньше, изысканнее произведение искусства, тем более оно кажется устарелым, ненужным, скучным. Самое же мастерство вызывает прямо какое-то *отвращение*. Напротив, чем грубее, глупее, «корявее» беспомощное творчество, тем более гарантий, что оно найдет отзвук в сердцах и в глазах тех современных людей, которые вообще ещё готовы терять время на смотрение на художественные произведения — картину, рисунок, статую... Ничего тут не поделаешь! Словом, искусство, как я его понимаю, «отжило». Некоторое (очень слабое) утешение я пробую находить в надежде, что «когда-нибудь люди к этому нашему вернутся». Однако, небось, после полного упадка античной культуры, Европа, если и вернется к её красоте, к её смыслу, то для этого потребуется тысячелетие, а это уж больно далеко!... Так вот, не хочу я выставлять ни в Америке, ни в Европе. Place aux jeunes, place aux ignorants, place à la Stupidité, à la grimace, à la bouffonnerie, aux précieux ridicules... И, ах, до чего-же это *жаль!* Я жалею молодежь, которая под растлевающим духом времени, топчась под рёвом джаза, лишена тех радостей (сколь подлинных!), которые испытывали мы. Ладно! parlons d'autres choses...

...Каждый год, на рождение моей жены, я подношу ей по-

альбому своих акварелей (штук 25-30 в каждом), посвященному какому-либо из наших минувших «пребываний». Имеются уже альбомы С. Петербурга, Петергофа, Царского Села, Гатчины, а также Рима, Венеции, Лугано... Ныне я ей поднес альбом как раз посвященный русским *дачам,* и вот, работая над этими акварелями, я как-то особенно углубился в своих воспоминаниях в то, что было столь милого как раз и в самых жалких из этих российских «вилл» с их садиками, забориками, крылечками, крытыми балконами...

Заболтался и прекращаю. Однако, хотелось бы ещё излить своё негодование на ту «мерзость запустения», что проникла в церковь и о чем Вы пишете с недоумением и возмущением! И, действительно, какой, подумаешь, ужас и позор, что Матисс, или Шагалл, или Пикассо — наши Микельанджело, Рафаэли, Тицианы и Рубенсы! А, впрочем, пусть эта нечисть торжествует и забирает все позиции — авось тогда (неизбежная) реакция наступит. Хоть бы дожить до этого денька!... С другой стороны, противно и то, когда «здоровое искусство» силой насаждается и поддерживается, как это происходит в Советии. Не знаю, кого предпочту: какого-нибудь Герасимова, или Шагалла? Чур, чур...

Насчет Тернера.[4] Когда-то и я был пламенным его поклонником. Ныне же, вероятно, «*переел его*». Однако вещи первых периодов и сейчас чарующи. Но только не его туманы, фатоморганы и проч. В них есть нечто глубоко-фальшивое по существу. Насколько мне сейчас дороже этого «обмана» «нас возвеличáющая правда»! Когда-то я был поражен и мощью Местровича. Даже писал о нем выспренние слова. А теперь — опять таки *не верю.* Под этой мощью кроется какое-то надувательство (или вздувательство).

P. S. В добавление к только сказанному про искусство в Советии спешу прибавить. Как раз вчера взял у своих друзей целую кипу советских *детских* книжек и *весьма* они меня *утешили.* Почти все прелестны, а многие даже прямо в своем роде шедевры — полные милой поэзии, *домашнего уюта* (!) и т. д. Значит, не всё «наше» там вымерло. Вероятно, бок о бок со всяким мертвящим доктринерским изуверством продолжает существовать прежняя наша милая, ни с чем несравнимая русская жизнь! И что особенно было мне приятно — многое (всё лучшее) носит явные следы традиций того самого «Мира Искусства», которое по приказу начальства полагается предавать анафеме!

(Париж. Январь, 1952 г.

Срочные театральные дела сводятся главным образом к постановкам в Миланской «Скале». Недавно прошла не без значительного успеха моя постановка (декорации и костюмы) оперы "Tosca", а с тех пор я второй месяц как занят огромной постановкой «Спящей Красавицы». К сожалению я не могу быть уверенным, что этот балет пойдет в ближайшее время... Я всё-же продолжаю свою работу во-первых потому, что она мне особенно по душе, а затем — только увлечение такой работой позволяет мне хоть временно освободиться от тех убийственно грустных мыслей, которые преследуют меня с того дня, когда я лишился моей обожаемой подруги жизни.[5]

Недавно я устроил свою выставку, не устояв перед настойчивым и весьма лестным предложением Хранителей Декоративного Отделения Лувра. Выставка маленькая — всего 41 акварель (пополам — театральные работы и этюды с натуры, главным образом interieur'ы) и занимает она очень небольшую залу, однако, несмотря на почти полное замалчивание (продажной) прессы, выставка имеет, если и не материальный, то всё же некоторый успех в публике. Мне же лично она послужила своего рода ободрением — ведь художник нуждается в таковом — почти даже в большей степени, когда он стар, нежели в молодых годах. И вот, когда подведешь себе такой своего рода итог, то как-то становится легче. Всё же я кое-что на свете сделал... Впрочем, не обращайте внимания на сие самохвальство — это происходит не от самомнения, а от какого-то желания «оправдать своё существование»... Единственную выставку, которую я посетил, это та, что открыта в том же помещении Музея, в котором и моя выставка. Это выставка витрайля (от XI по XVI век) и вот это — одно песнопение. Иные брюзжат, что де, лишенные своего архитектурного окружения, эти «прозрачные картины» теряют свой смысл; на это однако *надо* возразить, что зато в такой близи можно любоваться (и ещё как!) не только самой техникой этой живописи, но и декоративной её конструкцией, вкусом, наконец и материалом. Одно ощущение чего-то необычайно прочного и мощного, что получается от такого близкого созерцания доставляет мне огромное наслаждение.

Общее моё настроение — далеко не удовлетворительно. И не может способствовать его улучшению всё, что творится на свете, в частности же и шумиха, обычно сопровождающая то, что называется la saison de Paris — все эти кермессы и прочие дурацкие празднества, коими организаторы общественных увеселений рассчитывают заманить в Париж как можно больше туристов с валютой. Зрелище такого грандиозного торгашества,

и телом, и душой, вызывает одно лишь омерзение. А над всей этой ярмаркой суеты корчатся гримасы Шагалов, Пикассо, Браков и прочих шутов гороховых!...

...Ну, да и сам [я] уже не тот; скоро устаю и т. д. Словом, я не в состоянии был с Вами побеседовать. А теперь немного полегчало, вот и пишу. Однако, о чем писать?... Разве о последних новых художественных впечатлениях. Это может быть Вам интереснее другого. *Первое* — полученное от большой официальной выставки Музея, образовавшегося за последние годы в San Paolo. *Второе* — от сепаратной выставки (здесь) итальянского художника Pietro Annigoni. С нея и начну. Слыхали о таком? Вероятно — нет. Между тем он заслуживает самого серьёзного внимания. По своему «вероисповеданию» — он сюрреалист, но в сущности, обсуждая лучшие его вещи, можно частицу «сюр» отбросить, ибо не в некоторых его (обязательных в наше время) гримасах дело, а в том, что он *удивительный мастер* и знает он своё мастерство, как знали его старые мастера, у которых он всему главному и научился. Нечто общее в нем имеется и с нашим покойным Александром Яковлевым и с полуитальянцем Шильтьяном,... а то и с Сальватором Дали (тоже как-никак мастером, хоть и дурачится он напропалую, мучимый желанием épater le monde — даже папу римского и того, говорят, озадачило!). К сожалению общее у Аннигони с ними не только в сноровке, в удивительном рисунке, в виртуозности техники, но и в каком-то странном *холоде,* в какой-то внутренней пустоте. *Чудесно* всё сделано, перед всем хочется воскликнуть — Alle Achtung! Но вот теплоты, шарма, чего-либо волнующего нет! И это ужасно досадно. Как хотелось бы одолевающему ныне потоку пошлятины противопоставить нечто, действительно прекрасное: высокое, прочное, трогающее, но истинно художественное. Но этого и нет. Что же касается до выставки San Paolo, то тут нечто иное. Она состоит в большинстве выставленных вещей, — из произведений «классиков», т. е. представлены и Тициан, и Веласкез, и Хальс, и Гольбейн, и Рейнольдс, и Мантенья (?), и Генсборо, и Фрагонар и Гойя, и Делакруа, и, наконец, Наттье, но за исключением последнего (4 портрета дочерей Людовика XV), все эти боги, полубоги и четверть-боги представлены произведениями второго и третьего разряда, или вещами сильно пострадавшими от реставрации и от времени. Вторая же (меньшая по количеству) половина — это всё то, [что] теперь считается за «абсолютно бесспорное искусство» и здесь, начиная с Мане, Ренуара, Тулуз-Лотрека и Сезанна мы видим и Пикассо (хороший портрет женщины начала 1900-х

годов), и Гогена, и Ван-Гога, и Модиглиани. В этом, несмотря на явную претензию быть à la page просвечивает известный провинциализм. Но особенно эта страсть угнаться за Парижем сказывается в массе фотографий, разложенных по витринам и рисующих занятия в художественных школах Бразилии, согласно тем принципам, которые установлены такими художниками мудрецами, как Кандинский, Леже, Le Corbusier, Paul Klee и т. д. Хоть в сущности мне никакого дела нет до столь далеко отстоящих мест, а все-же как-то грустно становится при виде такого растления малолетних, при сознании, что вот эти мальчики и девочки, уже став юношами и девушками, никогда уже не познают тех радостей, которые нам дало уже созданное искусство, или которые мы испытывали, когда сами отдавались творчеству.

(Париж. Декабрь, 1953 г.)

Много писать не могу — надо навести порядок в крайне запущенную корреспонденцию. Запущение же получилось оттого, что я за последние недели, не разгибая спины, чиню и переписываю вчисто свои мемуары, благо нашелся на них, наконец, издатель, и надо спешить доставить ему всю нескончаемую мою рукопись. Вот появится эта моя «книга жизни» и Вы, читая её, вспомните сами, до чего же было мило и интересно наше российское существование! И до чего мне, благодарение Богу, было дано, в своё время, его просмаковать (причем, разумеется, не обходилось без жалоб, обвинений и протестов).

(Париж. Февраль 1954 г.)

В двух словах скажу про себя: я продолжаю заниматься проверкой и исправлением текста моих Воспоминаний, которые печатаются (или скоро начнут печататься — корректуры ещё не высылаются) в Чеховском Издательстве в Нью Йорке. Выйдут, впрочем, в первую очередь только первые две части, а всего их четыре. Если имеется шанс, что я ещё увижу эти две части в печатанном виде, то уже наверное третья и четвертая поспеет разве только в эпоху моих правнуков и тогда, когда я сам отойду к предкам. Ближайшей моей задачей ныне является большая фамильная выставка всех художников Бенуа, которую вызвалась устроить, ещё в течение этой осени, некая организация, ведующая «художественной эксплоатацией» знаменитой виллы Olmo

на Комском озере. По скверному своему обыкновению я отношусь к этой затее с некоторым скепсисом и отправив туда избранные свои вещи (около двухсот!) буду лишь молиться, чтобы они в целости вернулись. Другая выставка моих исключительно театральных работ в Эдинбурге только-что закрылась и теперь перевозится в Лондон. Но там не я являюсь корнем дела, а является С. Дягилев — Юпитер того Олимпа, на котором и мне далось восседать в его окружении. Говорят выставка эта в Э. была очень эффектна и красиво устроена...

(Париж. Сентябрь, 1954 г.)

...Что же касается до моего «юбилея», то тут некоторое недоразумение, но Вы не один делаете мне честь своим поздравлением; таковых я получил целый ряд «с разных концов нашей планеты» — и я объясняю себе это явление тем, что вероятно в прессу проникло сообщение о том, что «происходило чествование моего восьмидесяти пяти летнего [юбилея]». На самом деле никакого «чествования» не было, а всё ограничилось тем, что пришло с полторы дюжины приятелей (среди них Борис Зайцев с супругой, С. Лифарь с братом, Д. Д. Бушен), которые и распили со мной несколько чашек чая (*не* бокалов шампанского), закусив яблочным пирогом, искусно испеченным моей дочерью Анной. С гораздо большим основанием Вы можете и меня, и моих двух детей — сына Николая и дочь Елену поздравить с открывшейся на-днях грандиозной выставкой "Dei Benois" в городе Комо, на озере того же наименования и в чудесном дворце del'Olmo. Выставка содержит свыше 500 наших изделий и открыта она была с приличествующей помпой, однако и... с непростительным промахом: организаторы *забыли пригласить прессу* — так-таки всю итальянскую печать... Объясняется же столь неправдоподобное упустительство... тем, что одни устроители положились на других, а те на третьих и т. д. Случай весьма курьёзный, но и печальный, *едва-ли поправимый.* Пресса таких промахов не прощает...

...Здесь, в Париже, где снобизм и прочая ересь опустошила (и продолжает опустошать души) и оскопляет всякую живую непосредственную впечатлительность... всё, что не исповедует веру в Пикассо, в Дали, и пр. и пр. — всё обречено на бесславное вымирание. Мне даже сдается, что у Вас *лучше!* Ну, просто

убожество, пустошь, заросшая крапивой, здесь же на каждом шагу всяческое осквернение святынь, расползающаяся мерзость одичания... Тошнит от всего этого, от такого наглого торжества *бесовщины*...

(Париж. Май, 1955 г.)

...Что же касается до меня, то мне всё трудиее становится самая *процедура писания*. И глаза устают и рука просит отдыха. Ведь, кроме переписки с друзьями, я принужден ужасно много времени посвящать *писанию!* Хочется продолжить свои мемуары, и хотя бы рассказать о таких любопытных вещах, как моё сотрудничество с Дягилевым и с Московским Художественным Театром; что же касается до русской революции (и моего личного отношения к ней), то об этом имеется «подлинный документ времени» — в виде моего Дневника 1916-1918 годов, и как раз в данный момент я занят приготовлением его к изданию...

Но какая же глупость произошла с «Послесловием» к моей «Жизни художника» (сие нелепое название дано издательством) ! Однако *глупость* усугубилась ещё тем, что вместе того, чтоб просто публично оповестить о случившемся недоразумении, они вздумали его исправить самым косолапым образом..., требуя возвращения уже проданных дефектных экземпляров и производя в них удаление «чужой» страницы и вклейку пустого листа (причем ссылка на Послесловие и оглавление всё же осталась). Из-за этой операции произошла задержка в появлении книги, а это могло отозваться и на успехе продажи. В своём личном экземпляре я эту аномалию сохранил — уже больно это курьёзно — однако оговаривая (от руки), что это послесловие на самом деле относится *не* к *моим* воспоминаниям, а к воспоминаниям... князя С. А. Щербатова.

P. S. А что касается культа *дьявольщины* Пикассо, то это тяжелый недуг нашего времени, к сожалению, лишний раз свидетельствующий о каком-то конце культуры, об общем одичании...

(Париж. Ноябрь, 1955 г.)

...до чего, глядя на тогдашние мои работы, мне становится грустно и больно, что я более не в состоянии в этом парадизе [6] бывать и прогуливаться: слишком утомительно для нынешнего

состояния моих ног проделывать те километры, что требуется для того, чтоб посетить любимые места!... Какое это было сплошное блаженство, когда мы там жили всей семьей, когда у нас там был свой очаг, весь наш домашний уклад и *главное,* когда мы сами были молоды, полны сил... Привыкаешь к создавшемуся за последние годы положению, даже моментами кое-что и оцениваешь, кое-что тебя радует, но как подумаешь, что когда-то *было* и что стало *безвозвратным,* так холодеет душа и спрашиваешь небо, к чему я ещё болтаюсь по этой юдоли всяких печалей... И всё же хотелось бы ещё прожить достаточно времени, чтобы хотя бы увидать изданным продолжение моих воспоминаний, чтобы увидать хотя бы в английском переводе (раз не найти русского издателя) свой, небезинтересный в разных смыслах, Дневник 1916-1918 годов и чтоб хотя бы немного продвинуть писание дальнейших моих сувениров и довести свой рассказ до моего участия в Художественном Театре, в Русских балетах и до того момента, когда мы покинули Россию.

Ну вот, *сколько* пожеланий! Значит, ещё жив курилка...

(Париж. Январь, 1956 г.)

Больше месяца проболел довольно жестоко, проводя большую часть времени в постели, а, поправляясь, оказался до того ослабевшим, что был принужден держаться за мебель, чтоб не грохнуться. В этом главная причина, почему я Вам не писал. За последние дни я более заметно крепну, и вот, даже принялся за переписку с друзьями. Но много писать не могу. Сразу устаю...

Ах, дорогой Е. Е., «Беспредметная живопись» это нечто весьма жуткое по своей основной природе, ибо это торжество всякого любительства, невежества, *бессмысленности* и, разумеется, шарлатанства. Но и другой вид современного (сплошного) шарлатанства не лучше. Во главе этой секции стоят Рафаэль наших дней Пикассо и Тициан наших дней Матисс; вообще же имя этим бесам и бесенятам — легион! Мое дело теперь сторона, но я спрашиваю себя, что бы я говорил о них в печати, если бы продолжал состоять «профессиональным рецензентом»? Какое *счастье*, что более не состою, что отошел в сторону. Но вот вы — молодежь... должны пребывать в постоянном личном соприкосновении со всем этим инфернальным отродьем! И это ужасно...

Продолжения моих Воспоминаний пока не предвидится, хотя рукопись имеется и даже выправлена для печати — хоть сейчас в набор. Доходит рассказ до 1905-1907 года. Там не мало такого, что следовало бы сохранить в памяти хотя-бы [для] одних *русских* людей, а кое-что не лишено полезного смысла и для «людей-вообще». Но что поделаешь? Эмиграция обнищала; что-то где-то и сейчас печатается, но всё это мелкота, ни в чем никакого размаха. И разумеется: *глухая провинция*. Меценаты же выродились, заняты чем-то другим. Приходится утешаться тем, что большевички выпускают по русскому искусству книжку за книжкой (кое-что даже и очень приятно издано) и всё это по удивительно дешевым ценам. И ей же ей, многое очень и очень значительно и интересно (имею в виду разных наших больших художников XIX века). Несомненно, это «ударное издательство» — всходы посеянных нами, «Миром Искусства», семян. И чем дальше, тем эти нивы золотятся пышнее. *Да,* это утешительно. Только немного притом обидно, что от этого урожая *нам* ничего не перепадает, и нет-нет ещё кто-нибудь из нынешних верноподданных писак и ругнет нас (особенно меня) за то, что мы де продались капиталистическому строю и т. п. Ну, да Бог с ними! Кончаю. Это, впрочем, и не письмо, а так, просто, на Ваше — род восклицания «здесь!», "présent!" во время переклички. Вообще же ужасно я устал. Не забывайте меня.

(Париж. Май, 1956 г.)

Что же касается Левитана,[7] то был он человек *очаровательный — совсем в стиле своих картин!* К сожалению, я имел мало случаев с ним общаться, ибо я познакомился с ним в 1896 году, вскоре затем уехал надолго заграницу, а в 1900 году его уже не стало. Известие об его кончине привез мне на дачу (в Петергофе) Нестеров, и оно поразило меня как громом — вроде того, как семь лет до того, поразила меня смерть Чайковского... А «влюбился» я в искусство Левитана ещё в 1890 году — тогда, когда появилась у Передвижников его «Тихая обитель», и с тех пор я остался ему верен. Тянуло меня на Передвижные выставки главным образом именно ожидание увидеть его картины (а также картины Серова, Коровина) и не только его единственную в своем роде искренность и поэтичность, но и ясную простоту его красок, красоту, сочность его живописи.

Алпатовской книги[8] не собираюсь читать. *Нового* об Иванове наверное в ней мало, а раз ему (и всем) запрещено гово-

рить о Боге и о Божественном, то как же говорить о художнике, который был весь «пропитан чувством Божественного»? Иванов мучительно бился, ощущая эту свою захваченность и не находя в себе сил убедительно её выразить в образах. Творчество Иванова всегда представлялось мне тяжелой драмой общечеловеческого и не только художественного порядка, но, изучая его произведения (и читая его письма), можно только догадываться о ней...

...До того заели [здесь] всякие теории, до того всемогущ снобизм, до того люди *просто разучились смотреть*! Долго-ли такое положение продлится, я совсем не знаю (а хотелось бы узнать), но всё же не покидает [меня] мечта, что через два-три *поколения* в художественном мире воскреснет интерес к *подлинному* во всем его чудесном многообразии. Даже историю искусства ныне всё более уродуют в угоду с одной стороны схоластике, так называемой Kunstwissenschaft (или Stilkritik), с другой — абракадабры всяких параболических измышлений. От многого подчас просто тошнит. И грустно, грустно становится при виде, как и самые милые юные существа уже в корне отравлены!

Ну, не хочу больше разводить эти никчемные нюни. ...Не забывайте старого брюзгу. Попробуйте Вы его приободрить. Он в этом очень нуждается. Весь «спектакль жизни» стал уж очень мучительным...

(Париж. Январь, 1957 г.)

Темно, холодно. Благодарю за то, что Вы не посетовали на меня за моё долгое молчание и снова обрадовали меня письмецом! Это показывает, что Вы поняли настоящую причину моего молчания и не увидали в нем какое-либо, не дай Бог, «безразличие», а учли, что молчу я по независящим от меня причинам. Причин главных две. Моя жизненная занятость (таковая теперь немного разрядилась — я сдал мои главные две театральные работы и теперь вроде как бы отдыхаю); вторая же причина: *чрезвычайная* усталость, отчасти происходившая от этой занятости (но она, повторяю, прервана), ныне же просто вследствие достижения уж очень преклонных лет... Эту усталость мне временами удается превозмочь, но для того требуется какой-либо *толчок*. Таковым и явилось Ваше письмо и видите, я сразу сбросил с себя инертность и вот пишу.

Но о чем писать? Очень много о чем хотелось бы отвести душу в дружеской беседе... Эту душу за последнее время всё

более заволакивают разные, довольно таки темные туманы. Между тем я чувствую, что не хватает сил именно эти свои туманы объяснить, ввиде же краткого извещения о них сообщу только, что они двоякого рода. Одни являются выражением тревог общечеловеческого и даже «планетарного» смысла (отчасти они вызваны теми опаснейшими игрушками и фокусами, которыми занимаются ученые шалуны, пуская в неведомое пространство то пустые, а то и обитаемые живыми собачками шарики) — в ожидании пикника на луну (и её-то не оставят в покое — о Господи!).

Другие же туманы вызываются состоянием моих собственных дел — отнюдь не благополучных и обнадеживающих, а даже и весьма сомнительных. Спрашивается, как же дальше быть, как свой срок дожить, — ответа же на такие вопросы не предвидится. Утешаюсь лишь тем, что такое положение уже, бывало, складывалось не раз и каким-то чудом затем воз со скрипом и колыхаясь всё-же двигался дальше... Однако, зачем я об этом говорю — точно не знаю, что и у Вас своих забот и тревог хоть отбавляй... Нет, уж лучше такие темы не разрабатывать и умолкнуть до другого раза, когда на душе будет светлее...

...не взыщите за столь бессмысленное писание и сочтите его только за то, чем оно является — за выражение желания с Вами *побыть*...

(Париж. Ноябрь, 1957 г.)

Я скорблю по вырванном из нашего круга одном из последних и очень значительных его устоев, по потере милого моего друга «Добужона»,[9] а та характеристика, которую Вы даете в своем письме, показывает, [что] Вы понимаете его искусство; и это возбуждает во мне досаду, что я не услышу Вашего доклада. Ничего не поделаешь!...

(Париж. Декабрь, 1957 г.)

Прилагаю при сем своё произведение и «льщу себя надеждой», что оно Вас не слишком разочарует. Представляет же собой эта картина антрактовый занавес балета «Петрушка» и изображены на ней, среди лунного безмолвного Петербуржского [ночного вида], масляничные балаганы, которые в дни моего детства строились под самым боком Исаакия, на месте ныне занима-

емом Александровским (так более не называющимся) садом. В сей версии, созданной мною для Лондонского Covent-Garden, я вернулся к своей первоначальной, в своё время неосуществленной, идее, тогда как за все эти годы полувекового существования моего (пополам со Стравинским quant au sujet) балета, я для разных постановок in the world изображал на занавеси то чародея, сидящего на облаках, то полёт всякой чертовой погани, мчащейся над спящим Петербургом... И вот, судя по успеху у публики данной версии, оную можно считать *наиболее удачной*. Буду рад, если и Вам она понравится.

В общем же всё здесь обстоит по старому. Прибавлю при этом: не завидуйте... нам, «имеющим счастье» пребывать в Ville Lumière. Эта Ville Lumière сильно за последние годы потускнела. Несомненно, самосознание всего человечества в целом сильно омрачилось с тех пор, что оно вступило на путь (короткий ли? длинный?) Самоуничтожения! Ах, как-бы куда-либо *выскочить!* Как бы вернуться к золотым дням нашей молодости!! Даже Лувр, если и утешает, то, одновременно и злит — потому-что всё в нем перевешено, переставлено, и не к лучшему а к *гораздо* худшему. Ходишь по залам, как потерянный, проклиная современных «музеоведов». Лично я, от скуки, занялся приведением в порядок моих разных коллекций, но и это оказывается, в своем ощущении суетности, более утомительным, чем утешительным...

Буду ждать от Вас... некоторого ободрения.

(Париж. Март, 1958 г.)

Я не писал не из-[за]лени, но исключительно из-за затянувшегося на много месяцев недуга, вызвавшего большой упадок сил, как физических, так и моральных. Теперь намечается, как-будто, некоторый поворот к лучшему (сухо-дерево!) и авось я ещё и выберусь из той духовной тины, в которую был погружен! Авось после десяти месяцев полного затворничества *я выйду на воздух!* Позволяю даже себе мечтать о том, чтоб побывать на той или иной выставке (а сколько интереснейших я пропустил!) и, наконец, не исключена возможность, что летом удастся отправиться отдохнуть на лоно природы (что пока представляется прямо фантастическим и несбыточным). За все эти долгие месяцы я забросил совсем художество, перестал рисовать и живописать, и, Боже, до чего трудно теперь втянуться вновь в после-

довательную работу, до чего трудно вновь овладеть всеми, казалось бы и самыми усвоенными, навыками!

...веду я образ жизни отшельника и, хотя у меня не мало друзей, довольно часто меня посещающих, но я у них по болезни не бываю и вообще должен довольствоваться слухами и газетным репортажем.

...Вы очень заняты — и это главное. Не быть ничем занятым — вот это, говоря по опыту, тяжко.

(Париж. 23 апреля, 1959 г.)

ПРИМЕЧАНИЯ

В квадратных скобках пропущенные слова.

[1] Выставка старого немецкого искусства в Мюнхене весною 1946 года.

[2] Выставка "Flötner und die Renaissance in Deutschland" в Нюренберге, в январе 1947 года.

Выставка картин из собраний Старой Пинакотеки, Мюнхен, Февраль 1947 г.

[3] Предполагавшаяся выставка картин русских художников в Канаде.

[4] Выставка картин Тёрнера, Торонто, декабрь 1951 года.

Выставка скульптур Местровича, Монреаль, декабрь 1951 г.

[5] Анна Карловна Бенуа скончалась 30-го марта 1952 года.

[6] Версаль.

[7] Ответ на сообщение о книгах:

И. И. Левитан. Письма, документы, воспоминания. Москва, 1956 года.

[8] М. Алпатов. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. Том 1 и 2. Москва, 1956.

[9] Художник Мстислав Валерианович Добужинский скончался 21 ноября 1957 года в Нью Йорке.

Вечер памяти М. В. Добужинского состоялся в Нью Йорке 24-го января 1958 года.

БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ*

ПУТЬ ДО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

Я стою зачарованная, не зная на что смотреть, в страхе, что пропущу, забуду что-нибудь. Пошли турецкие сады с темными кипарисами, белые минареты, облезлые черепицы крыш. Вода совсем зеленая. И я опять вспоминаю свой собственный, в младенчестве любимый Босфор, радуюсь, что увижу его при луне.

Ян называет мне дворцы, мимо которых мы проходим, сады, кладбища. Но у меня всё путается в голове. А он знает Константинополь не хуже Москвы.

Ян говорит о ветхости и запустении этого, по его словам, самого лучшего города в мире. Сообщает мне разные исторические сведения, упоминает о прежних великих султанах...

Чем ближе к городу, тем больше лодок, яликов, парусов, всевозможных судов с разными флагами. Наконец, совсем близко перед нами и сам город, раскинутый по трем мысам, весь в золотом вечернем свете. Особенно привлекает меня Скутарийский берег. Ведь это уже Азия и, неужели я побываю и там?

Мы стоим уже на якоре среди разнообразных судов. Крики, грохот, суета... Ян ищет глазами своего знакомого проводника, кричит: «Герасиме! Добрый вечер!» — И еще что-то на каком-то непонятном языке.

Толстый в очках человек с зонтиком под мышкой приветливо ему машет черной шляпой. Это и есть тот самый Герасим, который три года назад знакомил Яна с Константинополем и о котором я так много слышала.

— Слава Богу, — говорит Ян, — а то я боялся, что без Герасима мы не сойдем на берег, ведь скоро наступит час заката, а после в город не пускают.

Герасим ласково здоровается и успокаивает, говоря со сладким греческим акцентом:

— Со мной нисего, пройдем...

---

* См. кн. 59-ю и 60-ю «Нов. Журн.».

Сидя в лодке, я окунаю руку в воду. Вода холодная. Мы достигаем деревянной на сваях набережной. Отдаем паспорта турецкому чиновнику, и вот мы в Константинополе, в Галате.

— Слышишь, — говорит Ян, — последний призыв с минаретов!

Однако, не взирая на этот призыв, в Галате еще очень шумно. Мы поднимаемся в гору. Кажется, что всё население Галаты на улице: толкотня, давка, буйный гортанный крик.

В Афонском подворье молодой монах в черной рясе и грубых сапогах показывает комнаты и предлагает:

— Не прикажете ли самоварчик?

Мы благодарим и, взяв комнаты, спешим по темному коридору, освещенному тусклой лампочкой, обратно в город. Спускаемся к Золотому Рогу, к мосту Валидэ. Темнеет. Стамбул вырисовывается на зеленоватом небе. Скутари зажигается огнями. Рейд весь в драгоценных камнях-огнях.

Из шумной и освещенной Галаты мы попадаем через мост Валидэ, за проход по которому берут какую-то мелкую монету, в тихий и темный Стамбул.

Да, здесь смесь Византии и Востока, Турции. Ян восхищается всем турецким, а византийское его раздражает. Я не имею своего мнения. Меня всё чарует, я не в состоянии разбираться. Византийский купол Айя-Софии так прекрасен, что я не понимаю Яна; ведь он от него в восторге.

Мы долго бродим вокруг мечетей по темным уличкам, мимо деревянных домов с выступами и решетчатыми окнами... Потом попадаем на ухабистую площадь с тремя памятниками: это знаменитый Византийский ипподром. Белеет сквозь сумрак султанская мечеть Ахмедиэ со своими минаретами. Вокруг ветхость и запустение, что необыкновенно идет к Стамбулу.

Возвращаемся по прямой, идущей вниз улице, обсаженной акациями. В Галате заходим в кофейню и пьем настоящий турецкий кофе. Уже клонит в сон. Уже Галата погасила свои огни и улицы ее опустели. На каждом шагу собаки, безмятежно спящие среди улиц. Они знают, что их никто не тронет, не обидит.

Облезлые худые кобели...
Потомки тех, что из степи пришли?

спрашиваю я, указывая на них.

— Да, да, — улыбаясь, говорит Ян.

Несмотря на уличный шум, на стукотню сторожей, на удары колоколов подворья, мы засыпаем крепким, счастливым сном.

**
*

Великопостный звон в подворье разбудил меня. Ян уже не спал. Мигом оделись и вышли на улицу, радостные и веселые.

Герасим ждал нас около подворья.

— Как я рад, что опять увижу Айя-Софию в солнечное весеннее утро! — сказал Ян.

Я снова в какой-то тревоге, что ничего не успею заметить, запомнить в пестроте звуков, красок, одежд, в разнообразии мужских лиц. Вот дурачок, с бельмом на глазу, в двух шляпах, неожиданно нарушает древний обычай: бросается к собакам, выхватывает чуть-ли не из пасти у одной тухлое яйцо и выпивает его.

Ян в восторге от этого зрелища, смеется. Я сержусь. Не понимаю, что, собственно, его восхищает?

— Ну, идем-же, стоит ли тратить время на такое отвратительное зрелище, — говорю я.

— Именно стоит..

— В таком городе, где столько нужно осматривать?

— Вот именно в т а к о м городе...

— Почему? Не понимаю.

— Мало-ли, чего не понимаешь... Молода, в Саксонии не была...

И кто только не попадался нам на пути к Сералю? И водоносы с бурдюками, и русские паломники, несмотря на теплынь, в зимней одежде, и закутанные с закрытыми лицами турчанки, и красавцы в фесках с мечтательными глазами, и паши, похожие то на моего отца, то на моего дядю, и туристы с бедекером, и некрасивые пожилые женщины в шляпах, на которых развевается синяя, или зеленая вуаль, и, наконец духовные лица разных вероисповеданий...

На мосту нас одуряет сладкий аромат. В корзине, перед которой на корточках сидит турок, охапка каких-то желтых цветов. Мы покупаем целый пук, и я с наслаждением вдыхаю этот новый для меня запах.

Становится жарко. Мы в конке. Вагон разделен на две половины. Я еду в женском отделении и почти чувствую оскорбление от такого разделения. Доезжаем до уютной площади. У фонтана возле мечети магометане, сидя на корточках, совершают омовение. Ян восхищается этим обычаем.

Чем ближе подходим к Сералю, тем тише и безлюднее.

Ян говорит:

— Как хорошо сказал Мицкевич: «В запустении наследие падишахов! В трещины разноцветных окон лезут ветви плюща,

взбираются на глухие своды и стены, и, овладевая делами рук человеческих во имя природы, чертят письмена Вальтасара: Руины».

Минуем св. Ирину и идем через другие ворота к самому мысу. Мраморное море! Оно поражает своим спокойствием. Дай Бог, чтобы завтра оно не изменилось.

Пора в Айя-Софию.

Какая неизъяснимая прелесть в соединении этого тяжелого византийского храма с четырьмя легкими минаретами! Идем по каким-то узеньким уличкам, куда-то поворачиваем и по каменному спуску подходим к тяжелой кожаной завесе. Герасим торгуется с муллой. Надеваем туфли, в которых очень неудобно ходить, и входим.

Прохладно, немного жутко, — ведь я впервые в мечети, да еще в такой... Пол устлан золотистыми циновками. Все огромное пространство храма так наполнено светом и солнцем, что охватывает радость. Вверху летают голуби...

Герасим отстает от нас. Мы ходим и Ян тихонько рассказывает мне, что будто бы турки закрашивают образ Спасителя, выступающий над христианским алтарем. Обращаем внимание на просвечивающиеся сквозь белила мозаики.

— Как хорошо, что кроме этих зеленых кругов по углам ничего нет. И Христос, и Магомет были исполнены страстной и всепокоряющей веры, не нуждающейся ни в золоте, ни в каких украшениях. Сам Магомет жил в простой мазанке даже после того, как покорил Аравию...

— А почему пол такой неровный? — спрашиваю я.

— Это от землетрясений...

И мы расходимся на некоторое время: Ян всегда любил побыть несколько минут один, когда он бывал в храмах.

Я вспоминаю:

А утром храм был светел. Все молчало
В смиренной и священной тишине,
И солнце ярко купол озаряло
В непостижимой вышине.
И голуби в нем, рея, ворковали,
И с вышины, из каждого окна,
Простор небес и воздух сладко звали
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

На паперти, как всегда, нищие просят бакшиш. Проходим через Ипподром. Обелиск оказывается розоватым.

— Неужели настоящий? — удивляюсь я.

— Из самого Гелиополя, — подтверждает Ян.

Затем попадаем на площадь с фонтаном, где много голубей и мальчишек, пристающих с бакшишем. Пробегаем Большой Базар, Чарши, его полутемные коридоры, где продавцы немилосердно тащат к себе покупателей глядеть на их товар. Мы этому подвергались потом на всех восточных базарах. На этот раз мы тверды и ни пестрые ковры, ни легкие, затканные серебром и золотом шарфы, ни персидские шали, ни восточное оружие не соблазнили нас.

Герасим ведет нас в восточный ресторан. Мы с аппетитом едим разные, не всегда понятные кушанья, под припев Герасима:

— Пробуй, пробуй, пойдес домой, будес рассказывать.

Мы смеемся и всё пробуем и пробуем...

— Теперь на Башню Христа, — бодро говорит Ян.

И мы опять в сутолке Галаты, а затем у Башни.

В Башне очень прохладно. От нетерпения поскорее добраться до верхушки, я почти бегом несусь по темной лестнице. Сзади слышу сердитый голос Яна. Останавливаюсь и жду. Оказывается, нельзя бежать, — разгорячусь, обдует ветер и простужусь. Я немного удивлена и задета. Мы росли очень свободно, нас не кутали, а потому к сквознякам и простуде мы привыкли относиться безразлично. Но Ян другой школы и, чтобы не портить прекрасного дня, я подчиняюсь и иду медленно. Выйдя на вышку-балкон, опоясывающий башню, я положительно забываю все: Малоазиатский берег с волнистыми хребтами, Мраморное море, Босфор с крохотными судами, весь Константинополь со своими пригородами, — всё у нас под ногами... Теплый ветер приятно овевает, а дали так манят, что я даже не жалею, что завтра мы уходим из этого сказочного места...

— И всё это Поля Мертвых, — грустно говорит Ян. — И в этом запустении и умирании и есть бесконечная прелесть этой страны.

Последние два часа мы решили провести, по совету Герасима, на Сладких Водах. Наняли ялик с бархатными подушками и медленно поплыли.

Баратынский, вспоминаю я, определяет поэзию так: «Поэзия это полное ощущение известной минуты». Вот в этот-то незабываемый день я действительно ощущала полноту не только каждой минуты, но и каждой секунды... И всё, что я пишу сейчас, я не вспоминаю, а вижу...

День уже клонился к вечеру, жара спала, появились тени, ветер стих, и в воздухе наступило какое-то успокоение. Я уже понимала восточную истому, радость созерцания, молчания и праздности. Передо мной медленно проходили минареты, сады, деревянные, тесно прижатые друг к другу домики с решетчатыми балконами, и в моем воображении опять воскресает нянька Улита со своими сказками о волшебных лампах, о подземных царствах, о дивных садах с Жар-птицами. А за этим опять вспоминается картина зеленой лунной ночи, столь поразившая меня в детстве. И радостная мысль охватывает меня: сегодня я проведу лунную ночь на Босфоре!

Когда мы поднимаемся по трапу на наш пароход, Скутари уже горит огнем.

Ущербленная луна выходит из-за азиатских хребтов и мягко озаряет своим зеленоватым светом весь рейд, пестрящий разноцветными фонариками. Стамбул вырисовывается всё четче своими силуэтами; я долго смотрю на острые минареты и всё не могу на них наглядеться. Заманчиво блестит Мраморное море... Почему оно называется Мраморным? Таинственно Скутари в темных кипарисах. И мы несколько раз обходим пароход. Останавливаемся, смотрим. Наконец, садимся на юте и впадаем в какое-то оцепенение...

— Однако, идем спать, — неожиданно говорит Ян.

— Как спать? Что ты! В такую ночь? Когда еще увидишь?

— Бог даст, увидишь, — ласково, но твердо говорит он: — Нам нужно быть завтра бодрыми...

— Да, но все-таки, пропустить такую ночь...

— Солнце не хуже луны и гораздо поэтичнее, по моему, — возражает Ян, — да и наше путешествие не только удовольствие, а и дело, а потому быть сонными завтра нельзя.

Я чувствовала какую-то правду в его словах и грустно стала спускаться по трапу в каюту.

***

На следующий день мы проснулись не очень рано, часов в восемь, несмотря на суету перед поднятием якоря, — в море быстро приучаешься не обращать внимания на шум во время сна. Прав был Ян, говоря, что нужно было лечь спать рано, иначе проспали бы, пожалуй, и выход в Мраморное море...

На палубе обычная картина: новые пассажиры, которых размещают по каютам, лебедка, которая непрерывно нагру-

жает пароход. В третьем классе восточная пестрота красных фесок, белых балахонов, полосатых туркестанских халатов, верблюжьих курток...

Стамбул необыкновенен в нежном утреннике. Чуть розовые минареты его остро вонзаются в еще бледное небо. И я долго, не отрываясь, смотрю и думаю: когда он лучше, при дневном ли блеске солнца, в золоте ли заката, в зеленоватом ли лунном свете, или сейчас, в утренних парах?

Мы уже были недалеко от выхода в Мраморное море, когда ко мне подошел Ян, и мы вместе отправились на нос. Усевшись поудобнее, мы стали смотреть вдаль, кругом, на воду... И я с изумлением увидала, что вода мраморная, какой я никогда не видала.

— Смотри, смотри, — радостно воскликнула я, — вот, почему оно так и называется, оно именно сейчас мраморно-голубое, с розовыми разводами!

— А вот и иудино дерево, — сказал Ян, указывая мне на искривленное безлистное дерево в фиолетово-розовых цветах, стоявшее на берегу.

— Почему оно так называется?

— По преданию, на нем повесился Иуда. Да разве ты не видала его в Крыму? У нас его там много.

Справа тянулись стены дворца Константина, а слева, на скутарийском берегу, темная стена кипарисов. Впереди в голубой дымке, смутно намечались Принцевы острова, а за ними в небесной высоте — Малоазиатские горы со своим снежным Олимпом.

Я рада, что сегодня мы целый день в пути. Нигде нельзя отдохнуть так, как на корабле при хорошей погоде. Мы то смотрели на горы, напоминающие своими очертаниями Крым, то делились впечатлениями о Константинополе. Ян говорил об «алтарях» солнца, то, что он потом развил в своей книге «Храм Солнца», высказывал пожелание уехать на несколько лет из России, совершить кругосветное путешествие, побывать в Африке, южной Америке, на островах Таити...

— Я на всё махнул бы рукой и уехал, если бы не мать. Ведь у нее одна радость — мы, дети. Она всю жизнь отдавала нам, я такой самоотверженной женщины никогда не встречал. И вечно всех она жалеет, всех оплакивает...

К вечеру прошли мимо Галлиполи, в то время совсем чуждо звучавшее для моего уха... Гористый, пустынный берег...

После Геллеспонта наступил темный вечер.

— На сегодня нам остались только Дарданелы, — сказал Ян, — жаль, что ничего не увидим!

***

Море сегодня совсем иное, чем было до сих пор. Не вода, а масло какое-то сине-лилового цвета, по которому разбросаны синеющие вдали силуэты, — это уже Архипелаг.

— Посмотри, как эти острова напоминают Аю-Даг, а вот там совсем Балаклава, — сказал Ян: — И как эта Греция не похожа на ту, какую всегда описывают! Какая прелесть: знойно и пустынно, а ведь казалось, по описаниям, что вся Греция — тенистый райский сад...

На минуту мы спускаемся в каюту, — приготовиться к Афинам. Ян скоро опять уходит. Кончив уборку вещей, я тоже поднимаюсь на палубу и подхожу к нему.

— А я уже видел в бинокль Акрополь и необыкновенно почувствовал его древность! — говорит он очень возбужденно: — Акрополь — совсем из какого-то другого мира, тогда и человечество было иное...

В Пирее мы пристали к берегу после завтрака. Пароход окружили кричащие на всех языках люди, очень разнообразно одетые, некоторые в фесках и широких шароварах, предлагавшие кто отель, кто лодку, кто себя в гиды. Мы взяли одного из них, худого, загорелого, пожилого человечка, говорившего на многих языках, в том числе и на русском.

Из Пирея в Афины едем в поезде. Чувствуется южный сильный зной. В Афинах еще жарче, в воздухе пыль, но город чарует белизной своих плоскокрышных домов в соединении с синевой неба. Мы едем по улицам, окаймленным пыльными кипарисами. Все дома слепы от стор, на окнах магазинов — маркизы. А женщины одеты во всё черное.

Когда мы выезжаем из города, в глаза нам ударяет выжженный холм с золотисто-желтыми храмами, которые так прекрасны на густо-синем фоне неба, что не мне о них писать.

Ян выскакивает из экипажа, бежит к входу, пробитому в гранитной стене, окружающей Акрополь внизу, и быстро поднимается по широкой мраморной лестнице к Пропилеям. Я иду медленно и с каким-то трудно передаваемым изумлением смотрю на то, что называется Акрополем. Я чувствую легкость и божественную гармонию линий, но чувствую и удивление: мне представлялись эти храмы гораздо обширнее и величественнее.

Несколько раз в жизни мне случалось попадать на очень короткое время в прославленные на весь мир места. И теперь, когда я оглядываюсь назад, я замечаю, что короткие впечатления ярче всего сохранились в моей душе, ибо, конечно, запоминается в таких случаях только главное, только существенное. Что до Акрополя, то первое паломничество наше в него осталось для меня несомненно самой цельной и яркой картиной; и никогда не забыть мне этих золотистых руин, пролеты которых заполнены лиловатой синевой, тощей травы растущей среди них вместе с красными маками, а внизу с одной стороны белого плоского города, а с другой беспредельной синевы моря вдали...

Вот мы входим по мраморным плитам в Парфенон, останавливаемся, смотрим... Затем садимся на скользкую ступень лестницы и некоторое время сидим молча... Ян поднимает небольшой кусок мрамора и говорит, что ни за что не расстанется с ним, тайком унесет с собой...

Уютная бухта в Пирее после босфорского рейда кажется крохотной. На параход мы попадаем как-раз к моменту отхода. В шесть вечера снимаемся с якоря и медленно выходим из порта.

Когда скрылся еще более позлащенный уходящим солнцем Акрополь, быстро, почти без сумерек, стало темно. И вслед за Венерой, горевшей на западном склоне, — спокойно засиял над нею Юпитер, а за ним и всё небо покрылось звездами, — первое для меня звездное небо в открытом море! Я с детства живу в общении со звездами, унаследовала любовь к ним от отца. Об отношении же Яна к ним известно по его стихам и рассказам...

Стоя на юте, мы сравниваем наше небо со здешним. На северо-востоке Большая Медведица стоит тут ниже, чем у нас в эту пору, Корабль Арго — выше, но всё же не настолько, чтобы можно было видеть Канопус. Отыскиваем Вегу, любуемся раскаленным Арктуром... Увлеченные небом среди необъятной тишины моря, мы не замечаем, как бьёт одиннадцать часов. Ночью какой-то животный крик будит нас. Что такое?

— Сирена, — говорит Ян, садясь на койку, — надо пойти узнать, в чем дело.

И, быстро накинув на себя пальто, выскакивает из каюты.

Минут через двадцать он возвращается. Да, это была сирена, так как в море густой туман.

К полдню мы прошли мимо Крита. Море терялось в лиловых далях. Мы долго сидели в креслах на спардеке, говорили о том, что завтра Африка, Египет, Александрия... Зной чувствовался уже на пароходе, нас клонило в сон, и вдруг я заметила, что Ян спит. Однако, в ту же минуту раздался звонок к чаю, и он с ужасом вскочил:

— Я заснул? Долго спал? Это ужасно, — я теперь не буду всю ночь спать! Я успокоила его, уверила, что спал он не более трех минут. У него был предрассудок, что если он заснул после четырех часов хоть на минуту, то не будет спать ночью.

Перед обедом мы слушали жалостное пение греков, палубных пассажиров. Нельзя сказать, чтобы этот народ отличался музыкальностью. Когда стемнело, стало качать, подул теплый ветер и мы радовались, что это уже ветер пустыни.

**
*

На следующее утро мы с волнением увидали берег Африки. Наш пароход блестел чистотой, как это всегда бывает перед входом в конечный порт. Все моряки надели белоснежные одежды. Медленно надвигался на нас песчанный берег с белым городом, с финиковыми пальмами, необыкновенно высокими и тонкими. В порту, очень закрытом от моря, всевозможных судов с трубами, и мачтовых не меньше, чем на Босфоре.

Чем ближе к земле, тем всё жарче, даже под тентом ощущаешь немилосердные лучи солнца.

На пристани пестрота, точно на мосту Валидэ. Новы для глаза кубовые длинные рубахи на мужчинах и на женщинах, кровных потомках египтян. Наконец мы на берегу, нанимаем экипаж. Извозчики в белом, белым покрыты и сидения коляски. Солнце стояло почти в зените, небо было бледно.

Здесь еще больше, чем в Константинополе поражает пестрота Востока, смешанная со щегольством Европы. В гостинице, которая находилась в уличке, выходившей к морю, нам отвели просторную комнату с очень большими постелями под кисейными балдахинами.

— Значит, есть москиты, — сказал Ян,— Терпеть не могу спать в этих клетках, я в них задыхаюсь...

В комнатах полумрак, весь город в эти часы живет с окнами, закрытыми жалюзи, но нам хочется ощутить Африку по-настоящему. Ян распахивает двери на балкон, и горячий, и необыкновенно яркий свет заставляет нас зажмуриться...

До четырех часов весь город пуст, почти никто не выходит на улицу, но нам было скучно сидеть в комнате в совсем новом городе, и мы пошли на берег моря. Побродив, мы взяли билеты до Яффы на пароходе, отходившем завтра вечером и я подумала, что я в первый раз в жизни проведу Светлую ночь в открытом море. Потом зашли на почту, отправили открытки, послали моим родителям теллеграмму. И, почувствовав себя совершенно свободными от всяческих дел, стали осматривать город. Достопримечательностей в нем немного: катакомбы, где меня неприятно поразило электрическое освещение, очень к ним не идущее, Колонна Помпея, маяк, конный памятник Али, — вот, кажется, и все. Но именно от этого отсутствия памятников старины, здесь гораздо больше, чем в Константинополе, бросается в глаза смешение туземных кварталов с европейскими домами и отелями на широких улицах и просторных площадях. Кроме того, в этом смешении есть и нечто африканское, первобытное. Попадаются негры, эфиопы, даже бедуины в своих очень живописных и сложных костюмах со змееобразными жгутами на голове поверх черного шерстяного плата. Потомки египтян тонки и статны, плечисты и смуглы. Женщины-магометанки закрывают лицо иначе, чем турчанки: вуаль ниспадает от глаз на нижнюю часть лица, лоб закрыт покрывалом (сзади спускающимся до пят), между вуалью и покрывалом, на переносице — медный цилиндрик, так что видны только огромные продолговатые глаза. Фелашки в длинных кубовых рубахах с татуировкой на висках, подбородках и лбах, с необыкновенной легкостью и грацией несут на голове то корзину, то жестянку, то кувшин.

Перед вечером ездили на канал и в туземный город; море стало необыкновенно ласковым, нежным, лазоревых тонов.

В восьмом часу мы подъехали к ресторану с массою столиков на воздухе, за которыми сидели одни мужчины, которые все без исключения были в плоских твердых соломенных шляпах. Служили очень ловкие юноши в красных фесках, с красными подпоясками под самые подмышки, в белых, очень узких и прямых подрясниках. Мы ели необыкновенно вкусный кэбаб, — род шашлыка на коротеньких деревянных палочках, — запивали красным вином, очень терпким и тяжелым.

После ужина немного побродили по городу, где нас не знала ни единая душа. Было даже как-то жутко от радости этого одиночества. Домой вернулись веселыми, довольными, и Ян был так хорошо настроен, что даже читал, по моей просьбе, стихи.

***

Утром было особенно приятно сидеть в кафе, не спеша пить кофий, писать открытки родным, друзьям и знакомым, посылать им праздничный привет — из Африки. Потом Ян томительно-долго ходил по табачным лавкам, где стояли нарядные коробки с папиросами, сигарами и табаком. Выйдя из одной из них, он дал мне коробочку спичек и, смеясь, сказал:

— Я ничего не люблю носить лишнего, носи ты спички, ты будешь моим чубукчи...

Я, конечно, с радостью согласилась.

А после завтрака нужно было уже собираться на пароход.

Пароход был маленький, непонятной национальности. Во втором классе нам удалось получить отдельную каюту, довольно нелепой формы, выходившую в столовую. Быстро, как всегда, Ян разместил вещи, и мы вышли. В столовой увидели очень знакомое лицо человека, о чем-то хлопотавшего.

— Мне кажется, это русский, — шопотом сказал Ян, — пойдем отсюда.

За обедом, кроме нас были еще американцы, большая компания во главе с пастором. Всё больше пожилые, скучные по виду люди. Только два веселых и красивых мальчика, лет десяти и одиннадцати, приятно нарушали впечатление строгости и серьезности.

Вечером покачивало, дул северный ветер. На спардэке мы опять увидали нашего русского, который сидя рядом с очень грузным, с седыми пейсами стариком, что-то читал ему.

— Конечно, это русские евреи! — сказал Ян, — и, конечно, они направляются в Иерусалим. Но где я видел молодого?

— Представь, и мне очень знакомо его лицо... Однако, что-то холодно, вот тебе и Африка! — сказала я, смеясь: — Пойдем-ка спать...

Меня волнует, что Светлую ночь мы проводим в открытом море. Мы долго разговариваем, вспоминаем родных, близких.

***

Перед завтраком Ян разговорился с нашим соотечественником. Оказалось, что это Д. С. Шор. Как же это я не узнала его сразу? Ведь это он вместе с Крейном и Эрлихом воспитывали наш музыкальный вкус на своих «Исторических концертах», в зале Синодального училища, столь родного для меня, ибо с самого раннего детства я бывала в нем еще на детских

концертах Эрарского, когда в оркестре играли мои двоюродные братья и другие знакомые мальчики...

Д. С. Шор со своим отцом плыли в Палестину. Мы решили вместе сойти на берег, чтобы провести несколько часов в Порт-Саиде.

Отец Шора был мне очень интересен. Я никогда не общалась со старозаветными евреями. Мне было даже несколько жутковато с ним. Но он оказался таким милым, добрым человеком, что мы его вскоре полюбили, а впоследствии даже несколько лет сряду обменивались с ним письмами. Он отправлялся в Палестину в полном религиозном напряжении, считая необходимым перед смертью совершить это паломничество. Сын его, насколько я понимаю, был близок к сионизму, но не думаю, что бы он был религиозным человеком, во всяком случае, этого не чувствовалось. К отцу он относился с большой нежностью и почтением, а старик очень гордился сыном.

Порт-Саид — плоский треугольный городок с очень высокими домами, гостиницами, построенными из стекла и железа, с большими кафе, где черномазые мальчишки постоянно тянули нас за ноги, желая несколько раз сряду вычистить нам обувь, или же просто просили у нас бакшиш.

Такого спокойствия на море, кажется, еще ни разу не было за весь наш путь. Несмотря на утренний час, всё уже раскалено. Густо-синяя вода нежно лижет борты нашего судёнышка, приближающегося к Святой Земле, к конечной цели нашего путешествия.

На горизонте показалась полоска земли, ко мне подошел Ян, и мы стали, молча, смотреть.

— Яффа! — сказал он с волнением.

В ПАЛЕСТИНЕ

Медленно плывем к Яффе, на которую уже надо смотреть, подняв голову, плывем по густо-синей воде, мимо огромных камней-рифов. Решаем остановиться там же, где и Шоры, а потому не беспокоимся об отеле, — на берегу встретят. Подплываем к деревянному, очень длинному, на тонких сваях мостку, идем к огромному деревянному строению, где происходит процедура

с паспортами... И, наконец, вступаем в Святую Землю. Гам, крик, звон бубенцов, восточные кухонные запахи, пестрота одежд уже не поражает нас, мы уже чувствуем себя недурно среди всей этой гортанной восточной бестолочи.

Поднимаемся по узким улочкам. Все дома с плоскими крышами. Идем мимо темных открытых лавок, где грудами лежат огромные яффские без зернышек апельсины, лимоны, висят несметные связки чесноку цвета слоновой кости и тут же навалены шевелящиеся омары, лангусты, рыбы...

Отель небольшой, хозяева евреи.

Часа в четыре мы вышли побродить по городу. Ян наменял денег и мы зашли в кофейню в крытых полутемных рядах: мы все больше и больше входим во вкус турецкого кофия и уже привыкаем пить его по несколько раз в день. На площади, конечно, бассейн, небольшой базар; на базаре много ветхозаветных людей, каких мы не встречали ни в Константинополе, ни в Александрии.

Потом мы отправляемся на окраину Яффы, где много вилл, садов с кактусовыми оградами, на которых желтеют бокалообразные цветы, — я никогда не видала кактусов в цвету, — в садах высятся пальмы, и всякие южные растения, затем тянутся целые апельсиновые и лимонные рощи.

Ян говорит о Христе, о том, что он «чует Его живым, каким Он ходил по этой знойной земле»...

Вечером после обеда, за кофием, обсуждали наш дальнейший путь. Остановились на том, что едем завтра в полдень. Д. С. Шора просили играть, но инструмент был не для Бетховена. Он дает на следующей неделе два концерта в Яффе.

Из Яффы в Иерусалим поезд идет только раз в сутки.

С утра мы озабочены, что взять с собой в дорогу из еды. С радостью толкаемся по базару, любуемся грацией девушек с глиняными кувшинами на плече, пугаемся верблюдов, к которым здесь, видимо, относятся, как у нас к лошадям, мальчики в лохмотьях пристают с бакшишем. Оглушают продавцы воды, которые кричат: газез, газез... Но Яффа еще не Палестина в смысле религиозном, здесь только восток, здесь нет ни строгости Иудеи, ни нежности Галилеи. Яффа могла бы быть приморским городом какой-угодно восточной страны.

Ровно в полдень мы трогаемся. Поезд состоит всего из нескольких вагонов.

Мы едем по Саронской долине, довольно пустынной, сплошь

усеянной маком, кое-где видны пашни — работа сионистов. Вот и Лидда и Рамла — крохотные арабские городки с ярко белыми домиками. Много финиковых пальм, кипарисов, но почва здесь каменистая и хлеба́ жидки. Отсюда начинается подъем до Иерусалима, и местность становится иной. Появились сизо-серые камни, столь характерные для Иудеи, ущелья, котловины. Становится жарче. Поезд ползет по извилистому пути.

Минуем ту долину, где Давид сразил Голиафа, где Иисус Навин воскликнул: «Стой, солнце!»... Трудно передать чувство, которое я испытывала именно тут, — это как-бы овеществление Библии, которое меня не покидало потом во все время нашего пребывания во Святой Земле.

Под вечер мы наконец были на вершине этого подъема и увидали крыши, за ними зубчатую стену, скрывающую за собой древний Город.

Отец-Шор сильно волнуется — исполняется его заветная мечта, мечта каждого верующего еврея побывать перед смертью в Иерусалиме, вознести молитвы у Стены Плача. Как всегда в горных местностях, на закате резкое понижение температуры. Мы быстро проходим вокзал, останавливаемся на подъезде его, нас окружают извозчики и наперебой предлагают свои довольно потертые «фаэтоны». Пока укладывают в экипаж вещи, старик Шор закрывает ладонью глаза, и я вижу, как по щекам его катятся слезы.

Мы едем в какой-то еврейский пансион, где решили остановиться на несколько дней, пока не осмотримся. Он находится в европейской части города, то-есть, вне стен Иерусалима, в так называемом Новом Иерусалиме, расположенном на северо-запад от древнего города. Здесь на скатах холмов, много вилл, садов, маслиновых рощ, каких-то больших скучных белых зданий: это всякие приюты, школы, госпиталя, миссии различных вероисповеданий.

Ежеминутно попадаются русские паломники в своих мужицких тяжелых одеждах, францисканские монахи в сандалиях на босу ногу, опоясанные веревкой, евреи с пейсами в круглых черных шляпах (и не только старые, но и молодые), мрачные, греческого типа монахи, наконец, обыкновенные туристы, которые здесь кажутся очень необыкновенными...

Пансион небольшой. Комната наша во втором этаже выходит на какую-то крытую галлерею. На притолке у двери прибита деревянная коротенькая трубочка. Ян объяснил мне, что в ней заключаются десять заповедей.

Вечером мы выходим побродить, без всякой определенной цели. Доходим до западной стены, идем вдоль нее. Ян говорит о Христе.

Дома он вынимает Евангелие и дает Его мне, советуя читать особенно серьезно.

* * *

Проснулись рано. Утро свежее, — ведь Иерусалим лежит высоко над уровнем моря, — на небе ни облачка, воздух необыкновенно прозрачен. Во всем теле ощущение радостного волнения: сейчас мы будем в древнем Иерусалиме...

Мы идем опять к Западным воротам, с грубой средневековой башней. По дороге рассматриваем при дневном свете сарацинскую зубчатую стену, которая скрывает древний город, спускающийся с запада на восток.

Пройдя сквозь темные ворота, мы останавливаемся на крохотной площади и смотрим на Цитадель Давида, окруженную рвами и бойницами. Потом спускаемся по странной узкой улице со сводами, а местами с холщёвыми навесами, делающими ее сумрачной. Сразу охватывает трепет: одно название чего стоит — улица царя Давида! С первых же шагов по Иерусалиму, я ощущаю отличие его от Константинополя, и от Александрии, и даже от Яффы: здесь все строже, серьезнее...

— Вот где надо было бы остановиться! — воскликнул Ян, — в путеводителе указаны гостиницы внутри города и, кажется, именно в этой улице. На обратном пути зайдем и узнаем, если будут свободные номера, непременно переедем.

Дома в Иерусалиме высокие, выстроены тесно, пригнаны стена к стене, а потому даже в местах открытых над головой видишь лишь полоску синего неба. Мы сворачиваем влево в узкий проход, — это тоже улица, — и идем мимо лавок с четками, крестами, образами и священными книгами в прелестных переплетах. Останавливаемся, восхищаемся ими.

Потом мы снова сворачиваем и по извилистой улочке доходим до каменной ограды. Входим в вымощенный каменными плитами двор, идем медленно с какой-то осторожностью и впиваемся глазами в тяжелый фасад Храма. Я с огорчением чувствую, что нельзя обойти Храм со всех сторон, — все вокруг тесно застроено какими-то высокими каменными зданиями.

На мраморной паперти, прямо на камнях, разложены для продажи всевозможные четки, крестики, образки, перламутровые, кипарисовые и другие. Из храма выходят наши паломники, — трогательно видеть их здесь, вдали от родины, в

чуждой им обстановке, истово и с благоговением крестящихся и кладущих земные поклоны. У многих на глазах слезы радости от исполненного обета — поклониться Гробу Господню. И как умиляет какая-нибудь Агафья, с головой закутанной шерстяным платком и с ласковой застенчивой улыбкой.

В портале я вздрагиваю: на каменных нарах сидят турки с папиросами в зубах, развлекаясь шахматами. С бьющимся сердцем переступаю порог Храма. Глаза ослепляет яркий свет восковых свечей всевозможных размеров. Все время испытываю странное чувство: неужели я и впрямь подле Гроба Господня?

Посредине храма-ротонды блещет и сияет золотом образов, огнями свечей и лампад часовня над Гробом Господним. Перед входом в нее очередь, за которой следит черный монах с тонким византийским лицом. Мы еще не решаемся проникнуть туда от какого-то благоговейного страха, от чувства своей недостойности.

Несмотря на ранний час, ротонда полна народом, и поистине здесь все языцы. Трудно даже всех запомнить: тут и католические священники, и францисканцы, и протестантские пасторы в длинных широких сюртуках, и греческие монахи, и наши духовные лица, и монахини в огромных накрахмаленных белых шляпах, и даже какой-то эфиопский архиерей, очень высокий и худой человек со смуглым лицом, в черном клобуке, с ниспадающей на плечи легкой вуалью, окруженный такими же стройными и смуглыми монахами, медленно идущими с какой-то пзящной величавостью. Я уже не говорю о паломниках всех наций, среди которых бросаются в глаза наши мужики и бабы. Да, это единственное место на земле, куда стремятся христиане всех народов, ибо главное, что влечет их всех, одно, и это одно от Бога, а распри, несогласия, раздоры — от людей.

В соседнем греческом соборе нас удивляет пение: до чего оно не похоже на наше, и как ему далеко до нашего! В католических пределах тихо, — вероятно, шли немые мессы. Затем мы поднимаемся по мраморной лестнице в очень маленькую, почти темную церковь, алтарь которой находится на Голгофе... Голгофа — второй этаж церкви. Тут мы довольно долго стоим в сумрачной тишине, в каком-то жутком оцепенении... Православная служба идет внизу, в подземной церкви. Но мы еще во власти впечатления от Голгофы и блеск, пышность богослужения оставляют нас холодными. Возвращаемся из Храма тем же путем. Заходим в отель. Свободные комнаты будут через

два дня. Мы просим оставить одну за нами. Радуемся, что будем жить в самом Иерусалиме.

За завтраком Шор предлагает ехать на следующий день в Хеврон — его отцу надо поклониться могилам Авраама и Сарры. По дороге остановимся в Вифлееме. Мы, конечно, с радостью соглашаемся.

В три часа берем коляску, которая здесь почему-то называется «фаэтоном», и едем на Елеонскую гору, на вершине которой возвышается православный храм. Едем в сторону, противоположную той, по которой ходили утром, огибая стены Иерусалима с запада на восток, минуем восточные, иначе дамасские ворота, затем дорога идет вдоль высохшего русла Кедрона.

Ян указывает мне Иосафатову долину и говорит:

— Это место Страшного Суда. И евреи и мусульмане считают великим счастьем быть похороненными здесь. — И он привел слова пророка Иоиля о Долине Иосафата.

Меня все более удивляет его знание Библии, Корана и его замечательная память.

Дорога поднимается в гору; проезжаем мимо Гроба Богоматери, мимо Гефсиманского сада, — осмотреть его решаем на обратном пути, — потом поднимаемся по склону Елеонской горы. Кругом все те же сизо-серые глыбы, с гнездами ярко-красных маков. Ян указывает в небо: — Видишь, ястреба, как они подходят к этой суровой и беспощадной стране!

Елеонская гора, как я уже упоминала, увенчана православным храмом, очень русским, и он совсем не вяжется с угрюмой пустынностью Иудеи; к тому же, словно нарочно, купола его выкрашены в густой синий цвет.

Мы поднялись на колокольню. Солнце уже клонилось к западу и стояло над Иерусалимом, обливая его золотым блеском; на востоке мы различили ярко-голубую полоску — Мертвое море.

У Дамасских ворот мы отпускаем извозчика и идем в Иерусалим тем же путем, каким шел Христос на Голгофу, то-есть по «Виа долороза». Всё время этого крестного пути мы находились в каком-то напряженном состоянии и сейчас, когда я пишу, я еще испытываю жуткое чувство...

* * *

Поездка в Хеврон оставила во мне радостное, веселое воспоминание.

Погода была ровная, тихая, солнце поднималось все вы-

ше и выше, говорило нам, что мы в Иудее, и опять вызывало в нас страх, что у Яна нет пробкового шлема. На мне была крымская войлочная шляпа, — защита надежная. Удивлял нас Шор-отец своей прочной, тяжелой одеждой и черной шляпой. Он, шутя, говорил, что кровь его древняя, а потому никакой зной ему не опасен.

Сначала мы все спускаемся по направлению к Яффе, а затем, в долине Гигонской, сворачиваем на юг и поднимаемся до равнины Рефаин. Волнистый простор,залитый солнцем и замыкающийся на востоке горами, яркие зелени, встречные овечьи отары с ветхозаветными пастухами в полосатых абаях придают всей этой местности живописный и радостный вид.

Шор-отец рассказывает, что по всем этим скатам в древности цвели орошаемые каналами сады с огромными цистернами. Ян вспоминает об «опаленной солнцем девочке, ждавшей в винограднике возлюбленного»...

А передо мной встает мое детство, моя первая встреча с Ветхим и Новым Заветами. Вот об этой книге я и вспомнила при виде пастухов, шедших под Вифлеемом со своими стадами.

На восточном склоне холма зажелтели густо столпившиеся дома: Вифлеем!

Это небольшой городок, окруженный возделанными полями, с возвышающимся над ним храмом Рождества Христова, перед которым мы остановились. Церковь двухэтажная, тоже какая-то радостная. На полу в нижнем храме — звезда, место, где находились ясли.

Мы долго стояли на белой лестнице храма, под сводчатым каменным навесом. Солнце поднялось высоко и радостно заливало и этот счастливый из счастливых городов, и просторную долину, к востоку холмистую, замыкающуюся Моавитскими горами, родиной Руфи...

Не помню о чем шел разговор, но помню, что Ян неожиданно прочел:

Был Авраам в пустыне темной ночью
И увидал на небесах звезду:
«Вот мой Господь!» — воскликнул он. Но в полночь
Звезда зашла и свет ее померк.

Был Авраам в пустыне пред рассветом
И восходящий месяц увидал:
«Вот мой Господь!» — воскликнул он. Но месяц
Померк и закатился, как звезда.

Был Авраам в пустыне ранним утром
И руки к солнцу радостно простер:
«Вот мой Господь!» — воскликнул он. Но солнце
Свершило день и закатилось в ночь.

Бог правый путь поведал Аврааму.

В Вифлееме мы завтракали, и Ян, наконец, купил себе пробковый шлем.

Местность после Вифлеема резко изменилась, стала скучнее и угрюмее — настоящая Иудея. По пути в Хеврон мы почти совсем не видели возделанной земли — только сизо-серые глыбы и повсюду мак. (Наши спутники передают нам легенду: каждую весну кровь убитых на этой земле выступает и окрашивает эти цветы). До самых водоемов Соломона полное безлюдие. Мы осмотрели знаменитые водоемы Соломона. Перед ними — остатки крепости Саладина, далее три огромных цистерны.

Наше внимание отвлекается черными козами, рассыпанными вблизи третьего водоема среди серо-сизых камней; на одной из них сидит пастух-бедуин и играет на свирели.

— До чего это хорошо! — восклицает Ян: — Только это даже не из Ветхого Завета, а из жизни гораздо более дикой...

Близ Хеврона появились темно-зеленые дубы, под ними на террасах столетние маслины, виноградники. Навстречу стали попадаться верблюды, которые продолжают удивлять меня, — все кажется, что это что-то не настоящее.

Шор-отец опять волнуется, опять что-то бормочет, закрывая глаза, покачивая головой.

Хеврон в руках мусульман. В самое святилище, где покоится прах Авраама, Сарры и Исаака и которое похоже на какую-то крепость, никого не пускают, кроме правоверных.

Дома все из серого камня, улочки, по которым мы идем, грязны даже для восточного города. За нами издали следует свора мальчишек, мы ловим на себе неприязненные взгляды людей в фесках. Когда мы завернули в улочку, ведущую к гробницам, я вдруг почувствовала удар камня в поясницу.

Шор-отец грустно сказал:

— Они ненавидят главным образом нас, евреев; за что пострадала Вера Николаевна, не понимаю... Это несправедливо...

Из Хеврона мы возвращаемся другим путем, хотим поклониться могиле Рахили.

На вечерней заре, которая была необыкновенно прелестна своей мягкостью, мы проезжали мимо пещеры пророка Иеремии. Остановились и направились к ней. Ян впереди всех. Когда он был почти у входа, мимо него стремглав пролетел какой-то зверь.

— Шакал! — радостно крикнул нам Ян, обернувшись.

В полной темноте мы издали увидали маленький огонек.

— Это в гробнице Рахили, — объяснил извозчик.

Гробница ее — небольшая белая ротонда под куполом.

Мы обходим кругом; в крошечные окошечки виден свет, кругом тишина, пустынность, звезды. Шор-отец скорбно прислонился левым плечом к стене гробницы...

Вдруг какой-то крик, шум, точно на базаре. Что такое? Какие-то молодые евреи затеяли скандал не то с нашим извозчиком, не то друг с другом. И все ощущение поэзии этого мирного вечера над могилой пра-матери сразу куда-то исчезло. Я взглянула на Яна, лицо его было гневно.

В полном молчании мы доехали до дому.

После обеда мы обсуждали дальнейшие наши планы: решили на следующий день под вечер выехать в Иерихон, ночевать в нем, а на рассвете быть на Мертвом море, чтобы встретить там восход солнца.

* * *

— Одевайся скорей, — сказал весело Ян, — пойдем к Стене Плача. На обратном пути зайдем в гостиницу и скажем, чтобы сегодня прислали за нашими вещами, а завтра прямо с дороги поедем туда. Мне до невозможности надоела баранина во всех видах. Да и хочется пожить хоть немного в центре древнего Иерусалима.

Я не заставила долго себя ждать, и мы быстро пошли нашим уже обычным путем в старый город. Пройдя по улице Давида несколько дальше той улочки, которая ведет к Храму Господню, мы свертываем вправо и, спускаясь по уступам, попадаем в узкое замкнутое пространство. Восточная сторона его — высокая каменная стена; это и есть «Стена Плача», главное святилище евреев; некогда она была частью укреплений, окружавших Храм Соломона, ныне же — часть внешней стены, идущей вокруг мечети Омара.

Еще издали до нас доносился страшный гул, вернее какой-то стон, а когда мы подошли совсем близко, то этот стон превратился в душу раздирающий вопль, такой страстный, что я никогда ничего подобного не могла даже вообразить. Впечат-

ление необыкновенно сильно, и я кое-что начинаю понимать в этом сложном, не всегда понятном и энергичном народе.

В гостинице, отдохнувши после завтрака, мы увязали наши чемоданы, за которыми должны были прислать из нашего будущего отеля.

Д. С. Шор очень смущенно спросил нас, не будем-ли мы иметь что-либо против, если с нами поедет его знакомый:

— Ведь есть лишнее место в экипаже... и поездка обойдется таким образом дешевле. Кроме того, он там все знает, будет у нас за гида...

Не согласиться было нельзя; мы только пожалели, что вместо милого старика Шора, который как-то хорошо сливался с этой страной и своей религиозной напряженностью давал нам ощущение древней Иудеи, с нами едет какой то неизвестный человек.

— Ох, боюсь, что этот господин испортит нам всю поездку, — сказал Ян. — Вот что значит связываться с чужими людьми! Нужно всегда путешествовать одним.

В четвертом часу мы усаживаемся в фаэтон. Наш новый спутник — худой, среднего роста человек лет тридцати, с тросточкой и в соломенной шляпе, еврей, очень смешно говорящий по-русски.

До Вифании мы не останавливались и уже как на знакомые места смотрели на Кедрон, Иосафатову долину, на Гефсиманский Сад, на Елеонскую гору.

Вифания — последний этап перед пустыней, мы делаем здесь первый краткий привал. Входим в крохотное селение, состоящее из серых домиков, фиговых деревьев, кривых улочек, чумазых детей, убогих стариков и мясистых кактусов. В могилу Лазаря нужно спускаться с зажженными свечами вниз по каменной лестнице со стертыми ступеньками. Вспоминаются прежние представления о ней... Как все это не похоже на то, что создавало воображение в детстве!

От Вифании мы спускаемся. И спускаемся довольно долго. Вокруг очень красиво, но красота особенная, — все дико, каменисто. Но и тут я испытываю не разочарование, а удивление. Пустыню я всегда воображала себе песчаной, похожей на Сахару, а тут совершенно не то. Наша дорога змеится среди каких-то оврагов, угрюмых холмов, котловин; а за ними — ущелья, скалистые обрывы. Бесплодие полное, даже мака меньше. Тишина... Если наш новый спутник замолкает, — он все строит планы о орошении Палестины и чуть-ли не превращении

этой каменистой пустыни в цветущий сад, — то ничего не слышно, кроме цоканья копыт.

Второй привал мы делаем у «Источника Апостолов», чтобы попоить лошадей.

Наш новый спутник опять восторженно заговорил о водопроводе, но мы оставили его с Шором, а сами отошли и стали разглядывать бедуинов, которые тоже поили своих коней. Бедуинов было несколько, но наше внимание привлек один, очень высокий, худой, весь обвешанный оружием. Ян внимательно рассматривает и запоминает его сложный костюм.

— Как странно, — говорю я, — в такой знойной стране, они так тепло одеваются, посмотри, ведь на нем под абаей еще теплая ватная кофта!

— Значит, так и надо, — отвечает Ян.

Затем мы едем вдоль извилистого дна Вади-Эль-Хоть. С перевала уже хорошо видно Мертвое море. Моавитские горы, заслоняющие восточный горизонт, кажутся очень легкими. Спуск крутой. Спустившись в долину, мы решаем сначала ехать к горе Искушения.

У подножия ее — источник пророка Елисея. Тут мы выходим из экипажа, и наш спутник без умолку говорит что-то о возможности использования этого источника для какого-то коммерческого предприятия. Ян быстро, быстро поднимается на первую волну горы. Его изящный силуэт в шлеме отчетливо выделяется на ее уже почти черном уступе. Я стою с Шором, который говорит мне, что он теперь переживает почти то же, что переживал здесь Христос, и не знает, удастся ли ему победить искушение... Я слушаю и не понимаю, о каком искушении речь; с восхищением слежу за Яном, — до чего он сейчас красив, легок, весь подобран...

В Иерихон мы приехали, когда совершенно стемнело. Наш спутник опять стал развертывать перед нами свои планы насчет воды. Ян делался все мрачнее и мрачнее, Шор впал в раздумье, и так прошел весь обед.

Когда мы остались одни, Ян обрушился на меня:

— Какое мне дело до его воды? Как он не понимает, что значит для нас Гора Искушения?

— А знаешь, что Шор говорил мне, пока ты взбирался на гору? Что он переживает теперь свою гору Искушения.

— Не может быть!

— Уверяю тебя...

Ночь была тропическая. Звезды поражали своей величиной, в воздухе, напоенном всевозможными ароматами и огла-

шаемом жабами и звоном цикад, мириадами носились зеленые блуждающие огни.

— На дворе легко схватить лихорадку, пойдем спать, — сказал Ян, — ведь завтра нас разбудят на рассвете...

Но спать от невероятного количества москитов, блох и всяких других насекомых и думать нечего. Выскакиваем из наших кисейных клеток и выходим на каменный двор, затем в сад, где садимся на скамью. Сидим, зачарованные красотой этой совершенно новой для нас ночи. Сидим, молчим, потом медленно ходим под высокими деревьями, которые в темноте кажутся исполинскими, проходим мимо каких-то кустов, пахнущих остро, крепко, сладко.

— Здесь должен расти небд, — говорит Ян, — кустарник, который приносит акриды и терновник, из которого сплетен был венок Христу...

— А я думала, что акриды не растения, а насекомые, — сказала я.

Потом мы снова возвращаемся в комнату, снова пытаемся заснуть, но все напрасно. Еще более искусанные, мы опять спасаемся в сад.

Так иерихонские насекомые подарили нам незабываемую ночь и тот предрассветный час, когда наступает такая тишина, что кажется, в мире происходит как бы слияние земного с небесным.

* * *

Выезжаем очень рано. Одна за другой начинают гаснуть крупные звезды, всех дольше борется со светом красавица Венера, которая выбралась в небо довольно высоко. Над лиловатым Моавом небо начинает оживать. Еще носятся летучие мыши, и Ян рассказывает дамасскую легенду о том, как Христос во время своего сорокадневного поста сотворил летучую мышь, начертав на песке ее образ, — чтобы она указывала часы молитвы, вылетая из своей норы.

Вокруг расстилаются пески, попадаются колючие кустарники, покрытые солью. Да, здесь уже всем существом ощущаешь пустыню, и тишина уже кажется естественной. Порядочно отъехав, решаем остановиться, чтобы встретить восход солнца. Кто редко встает на утренней заре, всегда волнуется, встречая восход солнца. Поднимаемся на пригорок и ждем. Моав посветлел, стал гелиотроповым, а небо над ним все разгорается и разгорается. Наш новый спутник, возбужден и быстро-быстро говорит:

— Вот, подождите, когда начнет вырываться солнечный шар!..

И когда этот шар «вырвался» и залил своим блеском всю лежащую перед ним страну, мы сразу почувствовали всю мощь его и тот страх, который он внушал древним и заставлял обожествлять себя. Недаром по всей этой пустыне разбросаны огромные каменные диски, которые попадались и нам на пути, — жертвенники Ваалу-Солнцу.

Но пора ехать. Обсудили, куда раньше: к Иордану, или к Мертвому морю? И чем дальше ехали по этой пустыне, тем становилось все теплее, а затем все жарче и жарче.

Иордан на первый взгляд — небольшая речка средней России, — в камышах, под ивами, но когда приглядишься, то различишь среди этих плакучих ив лианы. Берег крутой, местами обрывистый. Вода, как в омуте, бурлит, крутится, мутная, желтая.

Мы с Яном идем немного вверх по течению. Как-то не верится, что это именно было здесь Крещение Господне, и в то же время непередаваемо-сладостно сознавать, что это не сон, что мы на Иордане, на той самой реке, которая с детства казалась находящейся в каком-то не нашем мире.

Я плохо помню дорогу от Иордана к Мертвому морю. Помню лишь, что зной все усиливался и усиливался и что стало ужасно клонить ко сну. Бодрость поддерживало только сознание, что скоро мы будем у Мертвого моря. Меня оно интересовало не только с библейской стороны, как место гибели Содома и Гоморры, а еще и с геологической и физико-химической. Ведь это единственное в своем роде на земле явление: вода здесь насыщена таким раствором всяких солей, и удельный вес ее настолько велик, что человек плывет, как щепка. И все живое в нем гибнет. Даже на известном расстоянии от него Иордан катит свои воды между голых берегов, — деревья точно боятся приблизиться к нему.

Но вот мы и у цели, на берегу моря, вода которого даже на взгляд очень маслянисто. Мы опускаем в воду руки, испытывая очень странное ощущение от ее плотности, а когда вынимаешь руку чувствуешь жжение.

Потом сидим, отдыхаем — уже в каком-то отупении и от жары, и от желания спать. Песок становится раскаленным. Пора уезжать. Бросаем последний взгляд на мглисто-голубые горы, на окутанные дымкой дали, на маслянисто-зеленоватую воду и едем.

— Мы теперь ниже всех, — смеясь говорит Ян, — ведь

это место — на самой низкой точке земли по отношению к уровню моря...

Обратный путь я помню, как во сне, он был очень тяжек.

Близ Иерихона попался нам навстречу одиноко шествующий с высокой палкой в барашковой шапке и с котомкой за плечами наш мужичок, идущий на Иордань. Остальной путь я почти все время спала, склонив голову на колени Яна. Сквозь сон слышала, как сговаривались завтра идти осматривать мечеть Омара, что Шору уже обещаны пропуска туда, что он зайдет за нами завтра утром, что после-завтра он уезжает в Яффу давать концерт. Затем я перестала слышать, засыпая на некоторое время, как убитая, затем просыпалась и давала возможность заснуть Яну.

В новом отеле публика была уже иная, чем в прежнем пансионе, больше всего было магометан в фесках и чалмах, у которых вокруг чалмы зеленый шелк — отличие побывавших в Мекке. Правоверные едят руками, не признавая ни вилок, ни ножей.

Вечер мы провели на крыше нашего отеля. И до чего там было хорошо!

* * *

С Шором, который зашел за нами со своими знакомыми в 9 часов утра, мы направляемся к Сиону, к могиле царя Давида. Близ нее провалившаяся могила, вся в маках. Я сбегаю и срываю целый пук этих прелестных цветов, выносящих лишь одно прикосновение... Потом мы направляемся к огромным крепостным воротам, выходящим на улицу Давида. Пройдя мимо Судилища Соломона, мы вступаем на ослепительно белый двор. Не буду описывать мечети Омара, скажу лишь то, что навеки сроднилось с моей душой: сверкающая белизна ее двора с темными кипарисами (напоминавшими мне картины Беклина), массивное великолепие храма, стоящего на мраморном возвышении и отливающего светло-желтым кафелем и голубым фаянсом, а внутри мечети — огромный, черный, шершавый камень под зеленым балдахином, — скала Мориа, — яшмовые и порфировые колонны, сохранившиеся со времен Храма Соломона, мозаики, похожие на парчу, и запах кипариса с запахом розовой воды...

Дома за завтраком Ян рассказывает мне о камне Мориа, на котором по преданию, Авраам приносил Исаака в жертву Богу. В Храме Соломона он находился в Святилище, на нем хранились ковчег завета, который и до сих пор скрыт под ним,

расцветающий жезл Аарона и урна с манной. А магометане верят, что на эту скалу Магомет совершил на верблюдице-Молнии путешествие в одну ночь из Медины и стал на нее, качающуюся между небом и землею.

После обычного краткого отдыха идем к Гробу Господню.

В этот час храм почти пуст. Мы поднимаемся на Голгофу и некоторое время остаемся в этой полутемной маленькой церкви. Затем идем к залитой светом часовне. Проникаем в нее через довольно узкий вход и слепнем от целого костра свечей. Перед нами простая, в человеческий рост, плита, перед которой невольно опускаешься на колени. Я отказываюсь передать то, что я ощутила, почувствовала. Это особенно трудно мне теперь, так как в то время я все-таки совсем не так, как теперь, относилась к этому месту. Чувство, какое у меня было тогда, было правильно, но объяснение его в связи с моим отношением к миру, Богу, было неверно. Между прочим, я говорила себе, что это место свято потому, что нет почти ни одного места на земле, куда приносили-бы люди столько молитв, слез, печалей... Теперь я понимаю иначе святость Его.

Встретившись с Шором, который всегда приводит с собой кого-нибудь, в назначенном месте, мы долго бродим по улицам этого сложного города, проходим мимо каких-то монастырей. Нам рассказывают, что недавно в одном из них постриглась в клариссы шестнадцатилетияя девушка. Мне показалось почти чудовищным — уйти совершенно из мира, не видеть никогда ничего, кроме стен своего монастыря. Я еще не знала, что именно клариссы испытывают, может быть, самое большее счастье на земле...

Потом мы посетили ту горницу, где была Тайная Вечеря... Небольшая, с низким потолком комната, неправильной формы, длинный узкий стол...

Вечером мы простились с Шором. На следующий день он покидал Иерусалим, ехал в Яффу давать концерты, потом в еврейские колонии.

* * *

Еще накануне нас стали беспокоить руки Яна, они очень пострадали от укусов иерихонских насекомых. А потому, как встали, то прежде всего пошли в аптеку, где прописали смазывать вспухнувшие места какой-то желтой мазью.

Яну очень хотелось объехать верхом вокруг стен Иерусалима. Я была так перегружена впечатлениями, что с удовольствием осталась дома. Пока было еще жарко, я писала письма,

а когда солнце склонилось к западу, я поднялась на крышу, где и просидела до самого возвращения Яна.

Сначала я просто сижу, не думая ни о чем, только созерцая всю эту страну, такую своеобразную, почти без растительности, в серо-сизых валунах и красных маках... Затем внимательно смотрю на этот единственный по своей святости город в мире, на грациозную, высокую и тонкую пальму одиноко поднимающуюся над домами с южной стороны, на Мечеть Омара, над которой блестит на темно-синем куполе трех-аршинный полумесяц из чистого золота и которая свой роскошью нарушает строгую суровость этого слитого как-бы в один дом города. Потом поворачиваю голову и долго смотрю на черный купол Храма Господня.

Внизу подо мной водоем, в котором Давид увидал купающуюся Вирсафию. Я вижу, как из одного окна опускается в него кожаное ведро.

Затем думаю об Яне, которого я еще вполне не понимаю. Слишком он ни на кого не похож, и часто ему не нравится то, что я привыкла считать чуть ли не за непреложную истину. Он, правда, ничего не навязывает, только бросит какое-нибудь замечание, — если сразу не схватишь, не поймешь, то разъяснять не станет, не станет и убеждать. Например, я вижу, что отец Шор нравится ему больше сына. Он ставит сыну в минус его «интеллигентское» отношение к миру. Но сам он этого не говорит прямо.

Я так задумалась, что не слыхала, как подошел ко мне Ян, веселый, и спросил, не скучала ли я?

— Нет, нисколько. Здесь необыкновенно хорошо. А ты хорошо проехался?

— Отлично! — сказал он. — Вот бы еще съездить к Савве Преподобному! Жаль только, что туда не пускают женщин, а оставлять тебя на целый день одну мне не хочется.

Затем он вынул записную книжечку и что-то записал в ней.

— Ты много записываешь? спросила я.

— Нет, очень мало. В ранней молодости пробовал, старался, по совету Гоголя, все запомнить, записать, но ничего не выходило. У меня аппарат быстрый, что запомню, то крепко, а если сразу не войдет в меня, то значит душа моя этого не принимает и не примет, что бы я ни делал.

* * *

Я забыла рассказать об анекдоте, который произошел с нами: когда мы высадились в Яффе, то наши паспорта были от-

даны вместе с паспортами Шоров, а взамен их нам были вручены какие-то розовые билеты, которые, как оказалось, выдавались только евреям, не имевшим полной свободы передвижения. Узнав это и собираясь проехать в Галилею сухопутным путем, мы естественно захотели получить обратно наши документы и отправились к русскому консулу, надеясь, что он поможет нам выйти из нашего анекдотического положения. Но этот высокий, худой человек встретил нас очень сухо и, выслушав в чем дело, отказался нам помочь, посоветовав обратиться к консулу в Яффе.

— Да и чем вы мне докажете, что вы не еврей? — сказал он Яну.

За завтраком телеграмма от Шора:

«Послезавтра отходит пароход в Бейрут, если едете, то будьте завтра в Яффе».

Часа в три идем еще раз в Храм, по дороге покупаем Библию на тончайшей бумаге, а на паперти Храма кипарисовые четки, перламутровые образки, деревянные кресты и ящички. Я иду святить их к Гробу Господню. Опускаюсь на колени, кладу их на Плиту, рядом стоящий монах окрапляет их святой водой, читая молитву...

Потом в последний раз бродим по городу; еще раз прошли по виа Долороза, мимо дома Пилата, где я мысленно вижу его руки, белое полотенце, серебряный кувшин, из которого льется вода... Я думаю о всех близких, которые верят по настоящему, особенно о отце, и жалею, что они лишают себя радости поклониться этим Святым Местам. Ян очень серьёзен, почти все время молчит, но молчит приятно, выражение лица его грустно-спокойное.

К закату возвращаемся домой. Предупреждаем, что завтра уезжаем. Поднимаемся на крышу и бросаем последний прощальный взгляд на золотой закат, на побледневший Моав, на строгий каменный город, на суровую пустынность этой загадочной священной страны...

В. Мурожцева-Бунина

КАК Я ХОДИЛА В НАРОД

(1873-1874 г.г.)

Когда человек описывает события через 40 с лишним лет после того как они происходили,* вполне понятно, что он не может изобразить прошлое с точностью и так подробно, как все было на самом деле. Имена, даты и многие характерные черты лиц ускользают из памяти; не трудно перепутать время появлений того или другого товарища на сцене жизни. И даже собственные отлучки, отъезды и приезды невозможно определить с точностью. Мне, по крайней мере, это не удается.

Организация революционных сил шла тогда по всей России; и в Киеве, где я жила, она проявлялась не менее интенсивно чем в обеих наших столицах. Южане, элемент горячий, давали богатый материал для образования партийной работы не только для народа, но и с народом. Да и по всем сборным пунктам России решительно господствовало направление, ведшее нашу интеллигенцию к непосредственному сближению с народом. Очевидно, процесс «каракозовцев» и, особенно, процесс «нечаевцев» уже наметил переход от кабинетного, чисто литературного способа работы к непосредственному приложению ее среди народных масс. А потому и революционное движение молодых умов начала 70-х годов естественно склонялось в сторону проникновения и в деревню, и на фабрику, и на заводы. Точно сговорившись, и в столицах, и в глухих местах, молодежь мечтала о тесном сближении с рабочим людом. И разница в отношении к этому вопросу заключалась лишь в том, что одни спешили в народ для того, чтобы сначала привить себе все навыки мужицкой жизни и чувствовать

---

* Эта рукопись была написана Е. К. Брешковской в 1918 году. Она печатается впервые. Рукопись хранилась в архиве В. М. Зензинова. РЕД.

себя свободными в положении рабочего человека; чтобы уметь внушать к себе полное доверие со стороны простолюдина; другие постарше и более опытные смотрели спокойно на предстоящую революционную работу среди новой стихии и старались подобрать себе годные для этой цели молодые силы.

Ознакомившись достаточно с составом киевской молодежи, намеренной принять участие в общем движении осенью 73 года, я решила отправиться в Петербург, чтобы выяснить себе в подробностях положение тамошних дел. Оставивши Киев, я погрузилась в суетливую и напряженную обстановку петербургской жизни. Здесь планомерная организационная работа началась значительно раньше. Ядро чайковцев успело и само распуститься в широкую и крепкую организацию и образовало вокруг себя много ячеек, в которых молодежь имела возможность набираться теоретических и практических знаний, а также пробовать свои силы, ведя пропаганду на фабриках и в мастерских. В Петербурге вся работа велась много гуще и интенсивнее чем где бы то ни было. Сюда собиралась для справок и ознакомления с ведением дела молодежь с разных концов России; все это представляло больше опасностей и вызывало большую конспиративность. Мне, закоренелой провинциалке, было бы очень трудно ориентироваться в такой сложной и кипучей среде, если бы не мои 29 лет и не моя всегдашняя привычка наблюдать и постоянно обдумывать вопросы социальных отношений и способы их разрешения к всеобщему благополучию. И молодежь со своей стороны интересовалась человеком, долго жившим в провинции, принимавшим участие в работах земств и в разных культурных начинаниях по своей собственной инициативе. Прослышав обо мне, молодые революционеры стали охотно меня навещать, привлекать все новых и новых знакомых и сделали меня популярным человеком в своей среде. Кроме того, я встретила здесь и старых своих знакомых: Ковалика, Каблица. Здесь же сблизилась я с Софьей Александровной Лешерн фон Герцфельд, потом так много значившей в истории наших сибирских страданий. Там же пришел ко мне Лизогуб, которого я знала еще у себя на родине 10-летним мальчиком. Теперь это был молодой студент, озабоченный тем, как бы производительнее употребить доставшееся ему большое наследство. Он уже тогда казался чрезвычайно серьезным и искренне преданным делу народа. Он как бы ждал советов и указаний, но я ничего определенного ему не сказала. Относительно юной молодежи я

всегда была осторожна и предоставляла ей самой испробовать свои силы на той или другой работе, прежде чем остановиться на роковом выборе. Я всегда была так же сдержанна и по отношению к имущественной стороне, входивших в организацию. Относительно же Лизогуба я и не предполагала, что такой молодой человек, проведший свое детство в богатой и аристократической обстановке, уже решил сам для себя, отдаться всецело и бесповоротно борьбе за права и благополучие своего народа. Все, знавшие его потом, его товарищи по процессу, высоко ценили благородство и мужество этого безвременно погибшего борца. Он не успел совершить и десятой доли, задуманного им.

В разных частях столицы уже были образованы мастерские, где молодые революционеры обучались кто кузнечному, кто столярному, кто сапожному мастерству. Некоторые из них поступали молотобойцами и другими учениками в уже готовые мастерские. Радовались и гордились успехами. Женщины, особенно молодые курсистки, искали работ на фабриках и тоже весело рассказывали о своих успехах, о новых знакомствах и курьезах новой обстановки. Была зима, а к лету надлежало уже быть готовыми к выступлению «В народ», отправиться кому куда удобнее. Намечались лица, которые должны были оставаться по городам, чтобы поддерживать сношения между рассыпавшейся братией, чтобы держать в курсе того, что делается по России, немногие центральные учреждения. Приготовления шли чрезвычайно живо и люди, отдавшие себя во власть организации, чувствовали себя бодро и смело. Особенно спокойно относились к будущему те, кому было заранее известно, какой дорогой ценой придется им расплачиваться за их попытки вывести свой народ из мрака и нищеты. Товарищи моих лет, а таких было очень мало среди волн юной молодежи, наслышались еще от своих родителей рассказов о том как Николай Павлович расправлялся с героями декабрьского восстания. Рассказы эти глубоко западали в юное воображение, закаляли волю человека. Стремление бороться с сильным деспотом не слабело, а крепло, решимость становилась бесповоротной. И уже тогда, глядя на подростающих борцов, я считала своим долгом предупреждать их о неизбежных опасностях. Армия, собиравшаяся в народ, была действительно совсем юной. Большинство из них было от 16-ти до 20 лет. Меньшинство от 20-ти до 25. И только кое-где встречались товарищи под 30 лет. Они и назывались стариками. Но вся эта армия в целом жила высоким

подъемом. Все верили, что идут выполнять свой священный долг и значительное большинство действительно выполняло свое призвание. Отрезвление всего русского общества после Севастопольской кампании, вызвавшее радикально-прогрессивные реформы и, главное, литература таких писателей, как Чернышевский, Добролюбов, Лавров, Писарев действовали на умы читающей молодежи, как восход солнца на путь заблудившегося в пространстве путника. Смутно томившаяся бездельем и неправдой молодежь давно рвалась к жизни деятельной, общественной, но без руководящих идей и их освящений ее силы, напряжение ее ума и фантазии часто направлялись на ложную дорогу и, не успев оформиться во что-либо действительно разумное, распылялись в мелочах, в ничтожных порывах и поступках. И вдруг открывается широкое поле бесконечных работ; возможность развернуть свои силы во всю ширину и глубину народной жизни. Так, по крайней мере, преувеличенно надеялась молодежь.

Кружок чайковцев уже 10 лет занимался выпуском переводов лучших европейских писателей, допущенных в этот либеральный момент в Россию. И на всех этих книгах воспитывались кружки молодежи, не только гражданских учебных заведений, но и военных. Юнкера Михайловского и Константиновского училища нанимали комнаты для своих научных занятий. Вели там оживленные беседы, углубляясь в вопросы истории, в политические вопросы и проникаясь теорией Дарвина. Впоследствии из этих кружков вышло немало и людей науки и общественных деятелей. Но не всем им пришлось спокойно работать в России; гонения на добросовестных людей усиливались с каждым годом. Но в то время о котором я говорю, т. е. зимою 1873 года, кружки уже заменились сходками и, хотя по прежнему конспиративно, но собирались уже не единицы и не десятки, а сотни молодых людей. И помещения для сходок уже не нанимались, а обыкновенно уступались на время либо сочувствующими, либо группой товарищей, освобождавших самую большую комнату от всякой мебели. Для меня лично не было нужды в этих сходках, там обсуждались и решались вопросы мною уже принятые бесповоротно. Сама же я выступать с речами не хотела отчасти по застенчивости, отчасти и потому, что мои взгляды на революционную работу довольно резко расходились со взглядами тогдашнего большинства. Чайковцы, пустившие глубокие корни в Петербурге, руководствовались в своей деятельности и пропаганде основами учения Лаврова, придавая большое зна-

чение воспитанию личности, направляли деятельность своих адептов как к самовоспитанию, так и воспитанию народных масс в вопросах политических и социальных. Их метод воздействия был обстоятелен, но слишком медлителен. Я же на протяжении 10 лет самостоятельно проходила этот метод, живя в деревне, имея постоянное сношение с крестьянами, как частным образом, так и по делам земства, тогда широко и либерально поставленного. Мне были близко знакомы нравы и понятия крестьян, я хорошо разбиралась в их психологии, а потому идти в народ для изучения этих его сторон, мне не было надобности. Знала я также насколько трудно, почти невозможно было вести сколько-нибудь правильно культурную работу среди народных масс. И после долгого раздумья, после еще нескольких начинаний, каждый раз разбивавшихся о преткновения полицейского характера, я решила расстаться со своим призванием, со своим любимым делом созидательной, творческой работы и направить свои силы на борьбу с препятствиями, нагромажденными всем прошлым истории русского народа, на чисто революционную и, если нужно, террористическую работу. При том я уже тогда была полулегальным человеком. Надзор надо мной и над моей перепиской всюду преследовал меня по предписанию 3-го отделения. Таким образом, направление моих мыслей и решений сильно уклонялось от теорий проводимых чайковцами и ближе стало к настроению бакунинцев, шедших в народ с целью поднимать восстания по разным местам, где находили удобную для этого почву. С С. Ф. Коваликом, другом детства нашей семьи, тоже уже поработавшим в провинции, мы были согласны в наших планах и решениях. И оба искали себе подходящих сотрудников.

Все-таки по настойчивому приглашению Верочки Рогачевой, 17-летней фиктивной жены Дмитрия Рогачева, офицера-артиллериста, сына богатого орловского помещика, освободившего этой женитьбой из под власти сурового, недоброго отца, Веру Павловну Карпову — горячую голову и благородное, великодушное сердце, — по ее настоянию я все же отправилась на ближайшую сходку, устроенную чайковцами и бакунинцами для генерального сражения.

Войдя в помещение, мы едва пробрались сквозь плотную стену молодых крепких спин и все-таки не могли дойти до средины и остановились у входа. Люди стояли так тесно как в церкви на Пасху. Две довольно просторные комнаты были битком набиты, а над головами носился синий дым, едва вы-

ползавший в открытую форточку. Женщин было совсем мало. Я решила было молчать, но когда Николай Аполлонович Арушин, ближайший товарищ Чайковского, стал беспощадно порицать намерения «бунтарей», я горячо вступилась и резко выразила свое мнение. Да так резко и коротко, что сказать было больше нечего. И я, недовольная собой, продвинулась вперед, где стояла небольшая группа женщин. Верочка Рогачева встретила меня словами: «На наших сходках в первый раз женщина заговорила», а я подумала: «И как неудачно». Но сейчас же за мной заговорил Каблиц — он тоже горячился. Лед был сломан и речи полились одна за другой до позднего часа ночи. Масса молодежи слушала внимательно. Шума, гвалта не было. Зато табачный дым плавал густыми облаками. Заметно было внимание и напряжение мысли. Выходили не спеша, молча и бесшумно. Необходима была большая осторожность. Больше я не ходила на многочисленные собрания, но стала посещать группы молодежи, жившей или работавшей вместе. Была у курсисток Калининских курсов. Других женских курсов в Питере не было. Меня позвала в свою маленькую общину Женя Судзиловская, стройная, серьезная девушка. Она с несколькими подругами жила в простой квартире и застала я их за обедом — они ели крупные соленые огурцы и краюху черного хлеба. Самовар кипел, на блюдечке лежало несколько кусков сахару. Такая трапеза меня поразила. Я знала, что девушки по своему материальному положению могли есть много лучше. И хотя я была в курсе того ригоризма, какой наложила на себя молодежь, шедшая в народ, и сама разделяла его, все-таки, при виде больших желтых огурцов и решетного черного хлеба, я с некоторой тревогой посмотрела на лица девушек. Они не носили отпечатка лишений и даже были веселы. Каждая из них уже наметила себе свою позицию в деревне или на фабрике и разговор наш вращался вокруг предстоящей работы. После обеда девушки взяли свои тетрадки и книжки и отправились кто на дежурства, кто на лекции. Посещала я и мужскую молодежь, но больше в мастерских. В одной из них работало несколько студентов и юных артиллеристов. Среди них выделялся своей наружностью и своей энергичной работой Александр Осипович Лукашевич. Большие черные глаза, черные торчащие волосы и плотная мускулистая фигура. Всегда серьезный и всегда за работой, Александр производил впечатление крепкой, устойчивой физической и моральной силы. Таким он и остался навсегда, несмотря на то, что жизнь сильно трепала его, нанося

беспощадные удары его принципам и требованиям его этики. Молодые люди в грубых синих блузах с расстегнутыми воротами, в поту, работали, кто перед горном, кто у станка, кто с большим молотом, кто с тонким резцом. Учились не только ковать, учились и вырезать тончайшие рисунки и надписи печатей государственных и местных. В Петербурге я оставалась 2-3 месяца и вывезла оттуда вновь взятое на себя обязательство. Дело в том, что идея центрального террора, т. е. покушений на жизнь царей, после попытки Каракозова, передалась некоторым членам нечаевской организации. Говорили о нитроглицерине, о возможности оставить сосуд с этим составом в помещении Зимнего Дворца, о его страшном действии, при малейшем колебании состава, о влиянии удачного взрыва на ход внутренней политики. Но, очевидно, в процессе этом не было достаточно организованного ядра, которое занялось бы разработкой такого предприятия. Но сама идея не умирала. Ее особенно настойчиво преследовал Каблиц, человек умный, с огромным самолюбием и самомнением. В те годы Каблиц был еще всецело предан делу революции и работал над организацией задуманного плана. Он остановился на мысли применения часового механизма к действию взрыва и к приисканию товарищей, могущих принять участие в намеченном покушении. Он обратился и ко мне. Меня он знал еще раньше по земской работе в Омгинском уезде. Мой взгляд на борьбу с центральным правительством был тоже определенным в смысле необходимости побороть его. Я охотно дала свое согласие Каблицу. Условились так: он останется в Петербурге для того, чтобы окончательно выработать возможность взрыва, а я и другой обреченный, отправимся на пропаганду в народе, призывая его к восстанию. Четвертая участница, молодая Цвенева умерла месяца через два после нашего договора. Дальнейшее мое участие в этом деле было изъято уже потому, что летом будущего года я была арестована и мой двадцатидвухлетний плен все время держал меня вдали от внутренних событий.

Приближалась весна; из Киева мне писали, что там набралось уже много молодежи, желавшей присоединиться к общему движению и ждавшей организаторов — людей более опытных, чтобы предпринять поход. Я оставила Петербург. По дороге заехала в Витебскую губернию, в бывшее имение отца «Гораны», в 15 верстах от Полоцка, думая там устроить один из опорных пунктов для революционных работников. Напрасно протратила целый месяц, так как из моих хлопот

ничего желательного не получилось, и я поехала в Киев. Здесь я застала совсем новую для меня обстановку. Небольшая группа нашего прежнего общежития жила в светлом небольшом, деревянном, в несколько комнат, флигеле на Жилянской улице. Он был полон жильцов. В нем уже жило несколько человек вновь прибывших, а в одной комнате ютилась сапожная мастерская. В ней работали не юнцы, не неофиты революционного учения, в ней стучал молотком Сергей Филиппович Ковалик, в ней тянул дратву Владимир Дебогорий-Мокриевич. С ними работали Фишер и еще кто-то из молодежи. Спешили запастись р е м е с л о м, чтобы удобнее чувствовать себя в качестве пропагандистов среди простого народа. Сестру свою я уже не застала в живых, но Мария Александровна Коленкина была с нами; она и вела общее хозяйство.

Коммуну навещали и киевляне, и путешествующие пропагандисты. Приходила сюда ночевать Верочка Рогачева, ее подруга Таня Стронская, переехавшие на юг в поисках деревенской работы. Они начали с того, что ежедневно отправлялись на лаврские огороды и там, вместе с бесчисленными богомолками, работали за хлеб и пустые щи, на монастырских огородах. Приучая себя к тяжелой работе, девушки работали без устали, возвращались домой усталые, загоревшие и, напившись чаю, заваливались спать, а с восходом снова бежали на работу в своих набойчатых сарафанах.

Старший Левенталь и одна из Каминер отправились на кирпичный завод. Они заставляли себя работать наравне с привычными рабочими и через неделю вернулись совсем изнемогшими. Левенталь уверял, что он совсем отупел за эту неделю.

Аксельрод и другие сестры Каминер постоянно навещали нас и все обсуждали вопрос: за какое взяться мастерство, чтобы оно было по силам и не требовало бы сложных и грузных приспособлений. Этим же вопросом был занят и студент Лури. Он постоянно допытывался у Ковалика, что лучше взять на себя, смотря на то, как этот ловкий силач легко справлялся со своим мастерством. Расспросы он повторял в каждое свое посещение; тогда Сергей, вышедший из терпения, спросил его: «Да вы думаете быть революционером?» — «Конечно». — «Так вы должны знать, что это самое опасное ремесло и, что все остальные по сравнению с ним, много легче». Не научившись ничему Лури, при первой опасности, эмигрировал. Эту же мастерскую посетил и Сергей Кравчинский на своем пешем пути из Петербурга в Одессу. Артиллерий-

ский офицер, товарищ Рогачева, вместе с ним работавший пильщиком в Тверской губернии, он захотел поближе присмотреться к народной жизни по всей России. Он тоже подучился сапожному ремеслу и, забрав свои инструменты и дорожные припасы, взвалил на плечи пудовый мешок и шел с ним от деревни к деревне. Член организации Чайковского, он зашел повидаться в Киеве со своими сотоварищами. А так как наш флигель на Жилянской улице был известен всему революционному Киеву, то каждый новый товарищ считал своим долгом навестить, посмотреть, разузнать, что делается в сапожной мастерской, имевшей особую притягательную силу для всей молодежи. Во-первых, дело это было еще совсем новое, во-вторых, маленькая коммуна приветливо встречала всех приходивших туда, а в-третьих, и это, быть может, самое главное, центральными лицами этой мастерской были такие выдающиеся люди, как Дебогорий-Мокриевич и особенно Сергей Ковалик. Последний был человеком большого ума, редкой жизнеспособности, огромной внутренней силы, данной ему от природы, необычайной памяти, сообразительности и при всем этом полная безъискусственность в его отношениях ко всем людям. В нем не было восторженной к ним любви, но никогда не было ни злобы, ни зависти. У него была ясная душа и потому он так неотразимо хорошо действовал на окружающих.

Общее оппозиционное отношение ко всему старому, изжившему и небрежные приемы, усвоенные нигилистами еще 60-х годов, положили свой отпечаток и на манеры Ковалика. Его речь нередко пестрела бесцеремонными словами. Его повадки были иной раз грубоваты, но у него все это искупалось всегдашним добродушием и снисходительным отношением к маленьким слабостям товарищей. А у кого их не было? Люди, искавшие ответов на серьезные вопросы научного ли, общественного ли характера, находили у него удовлетворявшие их ответы. Люди, не верившие в себя или вообще сомневавшиеся, находили у него поддержку и разъяснение. Он умел научить человека разбираться в сложных вопросах жизни. Он никогда не боялся указать ему, что абсолютно счастливых комбинаций такой сложной вещи, как жизнь человеческого общества, быть не может. И единственный лучший выход — это будет выбор наименьшего зла. Если ко всему этому прибавить тот поток острой и милой иронии, которыми Ковалик пересыпал свои рассказы, свои обращения, — то можно себе представить каким обаянием пользовался этот 25-летний ре-

волюционер, никогда не выставлявший на показ ни своей ученности, ни своего превосходства в чем бы то ни было.

В последнем умный и способный Дебогорий был его противоположностью. Ему нравилось показать себя выше других и он не прочь был посмеяться на чужой счет. Но он был энергичен и предприимчив. Ничего нет удивительного, что наш флигель с утра и до вечера посещали целые вереницы старых и новых знакомых. Сюда же получалось много писем, газет, стекались новости со всех концов России. Здесь обсуждались вопросы о том куда кому направиться, как группироваться, какими задаваться целями при отправке. Ковалик уехал одним из первых. Он отправился по России организовывать кружки молодежи для одновременного движения их в народ. За лето и осень он побывал более чем в 30 губерниях. Побывал во множестве учебных заведений. Формировал из выдающихся юношей отряды для пропагандистской работы; устраивал сходки в рощах, на островах. Основал в Саратове вместе с Порфирием Войнаральским сапожную мастерскую и большой склад литературы, привозимой туда из Москвы из типографии Ипполита Мышкина.

Стал собирать свою группу Дебогорий-Мокриевич. Он собирался на юг, в Подольскую, Волынскую, южную часть Черниговской, если не ошибаюсь. Эти края были ему роднее, он знал украинский язык, знал как подойти здесь к народу. С ним отправились Фишер, Шнейер и Стефанович. Последний недавно появился в нашей коммуне и я сразу заметила молодого, мужиковатого, лохматого, белокурого парня, молчавшего, сдержанно наблюдавшего из своего угла. Сын протоиерея Конотопского уезда, потом семинарист, потом студент медицинского факультета второго курса, натура глубоко серьезная и, скорее, скрытная для постороннего глаза — Яков Стефанович, очевидно, рано понял свое призвание служить народу. Прежде чем заявиться к нам, он уже побывал рабочим на сахарных заводах и уже приобрел внешность заправского рабочего. Это обстоятельство много значило в глазах товарищей и ему сразу предложили вступить в артель, набранную Дебогорием. Было начало лета, шли они больше пешком, без тяжелой одежи, в самодельных сапогах, при всех атрибутах рабочих, в поисках за заработком. Паспорта также самодельные, мастерились в том же флигеле на Жилянской, где работали над ними и специалисты и любители. Пошли с небольшим запасом рублей в карманах, обошли намеченное пространство, поразведали кое-что, сделали неудачное знакомство

— очень тяжело отозвавшееся на дальнейшей жизни коммуны — и недели через 3-4 вернулись в Киев. Кажется в их отсутствие, а, может быть, и при них произошла в нашей жизни следующая неожиданность: является однажды Аксельрод из одной из своих поездок и вводит в наше общежитие совсем молодую девушку. Всегда восторженный, он начинает описывать ее нам в необычайно живых и привлекательных красках: уж так она хороша, так революционна и так глубоко несчастна. Ее мать, баронесса Польгейм, беспощадно притесняла девушку за ее рвение к свободе, к неукротимому желанию работать и быть полезной людям. Она хочет опроститься и идти в народ. Мы все поморщились от такой неожиданности, но делать было нечего. 17-летнюю девушку, завезенную издалека, нельзя было вытолкать в пространство без средств и без друзей. Вернуться домой она ни за что не хотела. И чтобы доказать готовность на всякое самопожертвование, взяла веник и стала подметать комнаты. Было досадно, жалко, но и безвыходно. Так маленькая баронесса и поселилась у нас. Вслед за этим приключением случилось нечто худшее: ввалился к нам Ларионов — здоровый детина, выдававший себя за бежавшего из Архангельской губернии административного ссыльного по делу «нечаевцев». Это и был таинственный незнакомец, найденный Дебогорием во время его странствий. Тяжелое впечатление произвел он на нас. С недоверием допытывалась я о его прошлом. Получала неясные, неопределенные ответы. И сразу отнеслась к нему подозрительно. Но Дебогорий упорно отстаивал его, обещая его, как ценного сотрудника.

К этому времени и я была готова отправиться в крестьянскую среду. Идти одной было неудобно и не целесообразно. Я остановилась на двух молодых помощниках: на М. А. Коленкиной, которая шла в качестве моей племянницы и уже подготовляясь к путешествию, научилась красить деревенскую пряжу и ткани. И приготовила нам обеим деревенскую одежду и надлежащие паспорта. Мой второй спутник был Яков Стефанович, в качестве моего племянника и сапожника. Он был знаком и с украинским языком и с нравами украинцев. Но ни я, ни моя Машенька за хохлушек сойти не могли, а потому направляясь в Киевскую, Херсонскую губернии мы предпочли взять паспорта и обличие великорусских женщин. Паспорта наши были из Орловской губернии. Речь оставалась нашей обычной речью, а наши не совсем мужицкие приемы и наша грамотность объяснялись тем, что мы были из дворовых,

жили около господ и от них многому научились. Нас везде так и величали «орловские». Этим объясняли наши особенности, отличавшие нас от местных женщин. За время моего «хождения в народ», я ни разу, нигде и ни от кого не услышала ни сомнения в моей личности, ни недоверия к моему рассказу. Кроме красильного мастерства, в котором я помогала своей племяннице, я славилась искусством вышивать крестом и гладью, восхищавшим хохлушек. Особенно дивчата постоянно обращались за советами и за образцами. При том, частые переходы от одного места к другому много выручали нас при расспросах о нашем прошлом и настоящем.

В Киеве мы запаслись подробными картами генерального штаба тех губерний, по которым думали держать путь (Киевская, Херсонская, Подольская). Наметили мы его так: сначала ознакомиться с большими селами, окружавшими сахарные заводы. И от местечка Белозерье и Смела была проведена синим карандашем прямая черта на юг и несколько на запад.

Не оставивши за собой ни одной нитки из прежнего имущества, Маша и я, в самом начале июня, встали чуть свет, оделись в крестьянские одеяния, наладили свои мешки с красильными принадлежностями, кое-какими материалами и сменами белья, привязали их на спину и вдвоем отправились на пароход, шедший по Днепру к Черкассам. Оттуда верст 20 надо было сделать пешком до Белозерья, куда мы уже пришли со Стефановичем, встретившем нас в Черкассах. Там, сойдя с парохода, я заметила с каким чрезвычайным усилием Маша поднималась по пескам со своей тяжелой сумой. Я остановила ее и предложила отдохнуть, а она, удивленно посмотрев на меня, сказала: «Ведь н а д о спешить — нас ждут». Это слово «н а д о» на всю жизнь осталось для нее высшим императивом всех ее действий, всех ее поступков в жизни. Без опасений за нее можно было начинать с ней самую опасную и самую тяжелую работу. Выше безукоризненного исполнения взятой на себя обязанности, у нее не было другого закона.

Дорогой в Белозерье, Стефанович, не преминув посмеяться над женской слабосильностью, все-таки переложил часть наших вещей в свой мешок. Несколько раз мы садились отдыхать под деревьями, но еще до заката солнца пришли в белозерскую корчму, чтобы расспросить где тут можно нанять хату, для нас троих. Пора была рабочая. Ни на улицах, ни в корчме никого не было. Подвернулся только старый солдат, городивший нам турусы на колесах. За чарку «горілки»,

он повел нас на край села и указал пустую хату и ее хозяина. На другой день мы уже расположились со своим красильным мастерством и завели знакомство с девчатами и молодыми бабами. Любопытствовали и старухи, и меня, как наиболее солидную, приглашали к себе на гречневые галушки. Стефанович мастерил себе сапоги. А через несколько дней он куда-то отлучился. Маша просто и мило сходилась с женской молодежью, а я расспрашивала дальше и дальше, добираясь до ответственных хозяев. Настроение деревни было вялое. Сыпучие пески, окружавшие деревню едва возвращали семена. Оставалась одна солома. Искали аренды у соседних помещиков, но заводы Бобринского поглотили все лучшие земли под бураки. Приходилось искать пахоту и луга за десятки верст и там проживать часть лета на страдных работах. Понуро говорили мужики о своих делах. Выхода из своего положения не видели и указывали на совсем безземельных крестьян местечка, как на энергичных и смелых, умеющих отстаивать свои интересы. Скоро мы и переехали в Смелу. Огромнейшее местечко, где уже тогда были один рафинадный и 6 песочных заводов, раскинулось на большое пространство. Барская усадьба с садом, парком и прудом, утопая в зелени, как бы удалилась от шумных и грязных улиц с заводским народом. Большая рыночная площадь кишела мелкими торговцами и торговками. Там же стояла полицейско-пожарная часть, а где-то на самом краю был выкопан пруд. Мутная вода стояла среди крутых, очень крутых берегов, а в этих берегах были вырыты землянки, имевшие досчатые двери и деревянные трубы над землей. Весь пруд кругом был утыкан такими звероподобными жилищами. Это были усадьбы пришлых рабочих, бывших дворовых и вообще безземельных. Все они были из северных губерний и проживали тут целыми семьями. Здесь рождались, здесь и умирали. В Смеле нам быстро удалось найти угол для жилья. Отдельной хаты ни у кого не было. Отдавали в наймы каморки. Почти всегда без стола и скамеек. Хозяева нашей хаты были люди неинтересные, но жив был еще отец хозяина, старый поборник мирских интересов. Он уступил нам свое помещение. Тот же чулан, но приспособленный для жилья, а сам поместился в сенцах, на дощатых нарах. Этот старик много помог мне разобраться в жизни заводского населения. Все оно было перевезено из какой-то средней губернии еще при крепостном праве. Там остались и усадьбы и земли крестьян. В Смелу помещик перевел их ради своих сахар-

ных заводов. И никаких наделов им не дал кроме нескольких саженей под хату. Крестьяне обязаны были работать на заводах, получая за это содержание в виде хлебного пайка. Дальнейших подробностей я уже не помню, но знаю, что все заводское население жило под страхом возможности потерять свой заработок, в зависимости от расположения управляющих и директоров завода. Особенно бедствовали многосемейные рабочие. И наш хозяин, 70-летний старик, вечно дрожал от голода. У сына была своя семья. Невестка была недобрая и старый человек два раза подвергавшийся смертельной порке, побывавший в Сибири за свое заступничество мирских интересов, доживал свой век почти что нищим. Ситцевая, уже поношенная розовая рубаха, куртка и старая свитка были единственной одеждой старика. Была у него деревянная миска и несколько деревянных ложек, которыми он позволял нам пользоваться с большой охотой.

Вставали мы рано утром и с Машенькой отправлялись на базар. Там сидели на земле бесконечные ряды деревенских женщин, принесших на продажу кувшины топленого молока, мешки с просом, лук, другие овощи, куски соленого сала. Делая свои скромные покупки, выбирая молоко получше и крупу почище, мы наблюдали нравы наших «пуасардок». Наслушались таких разговоров и таких выражений какие потом едва ли приходилось слышать. Войдя в азарт, хохлушки бывают непобедимы. К полудню мы вчетвером, — и дед был с нами — сидели за деревянной миской и уплетали свой борщ за обе щеки. Я много беседовала с дедом. Расспрашивала его о текущей жизни заводских людей и слушала его рассказы о их прошлом. Прошлое было жестокое. Крестьяне, насильственно переселенные с родных своих гнезд, поставленные помещиками в безвыходное кабальное состояние, несколько раз принимались «бунтовать», требуя возвращения на свои пепелища, отказываясь работать на заводах. Производились экзекуции. Секли десятого, секли пятого. Ставили на постой роты солдат. Солдаты объедали деревню как саранча, оставляя жителей, взрослых и детей, без корки хлеба. Но ужаснее всего была судьба «зачинщиков», тех мирских людей, что громче всех говорили и тверже других отстаивали права своих односельчан. И на мои предложения поспособствовать мне в моей революционной пропаганде в Смеле, старик говорил: «Не хватает сил; ведь меня жестоко мучили. Бывало станет один солдат на одну руку, другой на другую, двое станут на ноги и бьют, бьют пока земля от крови мокрая станет, — вот как

пороли. И не раз, и не два так было. Высылали в Сибирь и снова ворочали и снова за свое, а теперь — не могу больше». Стала я его расспрашивать, какие есть мужики из молодых, более смелые, глубже вникающие в интересы всего заводского мира? Кого больше слушают на сходках, кого больше преследует заводское начальство? Дед указал мне на двоих. Один — средних лет рабочий, но уже семейный, жил рядом с нашей хатой, другой — постарше, смелый мужик, грозный на вид, с громким голосом, жил на другом конце села и тоже был семейный. Я пошла к первому, чтобы только познакомиться и в разговоре спросила, не хочет ли он почитать умные, правдивые книжки. Он вопросительно на меня посмотрел, как бы сомневаясь, чтобы такая простая баба умела читать книги. «Ладно, говорит, принеси». Мы взяли с собой несколько экземпляров обращения к народу в виде прокламаций, листков, поучений, сказаний и даже сказка была («О четырех братьях»). Я выбрала одну из них и в воскресение пошла к соседу. Рабочий слушал внимательно. Жена его недоуменно смотрела на нас. Она то подходила послушать, то убегала по хозяйству. Мы кончили. «Вот, если бы такие листы, да обнести по всему народу, да всем бы их втолковать, что-нибудь бы и вышло. А то как самим начинать? Сколько раз начинали. А как не поддержат в остальных местах, так все даром и пропало. Надо согласить народ. Чтобы все в одну голову думали. Иначе ничего не выйдет. Вот ты бы и ходила по деревням, толковала бы». — «Если у тебя есть хорошие товарищи и ты веришь им, созови их к себе, я и им прочитаю». Назначили собраться в следующее воскресение. Я пришла первой. В хате были только хозяин и его дети. Я указала на них: «Ладно ли, что они тут останутся?» Он посмотрел на меня с удивлением. «Да это же мои дети». Вот тогда мне и вспомнилось, что когда мои родители беседовали со старшими о вопросах политического характера, они неизменно высылали нас — детей из своих кабинетов. И всегда избегали говорить при нас о делах внутренней политики.

В избу набралось человек до 20-ти. Слушали внимательно. Когда я кончила, то, прежде всего, один из рабочих спросил: «Где это она так хорошо грамоте научилась?» — «Она, видишь, из дворовых» — пояснил хозяин — «долго у господ жила, от них и научилась». Потом обсуждали прочитанное, соглашались придти еще послушать в следующее воскресенье. Не протестовали против моих предложений готовиться к общему восстанию, но, очевидно, и здесь недавние экзекуции

оставили по себе грозную память. Мужики в один голос замечали: «Вот, если бы все согласились, если бы ты всех обошла, — тогда другое дело. У нас ведь не раз пробовали восставать, требовали своих прав на землю, — ничего не выходило, — присылали солдат, народ мучили и разоряли». После таких слов старики вздыхали, молодые сидели понуро. Поговорили еще немного и разошлись.

Я задумала идти к буйному мужику на окраину села. Запутанные улицы и переулки вынуждали постоянно спрашивать прохожих — где живет такой-то. Мужчины и женщины останавливались, охотно распространялись в своих объяснениях, но почти каждый раз заканчивали вопросом: «а тебе он зачем?» Приходилось держаться экспромтом выдуманного предлога и смело идти напролом. Наконец, хата была найдена. Дверь оказалась запертой. Я долго и громко стучала, пока она не открылась. Передо мной стоял огромного роста, здоровенный мужик. Красное лицо, взъерошенные волосы и черные горящие глаза. Оказалось, что мой буйный мужик был здóрово выпивши, оставался дома один и крепко спал. Был праздник, хозяйка ушла куда-то и он сразу заявил мне, что бабы дома нет. «Ничего, подожду», — и вошла в хату. Сели за стол на лавке. Я сразу приступила к делу. «Слышала я, (имя рек), что вы мирские дела хорошо знаете, защищаете права рабочих; на сходках умно говорите». Собеседник весело улыбнулся — «За мной дело никогда не стоит, а вот поддержка слабая, плохая. Я бы на все готов, да люди робеют: как начальство заорет, они и молчек». Мой собеседник воодушевился, стал горячо рассказывать о своих выступлениях и в заводской конторе и на сходках. Но я видела, как глаза его соловели, язык плохо ворочался, он стал повторяться и путаться. Я стала прощаться и хозяин снова встрепенулся, быстро вытащил из-под лавки бутылку водки, поставил на стол, достал два стаканчика и стал усиленно просить остаться и выпить вместе. «Спасибо, жарко сегодня, не могу, а вот, зайду в другой раз, когда хозяйка дома будет, тогда выпьем все вместе». Великан продолжал просить но когда я протянула ему свою руку, он вежливо раскланялся, проводил до дверей и все повторял: «Смотри же, приходи». Мне не хотелось иметь дело с нетрезвым человеком, опасалась излишней болтовни, не решалась положиться на его исполнительность. А потому я возвращалась домой разочарованная. При горячем и спешном настроении, в каком находилась душа моя, хотелось скорее и глубже проникнуть в ту народную среду, где бы уже

созревало сознательное отношение к неизбежности активного протеста против предержащей власти. Хотелось скорее доискаться в народе понимания того, что борьба предстоит не местная и частичная и не с ближайшими только врагами, а что должна она быть и всеобщая и направленная на центральную власть. Потому и оставаться долго в Смеле не было смысла и хотя к нам с Машенькой население пригляделось и орловским бабам прощались все недочеты крестьянской жизни, я все-таки подумывала оставить Смелу и идти дальше. И мы с Машенькой уже сочинили предлог для нашего путешествия и только ждали возвращения Стефановича, чтобы двинуться в путь, как нежданно-негаданно появился в нашей каморке молодой человек в городской одежде. Он приехал из Киева с паролем и поручением. Нас предупреждало Киевское бюро о том, что адрес наш и наш маршрут известен жандармскому управлению, и что жандармы уже направляются по нашим следам. В одну из поездок в Киев, Стефанович оставил в бюро у Лури наш подробный адрес в Смеле. Само бюро было на-днях арестовано, все бумаги взяты, Лури посажен в один из участков, откуда ему скоро удалось бежать и скрыться за границу. Киевские товарищи поспешили дать нам знать обо всем этом, прислали немного денег и передали, что Стефанович соединится с нами в Черкассах. Усвоив все это, мы быстро расстались с посланцем, также быстро уложили свои сумки, а хозяевам объяснили свой отъезд тем, что получили предложение на выгодную работу. С котомками на плечах пошли мы с Машенькой на базарную площадь, где всегда можно было встретить балагулу, возившего пассажиров из Смелы в Черкассы. На наше счастье мы такого нашли. Он возвращался в город пустой и охотно взялся нас довезти, мы же с Машей были рады ехать одни. Платили по рублю с человека, ехали трусцом, никого не встретили и прибыли к вечеру в Черкассы. Остановились на окраине города против пристани и стали караулить приезд Стефановича. На другой же день он явился к нам и рассказал, что ехал на одном пароходе с жандармами, умчавшимися на тройке по дороге в Смелу. Обсудивши втроем наши дела, мы решили, что хождение втроем слишком заметно и что кому-нибудь лучше переждать некоторое время в укромном месте. Таким надежным местом был для нас дом моих близких родных, куда и направилась Марья Александровна Коленкина. Она прожила там несколько месяцев.

В это время много говорилось в народе о только что воз-

никшей новой секте «штундистов» (евангелическое вероисповедание). Шло это учение из с. Любомирки, Елисаветградского уезда, Херсонской губернии. Говорили, что к секте примыкают люди трезвые и благонравные, протестующие против злоупотреблений духовенства, отрицающие все церковные обряды. Первые последователи уже навлекли на себя жестокое преследование со стороны судебных и полицейских властей.

Среди простого народа рассказывали про штундистов всевозможные небылицы. Православные были убеждены, что штундисты ведаются с чортом: «Как же не ведается, когда он (штундист) положит с вечера на окно трехрублевку, а утром снимает сотенную. Давно ли штундистами заделались, а у всех уже хозяйство исправное. Мы к весне без хлеба сидим, а у них еще амбары полные...» Наши возражения, что штундисты водки не употребляют, свадеб и крестин не справляют, на требы денег не тратят и работа у них в руках кипит — не переубеждали православных и они относились к сектантам зложелательно. Когда Стефанович усиленно расспрашивал о подробностях их жизни, собеседники подозрительно спрашивали: «да ты уж не хочешь ли сам в штунду записаться?» Тут явно сказывалась привычка темного люда враждебно относиться ко всякому новшеству и видеть таинственное и богопротивное во всех более или менее крупных для них явлениях общественной жизни, выходивших из рамок их представлений. Моления на дому большими собраниями, выступления «старших братьев» с проповедями, хоровое пение псалмов, похороны и крестины без священников, свадьбы без признаков празднества — все это так поражало воображение православных, приученных уважать лишь внешнюю церковную обрядность, что они не могли смотреть иначе на штундистов, как на заменивших Бога чортом.

Всю дорогу от Черкасс до Елисаветграда в вагонах и в пешем хождении, мы слышали злобные наветы на штундистов. Путь держали на Любомирку. В один из ярких и жарких летних дней Стефанович и я шли степью, выглядывая намеченное село; поля были уже сжаты, кое-где высились большие курганы, нигде ни деревца, ни кусточка. Сильно пахло дымом кизяка, что всегда портит красоту южного края. На пригорке голом, как лысая голова, разбросаны белые хаты неправильными рядами. Тонкие, «лебезные» (хрупкие), с соломенными крышами, поддающиеся и ветру и дождю — эти хаты были обнесены изгородями, сложенными из того же кизяка.

Мы зашли в православную хату посреди села, чтобы избежать подозрений и стали проситься на квартиру. Одно заявление о наших ремеслах, о желании пустить их в ход служило нам хорошей рекомендацией. В то время прельщал хозяев и полтинник в месяц за каморку, отведенную нам под ночлег. В тот же вечер хозяйка накормила нас соломатой. Ужинали во дворе на разостланной на земле скатерти, ниткой резали густую саломату, выложенную на деревянную тарелку, макали тонкие ломтики в растопленное масло. Вернулся хозяин с работы. Вся семья расположилась вокруг и нас пригласили. Исподволь стали мы спрашивать, правда ли, что в Любомирке завелись люди новой веры. Хозяин оживился. «Как же не правда? Самое гнездо ихнее у нас и есть. Здесь их вотажек Иван Рябошапка, хитрый мужик, скольких людей перепортил, а сам сух из тюрьмы вышел; с исправником знается, а все-таки свое не оставляет, мутит и мутит, пол Любомирки в штунду перевел и своих людей далеко рассылает, все с ихними проповедями». Мы стали спрашивать далеко ли от них живут сектанты. Быстрым и злым жестом хозяин указал на соседний двор: «Вон он, слышишь, молотит, это ихний самый закоренелый пророк Степан Довбня; на стену лезет, веру свою отстаивает... Доберутся и до него, голубчика...» «А много их пострадало?» — «Сколько раз наезжала полиция, пороли нещадно, увозили в тюрьмы, обыски у всех постоянно делают, да разве их уймешь, их сам чорт поддерживает»... — «Если они ложному учат, надо их оспаривать, надо с ними познакомиться». — «Так вы его и переспорите, он ведь не своими словами, а все из Евангелия бьет».

Я намотала себе на ус и решила так: следующие сутки Стефанович должен изучить Евангелие и Послание Апостолов, а сама завтра с утра пойду знакомиться со Степаном. Так мы и сделали. На другой день закусивши, взяла я для виду свое вышивание, перелезла через толстую стенку ограды и сразу очутилась перед высоким крестьянином с цепом в руках, около уже вымолоченной копны соломы. Я знала их приемы обращения и приветствовала его словами: «Здравствуй, брат!» — «Здравствуй, сестра!» — «Молоти, брат, я не буду мешать», — и уселась немножко поодаль на пустую солому. Взялась за работу. Степан сделал несколько ударов цепом. Через минуту он бросил цеп и подошел ко мне: «Что скажешь, сестра»? — «Хочу, брат, ознакомиться с твоей верой; слышала, что ты хорошо толкуешь». Степан поднял глаза к небу: «Он помогает, Он вложил в мое сердце огонь, что бы ни делал —

все о Нем думаю и все тянет меня передать мою веру другим. И в хате сижу, и на работе, во дворе ли, в поле, волов ли гоню — сердце мое всегда горит. Всё жду не встретится ли человек, чтобы поведать ему слова Евангелия, чтобы его приблизить к вере Христовой... А ты, сестра, будешь слушать?» — «Буду слушать, брат, за тем и пришла». Степан действительно горел и речь его лилась красиво, особенно в тех местах, где он рисовал превосходство мирной и чистой жизни штундистов, сравнивая ее с безобразиями жизни православных соседей. Восторженно описывал он и те мучения, что «братьям» и «сестрам» приходилось испытывать от православных властей, опасности с какими приходилось совершать моления и устраивать собрания верующих. Вся его речь дала мне богатый материал для обрисовки условий нашей государственной жизни вообще и указания на те посредственные и непосредственные причины, которые не только дозволяли всю гнусную неправду со стороны властей, но и поощряли ее. Восходя от первых ступеней лестницы царского режима и достигнув самого трона, я открыто и ярко изобразила его отрицательное значение вообще и тот непосредственный вред, какой его авторитет вносит во все подробности народной жизни у нас в России. Я укоряла штундистов за то, что они признают царскую власть законной, от Бога посланной и никогда не протестуют против властей, ею поставленных, исключая церковных. Довбня слушал и видимо волновался. Я все сидела на соломе, он все стоял передо мной. «Пойдем в хату, сестра, посидим, побеседуем». Хата была пустая, вся семья ушла в поле на работу, дергали коноплю. Образов в хате не было. Их место заняли грубые цветы из разноцветной бумаги. «Зачем это?» — спросила я. «Так, чтобы крашче было!» — Возле окна висела плетка. «А это зачем?» — «А это наука висит. Бывает и у нас, что приходится поучить маленько». — «Кого, как?» — «Видишь, — я на второй женат и дочка от первой есть, бывает, что ссорятся, слов не слушают, а я хочу в мире жить, иной раз и постращаю». — «В Евангелии не так говорится», — заметила я. — «Что же делать, когда не все еще понимают Евангелие, как надо». Я долго просидела в хате Степана. Рассказывала ему о положении народа в других губерниях, где народ не знает другого хлеба, как на половину с мякиной, о смертельных голодовках на Волге и в Северной России; о безземельи крестьян; о непосильных податях; о страшных экзекуциях на целые области; о полном равнодушии царей ко всем бедствиям народа и

опять упрекала штундистов в их рвении о заботе только о собственной душе своей... Степан особенно поражался нищетой населения Северной России. «Да у нас еще благодать, мы голода не знаем и скотину держим, нужды нет». — Никто не прерывал нашу беседу. Степан забыл о своей молотьбе, а я была рада видеть перед собой человека с большою душой, горячо ищущего правды. Мы условились, что вечером я приду к нему с племянником, а на завтра он пригласит в свою избу «сестер» и «братьев» на молитвенное собрание и беседу. К вечеру вся семья собралась в хату. Пока Стефанович разговаривал с хозяином — я знакомилась с его молодой женой. На руках у нее был младенец, а лицо было грустное, без признаков интереса к окружающему. Говорила она тихо, как бы жалуясь: — «Вот у них все Евангелие на языке, а сами они правду не соблюдают; его дети не почитают меня, а он с меня же взыскивает». — Она часто вздыхала, вздыхала и девочка лет 13-ти, прибиравшая что-то в хате. Очевидно, фанатик Степан был слишком прямолинейным, не понимал сложной психологии женской души и требовал слепого подчинения там, где нужны были любовь и дружеское разъяснение. Такое взаимное непонимание сулило несомненно тяжелую драму в семье штундистов.

Стефанович тоже остался очень доволен новым знакомством и весь следующий день штудировал Новый Завет. Вечером изба Степана была полна верующих. Старые и молодые, дети, женщины с грудными младенцами стояли густой толпой, как в церкви. Нам дали дорогу и приветливо кивали головами. Усадили нас на лавку в красный угол. Должно быть, Степан рекомендовал нас своим единоверцам с хорошей стороны, чем вызвал к нам их расположение. Собрание началось пением псалмов, в нем принимали участие все присутствующие. Потом по вдохновению читались молитвы. И затем началась беседа. Сначала говорила я. Сердце мое, наболевшее от страданий народа, вдохновляло и меня, когда приходилось говорить об этих страданиях, указывать на причины их породившие и на возможность их устранения при дружном и энергичном противопоставлении ему народной силы и воли. Я видела, что слушатели сливались своими чувствами с моими и я решилась сделать им тут же определенные предложения — положить начало революционной организации в деревне. Их повышенное настроение побудило большинство из них дать согласие. Степан был с ними за одно. Но из толпы послышалось несколько осторожных голосов: «Надо бы подождать

старшего брата». — «Да, надо брата Ивана подождать». — «Оно, конечно, мы все согласны». — «Он должен не сегодня — завтра вернуться и брат Петр еще не вернулся, завтра непременно будет». Собрание как-будто не сомневалось в том, что оба отсутствующие брата примкнут к общему настроению и согласятся на мое предложение, но давать слово в их отсутствии не решались. Поздно ночью стали расходиться совсем так же конспиративно, как это делалось у нас — революционеров. Выходили маленькими группами, по одиночке и с расстановками. Последними остались Яков и я. Степан обратился ко мне со словами: «Я не знаю, сестра, кто ты и откуда, но когда ты пришла ко мне на молотьбу и говорила со мной, я подумал, что ты либо царица, либо царская дочка». Меня это очень удивило: «Почему, брат, ведь я всё время говорила против царской власти». — «По этому самому, сестра, ибо сказано в Евангелии: «И х у л а н а н и х и з ы д е т и з р о д а и х».

Мы расстались до следующего вечера, чтобы снова явиться на собрание. Яков хорошо подготовился. Предстояло собеседование с начетчиком Петром. Оказалось, что оно обратилось в горячий диспут.

Снова хата полна народу, как будто еще теснее стало. Может быть, потому что середина толпы была несколько раздвинута, стоял табурет, а возле него молодой щеголеватый крестьянин. Это был помощник «старшего брата» Ивана, начетчик Петр. В руках он держал такое же маленькое Евангелие, какое было с нами. Мешковатая фигура моего племянника, бедно одетого, лохматого, казалось, вызывала к нему несколько пренебрежительное отношение молодцеватого парня. Нет сомнения, что он был уже посвящен в наши предыдущие беседы и считал себя вполне готовым возражать и поучать неизвестных пришельцев. — «В Евангелии этого не сказано чему вы учите», начал Петр уверенным тоном. Вот глава такая-то и стих такой-то учит совсем иному. Надо заметить, что уже тогда были в большом ходу маленькие Евангелия на русском, без славянского и в них «стихи», провозглашавшие смирение и покорность, а также любовь к ближнему и стойкость духа были подчеркнуты красными, аккуратно проведенными, линиями. Известный штундист и крупный помещик Пашков распространял такие Евангелия в огромном количестве. В своих сумах бродячие проповедники разносили их далеко в разные стороны. Вот такие Евангелия были в руках обоих диспутантов и сейчас. — «Верно, есть

этот стих, заговорил Яков, а только есть и другой, подтверждающий правоту нашего учения. Христос требовал от нас, верующих, не одних слов и молитв, он требовал от нас дела; учил положить душу свою за други своя. А мы терпим зло, видим как страдают братья наши от насилия злых и молчим и заботимся только о своем благополучии. Тело спасаем, а душу губим...» Петр чуточку смутился, но вспомнил какой-то стих, быстро его нашел и прочел торжествующе. — «Тогда вы должны знать и этот стих», — и Яков прочел ему свой, благословлявший на активную борьбу с угнетателями народов.

Все время диспута, часа два, победа оставалась на стороне Якова, потому что начетчик прибегал в своих доказательствах исключительно к излюбленным, подчеркнутым местам и только на них основывал все свои утверждения, евангелие же книга широких понятий и в ней можно черпать не мало указаний на необходимость воинственных выступлений против деспотизма всякого рода.

Собрание верующих, приученное к одностороннему знакомству с великим учением, слушало с возрастающим вниманием и видимо ободрялось в своем желании служить Христу не только словом, но и делом, как это оно высказывало на первом нашем собрании. Петр горячился, он, пожалуй, впервые встретил такого сильного оппонента и особенно было внушительно то скромное спокойствие с каким Яков каждый раз находил веское изречение то из евангелия, то из апостолов в ответ на «стихи», заученные штундистами. Исчерпаны были доводы текстами с обеих сторон, стали раздаваться голоса: «верно, верно, заступаться надо, нельзя терпеть такие обиды, все люди равны перед Богом, надо подумать... вот и брат Иван скажет свое слово, он сегодня, либо завтра придет; тоже по делу ушел, он у нас деловитый, без него совсем житья бы не было: знает как кому что сказать. перед начальством не робеет и угодить умеет. Он ведь столяр хороший. Исправнику комод дорогой смастерил, тоже становому... его почитают, он всей братьи защитник, в Петербург ездил, еще поедет, все хлопочет, чтобы веру нашу признали, чтобы преследования прекратили. Уже тысячу рублей собрали ему на дорогу. Надо его дождаться...» — Особенно восхвалял достоинства брата Ивана его помощник Петр. Он гордился своим званием начетчика и подручного такого видного человека, как Иван Рябошапка и резко выделялся своим чиновничьим видом из среды искренно верующих неофитов почти безграмотных, на веру принимавших все слова, призывающие к до-

бру, к чистоте духовной, к жизни, приближающей нас к миру дружбы, взаимопомощи, к незлобию и тихому спокойствию. Немногие, как Степан Довбня, жаждали подвига во имя Христа, готовы были броситься в объятия самой смерти ради спасения своей души. Все вместе эти люди являли собою группу избранных натур, всегда протестовавших в душе против злоупотреблений вообще и церкви и ее пастырей в особенности, как явно противоречащих тому учению, которое они же должны были проводить в жизнь своим личным примером. Эта группа честных людей была рада тому, что она нашла выход своим сомнениям и стремлениям к выявлению своей духовной силы. Но их отношение к людям и их умственные запросы не шли дальше желания спасти себя от греха неправды, как они ее понимали и уготовления себе небесного царствия после смерти. Ради такого будущего и ради спокойствия своей совести, они готовы были переносить и переносили все гонения, какие только были в ходу у полиции царских времен: ругань, заушения, розги, тюрьму, ссылку. Иван тоже побывал в тюрьме и, может быть, там он намотал себе на ус, что желая оставаться в роли руководителя, «вотажка», как называли эту роль православные — он обдумал свое будущее поведение и повел примирительную политику, не с духовенством, а с полицейской властью. По выходе из тюрьмы, он быстро изменил тактику, сам не попадался в неповиновении церкви и завел сношения с евангелистами Петербургского Пашковского толка. Простые же, непосредственные души «сестер» и «братьев» то и дело попадали под истязание розгами и в заточение местных и даже Киевских тюрем. Ловкий Рябошапка умел сделаться необходимым остальной братии и в обрядах (хотя и самых несложных) и, главное, обещаниями охлопотать признание правительством штундизма учением не противоречащим интересам государственной религии. Несколько лет спустя я случайно слышала о том, что Рябошапка устроился в Петербурге с целью получить там образование и положение более выгодное. Так мне передали, когда я была в Сибири.

Настал вечер «собрания» с братом Иваном. Для нас было ясно, что в нем мы встретим противника серьезного, не в смысле знатока «Писания», а как вожака своего стада, привыкшего видеть в нем большую силу ума и воли. Он в свою очередь должен был дорожить сохранностью своего стада, как источником своего общественного значения и материальных выгод. Уже все были в сборе и головы невольно повора-

чивались к двери в тревожном ожидании «старшего брата». Мне было не то противно, не то грустно от предчувствия вторжения чего-то недоброго в атмосферу доброжелательного настроения и взаимного доверия.

Дверь распахнулась. Перешагнув высокий порог, вошел невысокий, но уже пузатый мужчина в поддевке, не то деревенский купец, не то мещанин. Он поздоровался, за ним вошел брат Петр, как-то лукаво улыбаясь. — «Где эти люди? — спросил Рябошапка, точно начальник у подчиненных. Ему указали, он подошел. «Вы что же это, смущать нас пришли? Кто вы такие?» Я встала и громко пояснила цель нашего путешествия и нашего знакомства с штундистами; я сказала, что в их учении мы надеялись найти не только одно словесное прославление Сына Божия, но и последователей его примеру, готовность умереть, защищая истину пред лицом всего мира... Рябошапка и не попытался оспаривать нас с помощью текстов, он уже знал от начетчика о бесполезности этого приема, а потому прямо приступил к тактике опытного полицейского агента. Он старался поселить в слушателях недоверие к нашим личностям. «Кто вас знает кто вы такие, откуда явились. Много разного народу ходит, всяко себя называют, а на деле другое оказывается. Если бы я не понимал духа евангелия, я бы должен был донести на вас становому...» — «Доноси, брат, доноси, это на тебя похоже...» не успела я кончить, как толпа загудела: «Как можно, как можно, брат Иван. Они за всех стоят, они всем добра хотят, делом служить народу собираются... нельзя...». Рябошапка осел, замялся было, но скоро оправился. — «Нам нельзя вооружаться, заговорил он деловитым тоном. Мы уже много страдали, я сам год в тюрьме отсидел за веру. Мы хлопочем о том, чтобы наше учение было признано правительством законным, чтобы нам дали разрешение отправлять открыто наше служение. Нам необходимо вести дела как можно осторожнее, потому что истинная вера дороже всего». — Пытались мы снова показать нашим слушателям насколько противоречит такое толкование учению Христа, но привычка идти слепо за своим «вотажком» видимо брала верх. Люди вздыхали, потупили головы, и хотя неуверенно, но поддакивали Ивану или же робко молчали. Сам Довбня стоял в недоумении и вместо прежней горячности, был полон раздумья и внутреннего самосозерцания. Мы высказали глубокое сожаление, что даже в таких честных последователях учения Христа не нашли отклика сострадания и глубины любви к ближнему, к голодному и забитому нуждой

брату, обреченному жить в нищете телесной и духовной, не могущему выступить на свою защиту по слабости своей. Люди вздыхали, но молчали. Мы ушли. Пробыли еще день в Любомирке, а на завтра утром я снова перелезла стенку из кизяка и зашла к Степану. Он был один, смущенный, грустный, не старался оправдывать свой отказ от обещания встать на защиту всего народа, но старался объяснить мне огромное значение пропаганды евангелия. «От нас все время ходят по разным местам, далеко наши люди и везде учат и разносят евангелие мешками...» — Я уже тогда предсказывала ему, что мало-по-малу, с годами, эта пропаганда словом, а не делом, даст людям только другую форму обрядности и скорее отчудит штундистов от остальных людей и привьет им пренебрежительное отношение к инаковерующим, а эти последние не перестанут смотреть на «братьев», как на отщепенцев, окруженных таинственным злом. Ибо все неведомое сдается злым и вредным уму темному, невежественному. Расстались мы дружелюбно, но прежней электрической искры восторга ду́ши наши не высекали. К вечеру, совсем незаметно, дочурка Степана поманила меня пальчиком к ограде и шепнула: «идите к нам, я вас провожу коноплянниками». Мы еще раз зашли в хату к Степану, он дал краткое наставление девочке, братски попрощался с нами и стоял у хаты, пока мы не скрылись в высокой конопле. Долго шли мы по узким тропочкам, тоненькая девочка быстрыми шажками бежала впереди, не проронив ни звука; довела до проселка, ведущего к большаку, остановилась, повернулась к нам, скоренько поклонилась и побежала по тропкам обратно. Маленькая конспираторша уже не раз, конечно, провожала и встречала таинственных гостей стекавшихся с разных концов в Любомирку, эту Мекку-Медину штундизма.

Мы направились в Каменец-Подольскую губернию. Подробности этого пути я мало помню. В одной из деревень, где мы отдали последнюю нелегальную листовку, я решила сама составить воззвание к крестьянам, которое Стефанович и переписал в трех экземплярах. Сделала я это потому, что почти каждое мое словесное обращение к крестьянам встречало с их стороны такое заявление: «вот, если бы все эти слова, да списать на бумагу, да обнести бы эту бумагу по всем местам — тогда бы была настоящая польза, тогда бы каждый знал, что не из своей головы это выдумано». В то страшно темное время, когда в деревнях не было другой писанной бумаги, как присланной от начальства, вера в писанный лист была велика,

тем более, что в деревнях не было грамотных людей, могущих написать сколько-нибудь складно и разборчиво. Помню еще, как в местечке Златополье с нами чуть было не стряслась беда из-за горячности Якова. В то время это был юноша, живо откликавшийся на страдания народа. При всякой несправедливости Яков вспыхивал и готов был броситься на защиту обиженного. Зашли мы в одну лавку на базаре и увидели там плачущую женщину, мокрую от слез, красную, совсем в отчаянии. Она кричала: «Украл мой рубль, украл!» — и тыкала пальцем в продавца — «я ему заплатила, а он отказывается, как же я теперь домой вернусь, люди добрые, помогите, обокрал меня купец!» — Жалко было смотреть на женщину, но я совсем испугалась, когда Яков, тоже красный, со свирепыми глазами, подскочил к прилавку и стал грозить кулаком купцу. Сцена разыгрывалась горячая, злые угрозы посыпались с обеих сторон. Я вспомнила наши фальшивые паспорта, возможность вмешательства полиции, сунула женщине свой предпоследний рубль, взяла Стефановича за руку и вывела его из лавки. Неловко мне было читать нотацию моему молодому спутнику за его неосторожность. Совесть упрекала за подавление чистого, искреннего порыва юной души, но мысль о необходимости длительной, постоянной работы среди наших темных порабощенных братьев брала верх и в самых рискованных случаях я всегда старалась находить выход из опасных положений. Мы шли молча и невесело, когда я увидела в стороне древнюю старуху, в шубе, в капоре, еле двигающуюся. Это был отживающий экземпляр какого-нибудь обедневшего старинного дворянского рода. Обтрепанный шелк и бархат говорили о ее допотопном богатстве, а весь ее облик вполне напоминал старый, дряблый гриб, рыжеватый и приземистый. Я толкнула локтем Якова: «смотри, вот счастливая — кто может заподозрить ее в чем-нибудь недозволенном, у нее и паспорта-то никто не спросит». Мы долго смеялись тому, что такой жалкий образ мог вызвать зависть в здоровом, сильном человеке.

В середине сентября мы добрались до Тульчина, до того самого местечка, где некогда декабристы устраивали съезды своей южно-русской организации. Но мы не о них думали, прошлое не входило в наши расчеты. Мы думали встретить здесь нескольких отважных бунтарей из простого народа, в то время волновавших Подольскую губернию своими набегами в разных ее концах. Они долгое время оставались неуловимыми и в народе о них ходили интересные легенды. Однако,

нам не удавалось напасть на их след и мы решили пожить в Тульчине или около, чтобы поглубже познакомиться с интересным для нас вопросом.

Тульчин большое местечко, на земле богатого польского владельца. Его старинный дворец стоял на краю, на фоне запущенного парка. В стороне от парка тянулась деревня Варварка, где мы и задумали остановиться: там жили исключительно крестьяне, местечко же было полно мелкими торгашами, занятыми только своими делишками; все их внимание было направлено на жизнь базара, куда свозились в огромном количестве продукты с окрестных деревень. Я задумала воспользоваться базарными днями и было очень удобно посещать их из близь лежащей Варварки. Здесь мы зашли в небогатый двор и спросили о квартире. Хозяин посмотрел паспорта и согласился впустить. Здесь не было такой простоты, как в местах, где мы раньше живали. В местечке жило много евреев, поляков и людей других национальностей; пришлые ремесленники, разный бродячий люд, контрабандисты — постоянно передвигались взад и вперед; а тут еще постоянное ожидание набегов знаменитых учеников славного Кармелюка, легендарного героя — разбойника, умевшего стать невидимкой среди бела дня, грабившего богатых и награждавшего бедных, Кармелюка, которого «ни одна тюрьма не держала», настолько он был ловок и смел. Молодой Стефанович восхищался,слушая рассказы о герое, о его бесстрашных набегах, о доверии к нему бедного люда. Он рисовал себе картины запорожских выступлений и страстно хотелось ему возобновить отважную борьбу украинцев со всем, что угнетало их мирную жизнь, все еще полную красоты и поэзии. Мои посещения базарного торга давали пеструю картину положением и условий, в каких жило тогда местное население. Важные, молчаливые крестьяне стояли у своих огромных телег, нагруженных крупой, салом, тушами. Они точно ничем не интересовались, что вокруг двигалось и галдело, точно не продать приехали, а для того, чтобы додумать на базаре какое-то важное дело. Сами они не заговаривали и очень кратко отвечали. Покупатели — а их было еще больше чем продавцов — лихорадочно торопились и даже отталкивали тех, кто обращался к ним «со своим делом». Но кроме этих двух преобладающих типов, наполнявших огромную площадь, ютился там и сям народ «без положения», он не продавал, не покупал, а все время выжидательно оглядывался. Лица изможденные, одежда скудная, приемы робкие. Они то стояли у стен домов, то медленно

бродили от одного к другому. Были мужчины, были и женщины. Это безземельные, почти все бывшие дворовые, покинувшие по своей воле или нет, господские усадьбы. Без службы, без хозяйства, без ремесла — эти люди шатались по России точно парии, ища пристанища. Они охотно вступали в беседу и стоило навести вопрос о их личном положении, как разговор мог тянуться до вечера. С каждым базарным днем знакомства мои ширились; много сведений этнографического и экономического характера можно было собрать в этом углу России, где скопилось много энергичных и умелых сил и много бедноты, готовой на всё ради куска хлеба. Но мои намерения и симпатии влекли меня в Варварку и ей я отдала свое внимание.

Хозяин, принявший нас на постой заявил, что каморка сейчас не исправна, сильный дождь размыл одну стену, надо ее исправить, а пока что мы можем пожить в хате. Хата делилась перегородкой на две части, переднюю предоставили нам, т. е. лавки для спанья, а хозяин с хозяйкой поместились за перегородкой. Детей у них не было, но жила молоденькая работница; где она ночевала — не помню; весь день она работала в поле, ее мало было видно. Мой племянник — сапожник и я — его тетка красильщица — ничего не зарабатывали своими ремеслами и потому, что плохо их умели делать, и потому, что все наше время и внимание были поглощены иными делами. Денежные источники организации были очень слабы и все идущие в народ, имели при себе самое ничтожное количество рублей, пользуясь тем, что можно было жить на хлебе с яблоками или салом, в то время дешевом и в четверть толщиною. Наши рубли иссякли и Яков воспользовался необходимостью и собрался в Киев, к которому питал большую нежность. «Что-то там делается. Нет ли новостей из других губерний. Надо все узнать и денег привезти». — У меня в кармане осталось два рубля с копейками, что должно было хватить до его возвращения. Яков уехал, хозяин знал, что мой племянник отлучился по делу и вернется через несколько дней. И он и его жена относились просто и только извинялись, что наше помещение все еще не готово. Спала я на лучшей лавке, под красным углом, тощая сумка служила изголовьем, покрывалась своим изодранным армяком и непокрытые ничем доски не мешали мне спать крепким сном. Уезжая Стефанович не взял с собой сапожных инструментов, — они, карты генерального штаба, писанные прокламации и смена белья — это все, что было в моем мешке и лежал он все

время в углу, под образами. Надо заметить, что заправские крестьяне, домохозяева никогда не позволят себе заглянуть в чужое имущество, в суму своего постояльца. Но стоило кому-либо из нас сесть за письмо, как и хозяева и гости окружали пишущего, пристально вглядывались и наперерыв обменивались замечаниями: «Мелко пишет, даже не разберешь». — «Так вот наш писарь строчит; ловко, брат, ловко». — «Ты кому это пишешь?» — «Разве у вас все грамотные?» — «Ну, читай, что написала». — Приходилось читать не то, что написано, но отказываться было бы совсем нетактично.

Мои прокламации были слишком грозного характера, чтобы можно было их пустить в оборот при малом знакомстве с публикой и ждали они своей очереди, лежа в моем мешке. Оставшись одна, я не переставала посещать базар и в одно воскресенье, уже в конце сентября (кажется 27-го) возвращалась к себе в деревню с кусочком сала и парой яблок. Мой зипун, мой «по-русски» завязанный платочек выделяли меня резко среди украинской толпы, а теперь я шла одна, по плотине, отделявшей Варварку от Тульчина. Послышался топот и стук экипажа. Меня нагнала пара лошадей; на козлах сидел кучер, в экипаже сидел становой. — «Стой! — крикнул становой, — женщина остановись; садись на козлы». Я продолжала идти. — «Тебе говорят, эй, орловская, садись... ты у такого-то стоишь, мы туда едем, садись, говорят тебе...» — Я поняла что дело мое проиграно, но еще хваталась за возможность обелиться паспортом. Приехали во двор, хозяин один был дома и страшно удивился. Как только становой вошел в хату, он обратился к хозяину: «где вещи этой женщины?» — «Никаких вещей у нее нет, а вот ее паспорт». Он вынул из сундука мой паспорт, считая себя гарантированным от всяких нареканий. Становой рассмотрел и признал его не настоящим, заметил несоблюдение какой-то формальности. — «Ты мне вещи ее покажи», — говорят тебе. — «Нет у нее вещей». Он вопросительно смотрел то на меня, то на станового. Очевидно он полагал, что ищут ворованные вещи, а тут одна несчастная сума, никому не нужная... «Как нет вещей, есть вещи, давай сюда сейчас же!» — «Никаких вещей у ней нет, одна только вот эта сумка». — «Сумку и давай!» — И становой нетерпеливо стал вынимать одну вещь за другою. Прежде всего он наткнулся на инструменты, сложил вместе, рассмотрел, отобрал долота и сказал: «это, знаете, вещи подозрительные, нехорошего свойства...» он тоже подумал, очевидно, о воровских намерениях. Я засмеялась. Мой провал был не-

сомненен и я тут же решила отстраниться совершенно от всех допросов и процедур, считая напрасным какое бы то ни было вмешательство в следственные усилия моих врагов. Выйти оправданной из положения было немыслимо, а всякое соприкосновение с полицейским или жандармским миром уже тогда было для меня невыносимо и ради какого бы то ни было «смягчения виновности», я бы не произнесла ни одного лишнего слова. Но вот в его руках карты и листы исписанной бумаги. Быстро пробежал он испытующими глазами по первым и взялся за вторые. Он стал читать вслух, а лицо его краснело и светилось огромной радостью. Я наблюдала и дивилась. Мои горячие и, может быть, жестокие слова произносились им с ударением, с расстановкой, он их обращал к окружавшим победоносным тоном. Он был упоен своей «удачей» и не замечал того, что делается кругом нас. А кругом стояли уже десятки людей. Крестьяне, мужчины всех возрастов заняли хату внутри, наполнили двор снаружи и слушали, слушали, прильнув головами к окнам. Письмоводитель станового был тут же. Закончив чтение, становой приказал позвать к нам «батюшку». Успех поимки политической злоумышленницы вскружил ему голову, ему хотелось похвастать кому только можно. А мужики стояли кругом и, как сняли шапки при начале чтения «грамоты», так и стояли с непокрытыми головами. Двор и хата были уже битком набиты. Пока ждали батюшку, становой подошел ко мне и стал «заигрывать» с орловской молодкой. Я сурово отстранила его, уселась на хозяйский сундук и начала есть хлеб с салом. Скоро явился молодой и маленький попик, с добродушным, застенчивым взглядом. — «Слушайте, батюшка, слушайте! Читай громче», — обратился он к письмоводителю. Снова началось чтение прокламации громкое, явственное, возбужденное. Крестьяне крестились и все теснее становилось в хате и во дворе. — «За меня мое дело сделает, думалось мне, а сердце говорило: попалась матушка! Поделом тебе, будь осторожнее». Чтение кончилось, толпа не расходилась, смущенный попик не знал, что ему сказать и молчал. Уже послано было за следователем. Становой не жил, а горел. — «Она с кем пришла сюда?» — «Племянник с ней был; ушел в Киев, на-днях вернуться хотел». — «А больше никого не было? С вами она что говорила?» — «Никого не было, ничего не говорила, деньги заплатила вперед», — с точки зрения хозяина хаты я была самый благонамеренный человек. Но меня уже грызла мысль о Стефановиче и я все время думала только о том, как преду-

предить его о моем провале. Говроить с кем-либо наедине не было возможности. Скоро и следователь явился. Он был постарше, выглядел сурово, но все время молчал. Становой опять вызвал письмоводителя и в третий раз началось чтение прокламации к большому удовольствию сотен слушателей, без шапок и с крестным знамением. Я тоже была довольна, не пропали напрасно мои и Якова труды, да и читали при многочисленном собрании и так внятно, что каждому было вразумительно. Время клонилось к вечеру, но солнце еще не зашло, я не чувствовала ни усталости, ничего кроме тревоги за Якова и была удивлена, когда возвестили: исправник приехал. Оказалось, что и ему дали знать с нарочным и он прикатил из уездного города Брацлавля, за 30 верст. Вошел толстый барин со словами: где она? Я все сидела на сундуке и уже ела яблоки. Исправник обратился было ко мне с вопросом, но становой быстро доложил: «ничего не отвечает, никаких показаний не дает», и тут же стал в позу и принялся читать прокламацию. Все событие проходило так живо и так оригинально, что малейшие его черты врезались в память и сейчас я вижу и слышу всё, что происходило в хате украинца, который сам не знал огорчаться ему или радоваться столь неожиданному событию, чреватому теми или другими последствиями и для него, степенного крестьянина. Не успел становой дочитать первой страницы, как раздался сердитый голос исправника: — «Довольно. Отправьте ее в тюрьму! Нарядить хороший конвой... Обыскать сперва...» Призвали нескольких хохлушек и в той каморке, что нам обещали, женщины полные любопытства и робкого сочувствия, рассмотрели мой бедный костюм, недалеко ушедший от нищенского, посмотрели жалобно на две рублевые бумажки и бережно положили обратно в карман. На дворе меня ждал конвой: двенадцать крестьян с дубинами. Посадили на телегу и повезли в Тульчин.

Еще раньше, бродя по базару, я удивлялась зданию невиданного мною фасона. Высокая стена из бревен, вверху заостренных, скрывала постройку, от которой виднелась только верхушка красной черепичной крыши. В неопытности своей я каждый раз спрашивала себя: «какой это чудак устроил себе такое гнусное жилище?» — Вот к нему и подъехала моя телега. Открыли широкие ворота, въехали во двор голый, скучный; в нем едва двигалась огромная, худая свинья и жалобно хрюкала. Она была арестована за потраву и уже неделю голодала на тюремном дворе, а хозяин ее все не отзывался. Огромное здание в виде сарая было разделено на че-

тыре большие камеры. В каждой могли поместиться десятки арестованных. На этот раз они были пустые, меня привели в одну из них. При мне был мой мешок, но уже без листов, без карт и без инструментов, мой азям и я сама. Нары были просторные, выметенные веником. Я улеглась и заснула. Когда утром проснулась, у окна стояла группа моих караульных, точно поджидая меня. Это меня оживило, захотелось послушать, что скажут крестьяне о всем, что слышали и видели. Окно растворялось, можно было свободно разговаривать с караулом и передавать, что имелось. Меня тянуло к окну желание услышать от крестьян впечатление, какое осталось у них от вчерашнего дня и, кроме того, надежда найти среди них человека, готового помочь мне предупредить Стефановича о моем аресте. Начали мы разговор с причины моего ареста. На мой вопрос, что становой читал вчера во всеуслышание, выдвинулся один из сторожей и, точно по книжке, стал говорить слово в слово содержание прокламации. Это дало повод к дальнейшей беседе и широкой и смелой пропаганде с моей стороны. — «Верно, надо бы так, только одним нам не совладать, вот если бы такие листы по всем деревням разнесла — другое дело. А то пробовали мы свое требовать — всех перепороли, а скольких по тюрьмам сгноили...» Очевидно, в народе еще была свежа память начала шестидесятых годов, когда раскрепощение без земли сопровождалось и «бунтами» и экзекуциями, отбившими у народа готовность действовать в одиночку, не сговорившись с другими. Везде мне возражали одно и тоже. Среди сторожей особенно юрко себя держали двое молодых хлопцев, беспрестанно подходивших к окну. Один стал предлагать свои услуги мне на помощь. Обыскав себя самое, я ничего не нашла на себе кроме тех же двух рублей, обгорелую спичку и кусочек бумаги, верхушку от белого конверта. Уже и в то время я не доверяла бумаге и все адреса носила в голове, а пришлось рискнуть и послать весточку по условленному пути. Перед выездом из Киева, барышня, сочувствовавшая всей душой нашей организации, упросила барыню, польку, детей которой обучала наукам, дать разрешение посылать телеграммы и письма по ее адресу. Яков бывал в доме барыни польки, а ее учительница знала многих из киевских революционеров. Она (мне помнится, что ее фамилия Медецкая) и мне передала этот адрес и теперь я ухватилась за него, как за единственный выход из гибельного положения моего «племянника». Писать по адресу организационного бюро я ни за что не решилась бы, так как это могло

повлечь арест многих лиц. На белом клочке бумажки я выдавила отчетливо спичкой адрес барыни, а затем слова: «Сын, заболела, не приезжай. Коренная». Так называл Стефанович радикалов, в переводе на русский язык. Уже тогда вышло постановление, что телеграммы должны писаться на казенных бланках и непременно чернилами, я это знала и понимала сколько шансов неуспеха было против меня, но когда горит душа и совесть грозит не простить во век содеянной неосторожности, — тогда человек подобен утопающему и хватается за всякую созданную его воображением возможность. Я рассуждала так: такую телеграмму могут не принять — ужасно! Ее могут принять и она попадет в руки жандармов; потревожат адресатку, но она ничего не зная, будет держаться просто и вовлечь ее в ответ будет мудрено. Наконец, я не могла заставить себя отказаться от попытки сделать возможное для спасения человека, которого ожидала большая кара. Остановившись на своем решении, я подозвала молодых хлопцев и сказала: «несите эту бумажку на телеграф, скажите, что больная женщина просит послать телеграмму по адресу и передайте деньги; сдачу себе возьмите». Шустрый парень взялся это исполнить, ушел и больше я его не видала.

На другой день меня повели в какое-то летнее помещение, огромный сарай полный чиновных мундиров. Это прибыла прокуратура из Каменец-Подольска, когда Брацлавская полиция дала знать о происшедшем. Тут были и местные чины и приезжие и еще какие-то люди, едва ли причастные к делу. Тут же стоял фотограф с аппаратом. Приступили с вопросами, я отказалась отвечать. Чины не настаивали, но рассматривали меня точно заморскую птицу. Я сидела посреди сарая на стуле, они стояли поодаль. Пригласили фотографа снимать меня, но когда аппарат был установлен, я закрыла глаза и сделала гримасу. Фотографирование не состоялось и насилий надо мною не чинили. Было заметно, что мой случай был одним из первых в практике здешней бюрократии и она к нему отнеслась скорее с любопытством, нежели с рвением услужающих. Впрочем, тогда еще были живы традиции либерализма шестидесятых годов и грубость будущих архаровцев не вошла еще в обиход обращения с «государственными преступниками». Ничего не добившись, чины удалились, их место заняла дюжина простых женщин, присягавших обыскать меня с головы до ног беспристрастно. Бабочки со страхом подступили ко мне. Любопытство и еще больше торжественность обстановки и слухи о событиях сопровождавших мой арест

— всё вместе настраивало их на повышенное состояние духа и они не знали как взяться за дело. Я сама подсказывала им их обязанности и церемония кончилась очень скоро и безобидно для обеих сторон.

Потом, на протяжении долгой жизни мне не раз доводилось переживать подобные обстоятельства и всегда я отказывалась сниматься в первые недели и месяцы после ареста. Делала так потому, что много безопаснее и для меня и для публики меня знающей, предварительно услышать об аресте лица и иметь время обдумать и предупредить возможные опросы и обыски. Когда же жандарм является и неожиданно предъявляет карточку известного лица, часто это вызывает замешательство и вообще лишает возможности принять нужные предосторожности. Я не помню случая, когда бы дала себя снять вскоре после ареста.

По выходе из сарая, меня пригласили сесть в большую телегу, окружили несколькими полицейскими и тройка сытых коней помчала нас в пространство. Я сидела молча, как истукан, не имея понятия о том, что меня ожидает. Часа через три мы проехали маленький глиняный городок и остановились у старой каменной ограды с большими железными воротами. Это была Брацлавская тюрьма. Наступил вечер, было темно. Меня, очевидно, ждали, начальство было в сборе и записав, что им было надо, меня повели по двору, мимо центрального одноэтажного, тоже каменного здания, к окружавшей его стене, в которой находились и одиночки и карцера. Всё было древнее, ободранное, грязное, темное. Я шла впереди с конвоем, позади шло начальство, а надзиратель с ключами ждал нас в корридоре. Он отворил дверь камеры; это был карцер. Двое мальчишек-арестантов выскочили оттуда хихикая, меня ввели на их место, захлопнули дверь и оставили в ночном мраке. Я подошла к отверстию в двери в корридор: вдали виднелся ночник, но ко мне свет не проникал и я не решалась шагнуть назад, чувствуя, что пол покрыт нечистотами. В карцере не было нар, не было «параши» и пол был засыпан глиной и издавал клоачное зловоние.

Ек. Брешковская

РЫБИЙ БОГ

Мох да болота, да мелкая ярá
Больше не видно кругом ни пера,
Ветер холодный бросает в озноб.
Ну и сторонушка.....

Зима, бесконечная и беспощадная, снова приближалась. Темные тучи, густые и тяжелые, как бы набрякшие водой, медленно ползли над ущельем. Выветрелые, пообмерзавшие крутые скальные склоны предгорий были совершенно темны, почти черные, и когда тучи чуть приподнимались, по карнизам и трещинам скал становились видны белые прожилки свеже-выпавшего снега.

На фоне мокрых скал и серого, аспидного неба колымская земля была невперенос горька и неприветлива. Но дорожной бригаде было не до раздумий. Было дело. Был план. И этот план предусматривал ударную прокладку шоссе по проклятой долине речки Лыглых-Тага. Бригадир не умел ладить со старшим прорабом, и бригаде попала гиблая трасса — первой крепости скальный грунт. На таком туфту не запустишь! Одна надежда на живой пар, на буры да на взрывчатку. Приходилось подрывать, подрывать и снова подрывать. На каждую сотню метров проходки валили пару бочат аммоналу — только успевай подвозить!

Колючий ветер пронизывал сквозь ватники до самых костей, бередил ранки на избитых бурами руках, разъедал воспаленные глаза и все же заставлял добросовестно ишачить не хуже придиры нарядчика. Работая, грелись, а кое-где даже бравадно подпевали:

Колыма, ты, Колыма,
Новая планета.
Двенадцать месяцев зима —
Остальное лето.

И вот начали выравнивать профиль выемки. Обурили, заложили взрывчатку. Подошли запальщики, подожгли. Ну, ко-

нечно, б-ба-бах... Скала поползла. А когда размело едкое аммональное облако, никто не хотел верить глазам. Да оно и действительно было странно! В скале забоя торчала широченная линза зеленоватого, прозрачного, как кварцевый кристалл, льда. А из него смотрели как будто удивленные глаза каких-то крупных голубовато-синих красноперых рыб. Люди стояли перед этой находкой, не веря глазам. Замороженные рыбы в скалах, во льду! Да еще какие-то удивительные рыбы.

Повидимому, при проходке было вскрыто старое русло какой-то плейстоценовой реки с замерзшими представителями древней ихтиофауны. Факт любопытный. Надо-бы научно описать. Гукнули по команде, и скоро разыскали бывшего ихтиолога-профессора Ивасюка. Ведь кого тут в лагере нет!

С бледным лицом, на котором горел нехороший лихорадочный румянец, в замусоленном старосрочном бушлате, подошел «колымский» ученый, взглянул и, попросив карандаш у прораба, стал что-то быстро, взволнованно зарисовывать и записывать. Обметанные злой лихорадкой бескровные губы Ивасюка шептали что-то бессвязное, а иногда он точно в забытьи повторял: «Какая удача, какая удача...»

Любопытная толпа, забыв про лагерную дисциплину и побросав инструменты, толпилась у природного замерзшего аквариума. Толпа как толпа, всегда неорганизованная, безинициативная! Но вскоре нашелся хозяин положения. Сквозь людской сгон властно проталкивались чьи-то могучие плечи, одетые в зеленый арестантский бушлат. Кареглазый, с озорным взглядом, с пушистыми холеными усами, продавливал свою дорогу в толпе король «колымских уркаганов» — высокий старший подрывник Шугай. Протиснувшись к замерзшему природному аквариуму, Шугай хозяйственно всё оглядел, покрутил свой правый ус, хмыкнул и властно крикнул через головы своему напарнику:

— Винтарь! Давай буры да подноси аммоналу!

Потом неторопливо скользнул зорким глазом по стоявшей толпе, поманил пальцем кого-то из блатных молодцов и деловито буркнул ему:

— А ты, Спирька, гони за солью! Да попроси у лекпома 200 грамм чистого! Скажи, мол, Шугай для несчастного случая в бригаде просит. Понял? Да перо*, перо-то не забудь прихватить!

---

* «Пером» у блатных обычно называют лезвие ножа.

Расторопный Спирька метнулся за «пером», солью и спиртом. Тем временем Винтарь принес буры, молот и через несколько минут Шугай со своим напарником начал пробивать шпур в ледяной линзе мерными ударами вращающегося бура. Механизация, как видите, на Колыме не хитрая.

Скоро появился подрывник. В шпуры заложили патроны аммоналу, ввели бикфордов шнур, и Шугай властно крикнул: «А ну, расходись, братия!»

Толпа зевак начала неохотно отступление. У забоя оставался точно зачарованный, ничего не видящий и не слышащий ихтиолог Ивасюк, зарисовывавший рыб.

— Товарищ рыбий бог, вы как думаете, что для вас особое приглашение будет послано? Слыхал мой приказ? Записал и отходи. Сейчас отпалку начинаю. Тут не 'рыбная академия', а колымская трасса!

Ихтиолог смотрел своими близорукими, не понимающими глазами на приготовления подрывника, а потом, как будто озаренный какой-то мыслью, кинулся к Шугаю:

— Товарищ Шугай! Не трогайте рыб — ведь это же плейстоценовая фауна — первая находка замороженных плейстоценовых рыб! Для науки — это исключительная ценность, как бы законсервированная материализованная страница. Вы поймите это, товарищ Шугай! Ведь эти рыбы тысячи и тысячи лет пролежали замерзшие в этом природном аквариуме. Это как березовский мамонт. Этих рыб необходимо сохранить во льду, перевезти в Ихтиологический институт Академии Наук и изучить! Повидимому, неизвестные виды, посмотрите, какие удивительные плавники. Боже, какая это для меня удача! Ведь это доклад для международного ихтиологического конгресса!

Веселые карие свечечки загорелись над усами отчаянного Шугая, а потом вдруг погасли, меняясь в насмешливые огоньки. Шугай по-буденовски расправил усы и, глядя в упор на профессора Ивасюка, уронил:

— Правильно про тебя братва говорит, что ты 'рыбий бог'. Ну, чисто малое дите! Всегда это у вас, интеллигентов, бывает. Или это у вас от большого ума, или от недоделки! Ну, погляди ты только сам на себя! В чем только у тебя душа держится? Ведь ноги-то свои еле таскаешь. Доходяга по первой статье! Тебе про жратву надо думать, а ты про науку глупые мечтания разводишь. Мы про свежую рыбу в лагере-то уж и забыли, а тут она сама к нам в руки просится! И не меньше ее тут как фунтов 50 будет. После мертвой лагерной баланды — неслыханная роскошь! Материализованный, так

сказать, 'натюрморт'. Что же ты думаешь, что мы ее в Академию отправим? Нет, брат, шалишь! Твои академии и так в московском раю живут. Хватит с тебя, наизучался — до весны-то, пожалуй, не дотянешь. Жизнь надо понимать! Тут дело не про науку идет, а про жизнь — кто выживет! Умная у тебя голова, да дураку попала!.. Спирька, соль есть?

— Все есть!

— Становись вон там, за бугром, чтобы камнем не ударило, да подбегай скорее, как подорвем! — добродушно сказал Шугай, снова обращаясь к ихтиологу. — Вот свою пайку и достанешь. Ну, а теперь расходись, 'православные', — озорно закричал Шугай.

Он поджег надрезанный конец бикфордова шнура и с веселой улыбкой, упруго пружиня ступнями, побежал за скальное прикрытие.

«Раз, два, три, четыре, пять!» — считал вслух Шугай аммоналовые залпы. Столбы кусков и серых камней зеленоватого льда, окруженные тучей пыли пять раз взлетали и плавно падали на землю. Кто-то из «своих» пронзительно свистнул и «уркаганная бражка» саранчей сыпнула к подорванному забою.

Шугай взял из рук Спирьки заветный флакончик, вдохнул полной грудью и единым духом проглотил ректификат. Услужливая лагерная шпана, уже попробовавшая и одобрившая необычайное блюдо, подала ему два увесистых куска грубоволокнистого, розоватого, в камень смерзшегося рыбьего мяса.

Шугай перевернул дном аммоналовый боченок, присел на корточки около импровизированного стола и, доставши нож, умелым отводом руки взялся стругать рыбу. Розоватые посолённые стружки исчезали за его пышными усами.

— А что, такой строганины я в жисти не ел — это полный факт, — сказал Шугай, кончая свой импровизированный завтрак.

Пошабашили. Бригада пошла на ночлег. Ихтиолог Ивасюк притащил с собою на командировку ворох рыбьих костей и прочих отходов сохранившихся от пиршества уркаганов. Ночи напролет он склеивал, измерял и описывал остатки скелетов диковинных рыб, повествуя охотникам о том, как Шугай съел его последнюю надежду вырваться с Колымы.

Наконец толково составленное описание редкостной находки было закончено, и профессор Ивасюк отправил его по начальству с просьбой переслать в Ихтиологический институт.

Лагерное начальство дало бумаге ход, но упоминание «социально чуждого» Ивасюка о том, что рыбы были съедены «социально близкими» приказало «с корнем вычеркнуть». И вообще рапорт обезличить.

С командировки до куста, с куста до Магадана, с Магадана до Москвы — так и путешествовал рапорт Ивасюка, пока не попал в Палеонтологический институт Академии Наук. В Академии лагерное сообщение вызвало сенсацию. Решено было немедленно снарядить экспедицию для детального научного обследования места находки и для перевозки в Москву удивительных экспонатов. Березовский мамонт, колымские рыбы — для музея сенсационно. Тем более когда приезжают иностранцы!

Но скоро сказка сказывается, да не скоро в советской бюрократической машине дело делается. Пока изыскивали кредиты на непредвиденные объекты исследования да согласовывали с Гулагом разрешение на допуск, экспедиция смогла выехать только к началу лета. В Магадане, для оказания полного содействия, к членам экспедиции был прикомандирован высокий чин из лагерного начальства.

Розыски на трассе летом не дали никаких результатов, проходческая бригада была давно расформирована. Наконец разыскали свидетеля Спирьку.

— Где же рыбы? — спросило его магаданское начальство.

— Да их Шугай съел!

— Как съел?

— Да очень просто — с солью ел да еще и спиртом запивал, — красочно описывал Спирька происшедшие события.

— А кто же рапорт о находке писал?

— Так это известно, что 'рыбий бог'.

— Какой еще 'рыбий бог'? Как его фамилия?

— Да профессор Ивасюк — доходяга!

Кинулись за Ивасюком. В лагере нет нигде. Обратились в Учраспред. Там разъяснили, что заключенный Ивасюк списан с лагерного довольствия еще в марте месяце по лазаретному рапорту. Шугай и тут не ошибся. До весны ихтиолог так-таки и не дожил. Кинулись за Шугаем, чтобы хоть что-нибудь узнать от самого участника о съеденных рыбах. Учраспред сообщил: подрывник Шугай, как досрочно освобожденный за ударную работу, отбыл с Колымы.

Н. Нижальский

ЛОМКА СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ

За тревожным развитием международных отношений, так ярко проявившемся в поведении Хрущева в ОН, отступают на задний план многие явления внутри СССР. К одному из них следовало бы однако отнестись с большим вниманием, так как оно отразится на будущем русского народа, независимо от того, наступит или не наступит в обозримый период времени конец владычеству над ним коммунистов. Это явление можно назвать ломкой советской школы, вызываемой к жизни всё той же бурной энергией того же Хрущева, который самый процесс ломки переживает, как наслаждение «на высшем уровне».

Правда, многие из ломок Хрущева коснулись лишь структуры самого аппарата власти и потому, как большинство чисто политических явлений, скорее преходящи. Такова была, например, ломка централизованного управления хозяйством: как и можно было ожидать, проведенная в 1957 году децентрализация мало к чему привела; некоторые пороки централизации сменились обратными, на почве быстро проступившего «областничества», возобладавшего в ста с лишним областных советах народного хозяйства; в результате, реформу пришлось наполовину упразднить созданьем совета народного хозяйства РСФСР, что восстановило централизацию на двух третях СССР.

Но происходящая ныне ломка школьной системы, по природе вещей, будет ощущаться в течение многих десятилетий, пока не сойдет со сцены поколенье, которое ей подвергается. Между тем, школьная система была одним из немногих удачных звеньев советской организации общества. Опросы лиц, бежавших «оттуда», почти всегда ставят эту систему на первое место среди положительных достижений советского периода русской истории.

Система эта сложилась не сразу. Ленин провел свою реформу, которая выразилась в создании единой девятилетки вместо отрезанных друг от друга низших и средних школ, и в введении, в принципе, «политехнического» образованья. Первая часть реформы, которая отвечала передовым теченьям

русской педагогической мысли и была намечена к осуществлению в других, более совершенных формах последним царским министром народного просвещения гр. П. Н. Игнатьевым, оказалась удачной и удержалась до настоящего времени, с прибавкой 10-го класса. Вторая часть, политехническое образованье, провалилась полностью. О ней скоро забыли, но заменили было введеньем методов «прогрессивного обученья» без всякой к тому подготовки; к этому вскоре прибавился эксперимент с приемом в высшие учебные заведения не по знаньям, а по степени лойяльности.

В начале тридцатых годов обнаружилось, что школьная система не выполняет даже в малой мере своего основного назначенья, передачи знаний молодому поколенью. С фабрик и заводов стали всё чаще поступать донесенья, что директора направляют новоиспеченных инженеров на канцелярскую работу или ставят их на второстепенные роли в производстве и на вес золота ценят инженеров с дипломами царских времен или выпущенных за первые годы после революции, когда развал школы ещё только начинался. Группа видных профессоров технических и других специальных учебных заведений подала записку, в которой заявлялось, что они не могут передавать нужные знанья молодым людям, не твердым в 4 правилах арифметики и зачастую безграмотно говорящим и пишущим.

Это был разгар плановой горячки. Без всё увеличивающегося числа хороших инженеров было немыслимо осуществить главную цель планированья — индустриализацию. Сталин недолго колебался. В течение 1932-1935 гг. он прекратил сумасбродную затею с прогрессивным образованьем, равно как отбор студентов по классовому принципу, но сохранил принцип единой, уже 10-летней школы.

Так создалась школьная система, которая просуществовала четверть века, но с 1958 года она обречена на слом. Сталин не знал никаких школьных систем, кроме дореволюционной русской, которая своё назначенье выполняла, и переделал советскую систему по её образцу. Десятилетку, после его реформы, можно вкратце обрисовать, как сочетанье прежней начальной школы с реальным училищем. Характерное для дореволюционной школы многообразие форм и программ было однако отброшено: Сталину конечно не нужны были старые классические гимназии или к тому времени начинавшие развиваться на западе неогуманитарные школы с упором на новые языки, литературу и историю.

Обновленная школа пошла на лад. Ко времени тогдашней

реформы, а именно в 1931 году, уже было достигнуто всеобщее обученье детей в течение 4 лет. Но по десятилетнему плану, принятому еще до войны, это должно было осуществиться уже в 1921 году. Постепенно совершался переход ко всеобщему обучению в течение 7 лет, и совсем недавно, на 20-ом съезде партии, было намечено «увенчанье зданья», — переход в конце 1960 года к всеобщему десятилетнему обученью. До этого было ещё далеко: к началу хрущевской ломки приблизительно половина юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет проходили полную десятилетку, т. е. получали образование приблизительно в объеме прежних реальных училищ. На этой почве удалось вернуть высшее образование к прежнему высокому уровню (хотя и не по всем отраслям знанья), с увеличеньем во много раз числа лиц, его получающих. В «вузы», т. е. в 33 университета и свыше 700 специальных институтов преимущественно педагогических и технических, а также сельско-хозяйственных и медицинских, ежегодно принималась, однако, лишь одна шестая часть окончивших десятилетку, а именно несколько более трехсот тысяч (не считая «заочников») из числа 1,800 тысяч выпускников из десятилеток. Отбор, в принципе, производился по степени пригодности. Все медалисты принимались безусловно, хотя часто и не туда, куда они стремились в первую очередь, так как желающих поступить в некоторые институты, окончанье которых обеспечивает наиболее заманчивые карьеры, часто бывало во много раз больше, нежели вакансий. Остающиеся после приема медалистов вакансии замещались по строгим конкурсным экзаменам. От принятых требуется 5 или 6 лет напряженного труда, но ныне все студенты получают стипендии. Неуспевающих немедленно выбрасывают за борт — дореволюционный тип «вечного студента» исчез без следа. Кончающие курс должны в течение 3 или 4 лет отрабатывать стипендию на местах по указанью начальства, при чем во многих случаях кончающим дается некоторая возможность выбора. Но в дальнейшем для всех, кроме лентяев и неудачников, карьера обеспечена, так как число кончающих по известной специальности приблизительно равно открывающемуся в среднем за год числу вакансий. Как видно, система поощряет учеников средней школы и студентов работать как можно лучше, и поощряет самым мощным из возможных средств — открытием лучших жизненных перспектив для наиболее успешно учащихся.

На западе лишь недавно дали себе отчет в этой стороне

советского строя. Когда был удачно запущен первый спутник, это вызвало впечатление разорвавшейся бомбы. Как, этот еще полудикий, почти сплошь неграмотный русский народ сделал то, о чем тогда американцы еще только мечтали! Многие стали лихорадочно собирать сведенья о постановке народного образованья в СССР и волей-неволей приходили к выводу, что СССР ежегодно выпускает из своих школ больше специалистов, нежели США. Впервые страх обуял многих государственных и общественных деятелей — не переходит ли стяг прогресса от Запада к еще недавно варварскому Востоку. Страхи эти, конечно, были преувеличены — школьная система СССР выпускает много знающих специалистов, но пренебрегает другими сторонами культуры. Но гордую мысль покойного Д. Ф. Доллеса, будто СССР позволяет себе дерзкие наскоки на Запад «с позиции слабости», а не силы, пришлось отбросить.

И вот теперь школьная система, ознакомленье с которой не на шутку встревожило Запад, ломается. Вместо неё, по настоянию Хрущева, но вопреки протестам выдающихся русских педагогов, членов Академии Педагогических Наук и всех 15 республиканских Институтов народного образованья, вводится система, которая оживляет и труп ленинского политехнического образованья, и ранне-сталинскую систему подбора студентов по классовому признаку и лойяльности. Отбрасывается план всеобщего 10-летнего обученья и отменяется непрерывность образовательного пути с раннего детства до предела, уготованного каждому индивиду его способностями, желаньем учиться и судьбой. Каковы же причины ломки?

Прежде всего, система народного образованья, сложившаяся в СССР, стала работать против основного заданья режима, построенья коммунизма как общества подлинно, а не только формально равных граждан. Конечно, далеко не только на почве образовательной системы возникло новое классовое общество. Но система эта, как она сложилась 25 лет назад, явно этому процессу содействовала. В сущности, она стала главным орудием социальной дифференциации — попасть на верхушку социальной системы имеют наибольший шанс те, кто получил наилучшее образованье. Это как будто очень демократично; но сам Хрущев разоблачил, что на практике дело обстоит совсем не так, как следовало бы: влиятельные лица вызывают директоров и преподавателей и дают им понять, что их сыновья и дочери должны получить наивысшие отметки, гарантирующие им поступленье в высшие учебные заведенья — и директора и преподаватели волей-неволей

идут им навстречу. К тому же, в почти коммунистическом обществе продолжает действовать закономерность, давно установленная относительно «буржуазных» обществ: при прочих равных условиях, дети лиц состоятельных и образованных учатся успешнее, нежели остальные. В результате, высшие классы советского общества начинают пополняться преимущественно молодыми людьми, родившимися в семьях, к этим классам принадлежащих. На этой почве коммунизма не построить.

Вторая опасность за последние годы часто обличалась в советской печати. В рабоче-крестьянском государстве (кстати, этот термин совсем вышел из употребленья) развилось глубокое презренье представителей умственного труда к лицам, занятым физическим трудом. Как однажды выразился Хрущев, в семьях родители пугают отстающих в школьной работе детей — будешь плохо учиться, придется стать фабричным рабочим, колхозником или дояркой. Положенье осложняется тем, что, как уже было сказано, в настоящее время половина подростков получает образованье, приблизительно соответствующее тому, которое в старое время получали реалисты; но для значительного большинства из них не находится места ни в высших учебных заведеньях, ни в таких категориях труда, которые соответствовали бы полученным ими знаньям. На этой почве, среди советской молодежи поднялось броженье, не на шутку тревожащее власть имущих. Молодежь отлынивает от слишком низменной для неё работы, старается как-то словчиться; одни живут на средства родителей, другие становятся спекулянтами, то-есть, по-просту говоря, стараются устроить свой быт на почве нелегальной коммерции. Когда их ловят и судят, они постоянно заявляют: зачем же я десять лет из кожи лез вон, всякую физику и химию превзошел, неужели для того, чтобы становиться за станок или итти работать в каком-то хлеву? Как преемники опытных революционеров, люди близкие к Кремлю отлично понимают, чем это пахнет: именно из элементов, которые не находят себе в обществе места, отвечающего их знаньям и развитию, складываются ячейки революционных движений. Рассуждающие о русских делах американцы иногда высказывают мысль, что высокий уровень образованья, который за краткое время стал достояньем чуть ли не большинства советской молодежи, в силу внутренней необходимости приведет к паденью диктатуры. Дело обстоит не так просто, как им кажется, но в мысли, что подъем народного

образованья каким-то образом подорвет существующий режим, есть доля правды.

Независимо от только что рассмотренных политических опасностей, на горизонте появилась третья — угрожающий недостаток рабочей силы из-за громадных потерь, понесенных СССР за годы войны. Как было подсчитано мной в 1946 году и тогда же сообщено читателям «Нового Журнала» (кн. 19), к тому времени населенье СССР оказалось на 37 миллионов меньше, нежели можно было ожидать при сохранении довоенного темпа прироста. В своё время мои подсчеты, опубликованные одновременно и по-английски, встретили дружный отпор русских и американских знатоков вопроса (за исключеньем проф. С. Н. Прокоповича); они утверждали, что потери были гораздо меньше. Но появившиеся в 1956 году в СССР приблизительные подсчеты, а затем недавно опубликованные данные переписи 1959 года показали совершенно ясно, что потери были скорее больше, нежели меньше моих предположений.

Но почему же именно теперь стали сказываться эти потери? Дело в том, что одной из главных частей этих потерь был колоссальный дефицит рождаемости, которая за время войны упала до половины прежнего уровня; ныне выяснилось, что этот дефицит продолжался и в течение всех 40-х годов. По данным переписи 1959 года, в СССР жителей в возрасте от 10 до 20 лет (т. е. родившихся в 1940-1949 гг.) оказалось 31.7 милл., а в возрасте от 20 до 30 лет (т. е. родившихся в 1930-1939 гг.) — 38.5 милл., т. е. на семь миллионов больше, тогда как при нормальном ходе демографического процесса более старая группа должна была быть значительно меньшей, чем более молодая.

И вот, как раз в 1958 году, когда началась хрущевская ломка школы, в рабочую массу начали вступать сильно дефицитные возрастные группы. Максимум дефицита почувствуется только в 1968 году, но еще в 2000-м году дефицит будет заметен в старших категориях рабочей силы. Между тем, в СССР всегда ощущается недостаток рабочей силы, на почве плохой организации труда и низкой его производительности. Так, в СССР для того, чтобы произвести известное количество сельско-хозяйственных продуктов, требуется в пять раз больше людей, нежели в США. Это вероятно и послужило главным основаньем к затеянной Хрущевым ломке, которая для большинства подростков пресечет их нормальную школьную жизнь в пятнадцатилетнем возрасте, вместо 18-ти лет, как это имеет

место сейчас приблизительно для половины соответствующих возрастных групп. Для другой же половины это и теперь наступает в возрасте 14-15 лет. Половина каждой годовой группы в этом возрасте составляет свыше полутора миллиона человек; этой половины приблизительно хватит для покрытия дефицита рождаемости. Об этом Хрущев, правда, не говорит; но трудно сомневаться в том, что демографический фактор сыграл важную роль в его решении, наравне с политическими. Как бы то ни было, 24-го декабря 1958 г. он провел через верховный совет СССР закон «о приближении школы к жизни», как он лицемерно назван в официальных публикациях.

Уже форма этого закона заслуживает вниманья. Это скорее всего разделенные на статьи и параграфы выдержки из тезисов, представленных Хрущевым ЦК партии; в этом отношении, но далеко не только в этом, он напомнил времена Ленина, который, между прочим, не стеснялся издавать в форме декретов даже статьи своих политических противников; так было, как известно, с первым декретом о земле.

Главные постановления закона таковы. По существу, десятилетка, которую ещё так недавно партия хотела сделать обязательной для всего молодого поколенья, упраздняется. Вместо неё, создается восьмилетка, обязательная для всех, а над ней — трехлетняя средняя школа.

Уже в восьмилетке явно проступает принцип политехнического образованья. Правда, школе дается заданье — сообщать детям больше знаний, нежели давала 7-летка, в особенности по математике, физике, химии и биологии, а также устранить до сих пор процветающую безграмотность учащихся, т. е. неусвоенье ими в полной мере русской речи и письма. Но главное заданье — это систематическое трудовое воспитанье детей, для подготовки их к общественно-полезному труду. В четырех младших классах это принимает сравнительно безобидные формы: дети будут работать с бумагой, картоном, тканями и глиной и выращивать растения. Но в четырех старших классах они будут систематически заниматься в школьных мастерских, ознакомляясь с разными ремеслами, или на полевых и огородных участках. Во всех классах предполагается полное самообслуживанье; иными словами, дети, вероятно, при помощи учителей, будут мести полы, топить печи, чистить картошку и т. д. — к этому, в сущности, свелась ленинская политехнизация.

Откуда на всё это возьмется время? Правда, прибавляется новый 8-й класс к прежним семи, а курс истории будет начи-

наться на два года позже, чем сейчас. Закон однако предвидит, что этого будет недостаточно, ибо «политехнической» стороне образованья должно быть отведено немало часов. Поэтому закон предписывает сократить объем материала, подлежащего усвоенью учащимися, путем исключенья второстепенных вопросов, а, главное, удлиннить учебный день и учебный год. Между тем, несколько лет тому назад выдающиеся советские врачи осмелились доложить по начальству, что советские школьники перегружены работой, отчего страдает их здоровье. Что же будет с ними теперь?

Как уже было сказано, над восьмилетней школой надстраивается трехлетняя средняя школа, в основном двух типов: дневная школа с производственным обученьем и вечерняя школа «без отрыва от производства», иными словами, школа, ученики которой утром и днем будут заняты на фабрике или в колхозе, правда, при сокращенном рабочем дне и сокращенной неделе, и лишь после этого будут заниматься общеобразовательными преметами. В школах первого типа две трети времени будет отдаваться общим и политехническим предметам, а треть производственному обученью в школьных мастерских или производительному труду на фабриках или в колхозах. Это будет делаться для того, чтобы приучить всех без исключенья школьников к производственному труду и в какой-то мере использовать их труд, и тем заткнуть дыры, получающиеся от дефицита рождаемости за сороковые годы. Ученики школ второго типа сразу, т. е. в 15 лет, вольются в трудовую силу; закон и изданные в его развитие инструкции обещают, что эти ученики получат такую-же подготовку, как ученики дневных школ; но исполнимость таких обещаний весьма сомнительна. Пока еще не видно, сколько учеников будет попадать в дневные и сколько в вечерние школы; не видно также, какой процент кончающих восьмилетнюю школу будет вообще попадать в трехлетнюю среднюю школу. По имеющимся сведеньям, этот процент будет гораздо ниже нынешнего. Это и понятно — одной из целей хрущевской ломки является значительное уменьшенье числа лиц, «зря» изучавших разные тригонометрии, стереометрии, химии и другие ненужные фабричному рабочему науки.

Крупная ломка предстоит и в высших учебных заведеньях. Прежде всего, при приеме будет отдаваться предпочтенье лицам с производственным стажем в 2-3 года (это фактически уже введено). Будет также обращаться особое вниманье на рекомендации партийных, комсомольских и профсо-

юзных организаций. Это означает возврат к порядкам начала 30-х годов, когда университетские аудитории заполнялись неучами, отличившимися в деле строительства социализма. Отменены привилегии медалистов, и в советской печати уже появляются заметки о том, что многие хорошие ученики перестают стараться — не всё-ли равно, кончить ли на тройку или на пятерку.

В дальнейшем упор будет делаться на заочное и вечернее обученье. Значит, большинство студентов будет одновременно рабочими, у которых на «учебу» будет оставаться по необходимости ограниченное время. Исключенье будет сделано для студентов первых двух курсов, изучающих специальности, по которым необходимо с самого начала усвоить ряд трудных теоретических предметов. Но даже для этой привилегированной категории образовательный путь сложится так: до 15 лет — общее образованье с дополнительной нагрузкой по части производительного труда, начиная с 11 лет; с 15 до 18 лет — ублюдочная средняя школа двух типов; с 18 до 21 года — производственный стаж; с 21 до 23 лет — подлинное высшее образованье, сосредоточенное на изучении теоретических наук; после 23 лет и до еще невыясненного возраста — опять смешенье ролей студентов и рабочих, с упором на вторую, на которую пойдет наиболее ценное и подходящее для умственной работы дневное время. Ломка высшей школы будет, пожалуй, даже радикальнее, чем ломка средней.

В полном своем блеске — или убожестве — хрущевская школа предстанет еще нескоро. В минувшем учебном году на новые учебные планы были повсеместно переведены классы с первого по пятый во всех школах, но лишь ограниченное число школ было переведено на новые рельсы целиком. Сплошная реформа будет продвигаться ежегодно на один класс, так что новые восьмые классы заработают лишь с 1962-63 учебного года, а новый одиннадцатый класс на три года позже. Высшие школы будут полностью перестроены ещё не так скоро; но уже сейчас принимаются меры к тому, чтобы студенты участвовали в производственном процессе. Этим достигается внушительное подкрепленье рабочей силы, столь нужной Хрущеву для выполнения его внешних и внутренних предприятий.

Покупается этот результат дорогой ценой — подрывом образовательной системы, имеющей огромные недостатки (в первую очередь односторонность), но всё же неоспоримо поднявшей культурный уровень населения СССР. Этот подрыв

очевиден для всякого, кто имел или имеет дело с преподаваньем. Всякий профессор или преподаватель знает, как разрушителен даже полугодовой перерыв в образовании. На это указывали выдающиеся советские педагоги, пока тезисы Хрущева не были запечатлены в резолюциях ЦК, а потом и в законе 24-го декабря 1958 года. Теперь у них, в советских условиях, запечатаны уста. Но всякий знает, что смешенье ролей всегда и во всем мешает делу; а сущность реформы средней и высшей школы, как было показано выше, к этому и сводится: ученик или студент должен одновременно быть и рабочим.

Некоторые скажут: практические занятия всегда подкрепляют теоретические знанья учащихся и потому полезны. Совершенно верно; и практические занятия, хотя и в недостаточной мере, были известны дореволюционной России и получили значительное развитие за последние десятилетия. Но было бы просто нелепо понимать хрущевскую рефому, как развитие практических занятий. Эта ломка, уже со стадии средней школы, отрывает учащихся от планомерного и сосредоточенного ученья и имеет задачей отнюдь не улучшить подготовку будущих специалистов, а пополнить рабочую силу и одновременно разрешить некоторые противоречия, которые, вопреки ожиданьям строителей коммунизма, обнаружились в их обществе.

Сверх того, реформа Хрущева, как всё им предпринимаемое, проводится без всякой подготовки, не считаясь с существующими условиями. О встречаемых реформою препятствиях свидетельствуют, хотя и отрывочные, но достаточные сообщения советской печати. Пока что дело идет преимущественно о старших классах нынешней десятилетки, преображаемой по мановению палочки Хрущева. Ученики этих классов в тех школах, где реформа уже проводится, должны работать или в школьных мастерских, или в производственных предприятиях. Что же получается? Школьные мастерские фактически не существуют, а за три года нужно их создать в 27 тысячах школ; прямо трудно себе представить, как это можно сделать. Но ведь мало иметь мастерские; нужно иметь материал для работы, орудия, подготовленных преподавателей, специальные учебные пособия. Ничего этого нет и в помине. Вот маленькое, но типичное сообщение. Корреспондент заглянул в так называемую мастерскую одной из школ. В ней три мальчика усердно работали какими-то примитивными ножницами, пытаясь вырезать кусок из старого ржавого ведра; это должно было дать им материал для дальнейшей работы. Вскоре

один из мальчиков воскликнул — опять ничего не вышло! Ржавая жесть треснула не там, где полагалось. Учитель безнадежно махнул рукой. В сущности, это повторение старой истории времен ленинской политехнической школы.

А вот, что происходит на предприятиях. По приказанию высшего начальства, местное начальство «прикрепляет» определенные станки к ученикам, прикомандированным к данному цеху. Но это вовсе не значит, что школьники смогут на этих станках работать. Они приходят и находят станки занятыми на очередном производственном процессе. Постоят, постоят, и уйдут себе домой. Это совершенно понятно: при бедности советской техники просто нельзя отдать нужные станки в руки ничего в них не понимающих юношей и девушек. И это происходило уже в минувшем учебном году, когда число школ, отряжающих своих учеников на заводы было невелико. Чем дальше, тем будет хуже.

Хрущев всегда видит лишь ближайшие, но не более отдаленные, хотя и более важные последствия своих действий; для «политических деятелей» типа Хрущева это бо́льшое преимущество. Настоящая катастрофа разразится только лет через десять, когда высшие учебные заведенья будут заполнены почти сплошь неучами. Тогда вероятно повторится история половины 30-х годов: хрущевские школьные реформы будут отменены и кто-то другой (вряд-ли к тому времени Хрущев еще будет у власти, или даже жив) опять сделает крутой поворот.

Спрашивается однако, не таит ли хрущевская реформа опасности для ее автора, а именно возмущенья среди нынешнего высшего класса, который, при некоторых условиях, мог бы выкинуть его за борт. Возмущенья можно ожидать, поскольку сыновьям и дочерям нынешних сановников, и приравненных к ним лиц придется работать в каких-то школьных мастерских, отбывать двухлетний производственный стаж, а затем становиться какими-то полустудентами, полурабочими. Насколько можно судить, в предотвращенье такого возмущенья приняты меры, не запечатленные в законе 1958 года. Сохраняются в неприкосновенности суворовские и нахимовские школы — для детей генералитета и высшего офицерства. И развивается сеть учебных заведений, в коих преподаванье с самых низших классов ведется на одном из иностранных языков; школы эти явно предназначаются для молодежи из нового высшего класса. Некоторые назовут еще школы-интернаты; но думается, что это неверно — эти школы повиди-

мому играют роль приютов для детей, потерявших родителей, или родившихся в глухих местах, где еще долго будет невозможно поднять образованье на должную высоту. К тому же, временно сохраняется некоторое число нынешних десятилеток, в которые по протекции попадут все те же дети из высшего класса; а, как известно, временные меры часто оказываются прочнее постоянных. А производственный стаж, для детей власть имущих, легко обратится в фикцию.

Если эти догадки правильны, то первая из целей затеваемой ломки не будет достигнута; напротив того, наследственная принадлежность к высшему классу еще более утвердится, но будет как будто прикрыта. Вторая цель, искорененье одной из причин броженья среди молодежи, будет осуществлена ценой отмены доступного для всех среднего образованья, еще совсем недавно обещанного партией. Третья цель, расширенье рабочей силы, будет осуществлена — на бумаге; молодежь, работающая уже в годы пребыванья в средней и высшей школе, заполнит пустоты в рабочей силе. На самом деле, силы молодежи будут растрачены зря — но расточенье энергии есть один из основных законов «строющегося коммунизма», да и вообще советского общества с самого его зачатья.

Н. С. Тимашев

ЛЕГЕНДЫ О СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Общая убежденность в повышении жизненного уровня деревни за последние годы основана, по существу, на вере, а не на фактах. В доступных нам советских источниках нельзя найти ни одного факта, который бесспорно доказывал бы, что колхозным массам при Хрущеве стало лучше жить, чем при Сталине. В них только истолковывается соответствующим образом кое-что из происходящего. Но что касается существа всего толкуемого, то оно сплошь оказывается весьма далеким от лучезарности, поскольку его бывает возможно установить на основании скудных и намеренно запутанных косвенных данных. Особенно, поскольку дело идет о двух основных мерилах благосостояния деревни, — высоте доходов «тружеников земледелия» и объеме их потребления.

I

Что касается доходов, то нельзя отрицать, что за последние годы в этой области выявились некоторые обстоятельства, способные — издалека — настраивать наблюдателей на благодушный лад. Обстоятельства эти относятся к денежным заработкам колхозников в «общественном хозяйстве» и сводятся, в основном, к трем пунктам: 1) денежная оплата трудодня повсеместно и очень сильно растет: по официальным расчетам, в 1960 году она должна была, в среднем по Союзу, утроиться, по сравнению с 1953 годом; 2) выплата зарабатываемого постепенно упорядочивается путем введения периодического (в идеале — ежемесячного) «авансирования» колхозникам 25% причитающейся им суммы впредь до полного расчета (до сих пор они получали то, что следовало, только раз в году); 3) на очередь дня поставлен вопрос придания денежной оплате труда устойчивости и обеспечения колхозникам возможности знать вперед, сколько и за что им полагается; этого надеются достигнуть, ликвидировав расчеты на трудодни и перейдя на сдельщину.

Но надо просто отворачиваться от жизни, чтобы не замечать также другого рода сдвигов в доходах колхозников после появления у власти Хрущева, — сдвигов вниз и к беспорядочности.

Катастрофически сократилось и, чем дальше, тем больше сокращается количество зерна и других продуктов, выдававшихся до сих пор по трудодням, в дополнение к денежному вознаграждению. На Украине уже в 1957 году от 70 до 90 процентов колхозов перешло на «чисто-денежную оплату труда», т. е. совершенно прекратилась выдача «натурой» и стали деньгами выплачивать колхозникам её стоимость по государственным закупочным ценам. По другим частям Союза дело движется не так быстро, но тоже, повидимому, зашло в передовых колхозах довольно далеко, судя по тому, что в резолюциях, принимаемых на этот счет на разного рода собраниях и съездах, срок окончательной ликвидации натуральной оплаты трудодня определяется обычно в год-два.

Не менее резко упал также и планомерно сводится властью к нулю натуральный доход колхозников от приусадебного хозяйства. После пересмотра колхозного устава в 1956 году приусадебные участки сразу же были урезаны приблизительно на одну треть, и затем урезка их непрерывно продолжалась и стала настолько повседневным явлением, что её уже перестали скрывать и начали официально расценивать, как положительное явление. В настоящий момент колхозникам просто физически невозможно выращивать для себя сколько-нибудь достаточное количество картофеля и овощей. Судьба их молочного хозяйства общеизвестна.

В то же время положен конец самостоятельным денежным доходам колхозников, поскольку они получали их от продажи «излишков» на вольном рынке и от заработков на стороне. Борьбу с самостоятельными рыночными выступлениями колхозников начал ещё Маленков. Хрущев усвоил и год от году заострял политику Маленкова, и в конце концов колхозники совсем потеряли, после 21-го съезда партии, возможность свободной продажи продуктов. Если у них есть, что продавать, они должны теперь делать это через колхозное правление, которое, в свою очередь, должно обращаться к услугам кооперативных организаций, не склонных и не способных обеспечивать колхозникам их былые торговые прибыли. Что же касается денежной поддержки, получавшейся когда-то колхозниками от уходившей на заработки молодежи, то поддержка эта начисто прекратилась, когда, после полубесплодной двух-

летней пропаганды в пользу возвращения «отходников» в «родные колхозы», пересмотр артельного устава позволил власти ввести лютые кары против семей невозвращенцев в виде отнятия у них от четверти до половины, а в «особо важных» случаях даже всей приусадебной земли.

Было бы также упущением не считаться с тем, что наряду со всеми этими потрясениями хрущевская политика принесла с собой немало других ударов по материальному положению колхозников, ударов незаметных и никем не учитываемых, но, надо думать, чувствительных. Во всяком случае нельзя забывать хотя бы о том, чем сопровождается сокращение выдач по трудодням натуры и замена последней деньгами. Поскольку колхозникам удавалось раньше продавать часть выдававшихся продуктов на вольном рынке, они выручали за них по крайней мере в три-пять раз больше, чем то, что за них выплачивается сейчас по государственным закупочным ценам. Поскольку они потребляли натуру сами, она доставалась им дешевле их теперешней колхозной «себестоимости» (официальный максимум цены, по какой они могут покупать предметы питания в колхозных ларьках), потому что раньше в издержки её производства не входили расходы по организации и ведению ларьковой торговли. А бок о бок с этим начинает тянуться длинная цепь повседневных хозяйственных неприятностей, которых колхозники до сих пор не испытывали: потеря времени в очередях; систематическая недостача в ларьках то одного, то другого; дурное качество продуктов; обвешиванье; затруднения с доставкой покупаемого на дом (почти исключительно картофеля и овощей) и т. п.

Спрашивается: есть ли у нас какие-нибудь основания для уверенности, что повышения вдвое-втрое денежной оплаты труда и упорядочения её выдачи оказалось в последние годы достаточно для того, чтобы загладить все эти большие и малые ущербы в материальной обеспеченности колхозников и тем более, чтобы улучшить их общее хозяйственное положение? Решительно никаких, поскольку мы знаем, насколько скромную роль играли в бюджете колхозников денежные получки по трудодням в 1952-1953 годах, и, значит, насколько круто они должны бы были сейчас повыситься, чтобы общая сумма доходов колхозников осталась хотя бы на прежнем уровне.

То, что колхозники получали по трудодням деньгами, составляло в 1952-1953 годах, по данным Хрущева («Правда», 16 декабря 1958 г.), лишь несколько больше чем четвертую

часть их внутриколхозных заработков и вряд ли больше одной двенадцатой общей величины их дохода от работы в колхозе и от приусадебного хозяйства (предполагая, согласно Мерцалову,* что на последнем они зарабатывали приблизительно в два раза больше, чем в колхозе). Поэтому балансирование выгод и потерь колхозников, имевших место за последние 6-7 лет, могло бы осуществиться за счет повышения денежной оплаты трудодня лишь в том случае, если бы оно проводилось в таких размерах.

Поскольку дело идет о сохранении на дохрущевском уровне одного только внутриколхозного дохода колхозников, денежная оплата трудодня должна бы была повыситься к 1960 году не меньше, чем на 150%, т. е. увеличиться в два с половиной раза, так как выдачи натурой успели сократиться к этому времени, по самому осторожному расчету, процентов на пятьдесят.

Поскольку задачей дня является покрытие урона, наносимого колхозникам гонением на приусадебное хозяйство, то при сокращении доходов последнего наполовину, денежные заработки в колхозах должны бы были повыситься на 400%, или упятериться; при ликвидации же его на три четверти, подняться на 600%, т. е. усемериться.

Наконец, поскольку преследуется сразу то и другое, и, за счет денежной оплаты трудодня, предполагается свести к нулю убытки колхозников как от сокращения натуральных получек по трудодням, так и от падения приусадебных доходов, подъем денежных внутриколхозных заработков должен бы был измеряться, очевидно, суммой только что указанных коэффициентов: при одновременном сокращении обоего рода поступлений он должен бы был равняться 550 процентам дохрущевской оплаты трудодня, что означало бы, что последняя увеличилась *в шесть с половиною раз*; при сокращении же выдач продуктами наполовину, а приусадебных поступлений на три четверти мы должны бы были иметь перед собой повышение денежной оплаты трудодня на 700%, по сравнению с тем, какой она была в 1952-1953 годах, или ее *увеличение в восемь раз*.

Все эти расчеты, конечно, весьма приблизительны, и скорее прикрашивают действительность, чем сгущают краски. Но и так, как они есть, они исключают всякую возможность по-

---

* "Soviet Society Today". A Symposium of the Institute for the Study of the USSR. Munich, 1958. Page 132.

верить на слово официальным утверждениям, что, повысив денежную оплату трудодня в два-три раза и предприняв некоторые меры к упорядочению ее выдач, власти удалось не только сохранить на прежнем уровне, но даже повысить общий доход колхозников. Тем более, что ни сама власть, ни пропагандный аппарат не придают, по всей видимости, этим уверениям сколько-нибудь серьезного значения. Иначе советские источники не стали бы сообщать данные о доходах колхозников в такой форме, которая явно рассчитана на сбивание исследователей с толку и лишения их возможности установить действительное положение вещей: не приводили бы общей суммы денежных выдач колхозникам, когда речь идет о средней оплате трудодня; не говорили бы туманно о «доходе» или «реальном доходе», не поясняя, имеют ли они в виду денежный только или также натуральный доход, один внутриколхозный доход или сумму внутриколхозных поступлений и приусадебных; не приводили бы данных о стоимости натуральных выдач до и после прихода к власти Хрущева, умалчивая об основании их расценки на деньги; не исходили бы, при сообщении данных о движении доходов, то от одного, то от другого; не толковали бы выдачу колхозникам авансов или переход на чисто-денежную оплату труда, как рост денежного вознаграждения и т. д.

II

Еще в меньшей мере является неоспоримым фактом повышение бытового жизненного уровня колхозников.

Можно, конечно, считать установленным, что в колхозах сейчас больше покупают «городских» товаров (от сахара и шерстяных платков до телевизоров и холодильников), чем в 1952-1953 годах, и что потребление их успело здесь за последнее время гораздо сильнее вырасти, чем в само́м городе (обычный основной аргумент «оптимистов»). Но почему мы непременно должны усматривать в этом симптом общего роста потребительских возможностей колхозников? Это свободно может быть результатом обстоятельств, не имеющих ничего общего с покупками и потребностями колхозников; например, результатом того, что в колхозах появился сейчас *особый слой* относительно состоятельных *жителей*, какого не было 6-7 лет тому назад.

Не забудем: начиная с 1954 года, сотни тысяч агрономов, инженеров, зоотехников, лесоводов «организаторов масс» и

других интеллигентных и полуинтеллигентных специалистов навсегда переселились из города в деревню; миллионы городской учащейся молодежи стали каждый год по три и больше месяцев проводить в деревне на полевых работах; в огромной мере участились наезды на деревню, — для контроля и инструктирования, — партийных и советских чиновников из районных и областных центров... У всех этих постоянных и временных пришельцев очень часто больше средств, чем у коренных обитателей колхозов, и всегда более тонкие вкусы и навыки. В то же время, опять-таки с 1954 года, весьма далеко шагнуло вперед издавна проводившееся властью выделение из колхозной массы и щедрое вознаграждение, за счет последней, активного и надежного меньшинства. Не говоря уже о правлении и прочем колхозном ведущем слое, механизаторы и зоотехники всех видов настолько хорошо зарабатывают сейчас, в отличие от дохрущевских времен, что легко могут позволять себе «роскошь», о какой не приходится и мечтать рядовым колхозникам.

Но самое главное, что не позволяет оптимистически толковать рост спроса деревни на промышленные товары, это то, что, бок о бок с последним, в колхозах стремительно *сокращается* сейчас *потребление предметов питания*. Деревня, и в первую очередь, конечно, рядовая рабочая часть ее, буквально *не доедает* сейчас, по сравнению с тем, что было до прихода Хрущева к власти. Этому не приходится удивляться, приняв во внимание хрущевскую политику по отношению к приусадебному хозяйству и его систему заготовок, в результате которой в деревне каждый год остается сейчас, по выполнении всех изъятий и добровольных продаж, гораздо меньше зерна, мяса и других продуктов, чем раньше, и это как в общем итоге, так и в среднем на гектар посевной площади. Об этом не пишут, конечно, в общей форме, но легко можно было бы привести сколько угодно отдельных бытовых сообщений с мест, заставляющих думать, что дело зашло тут далеко. Поскольку в колхозах сохранились еще выдачи натурой, из них, как правило, давно выпало зерно, и колхозники получают только картофель и овощи. Где колхозы перешли или переходят к чисто-денежной оплате труда, они спешно обзаводятся овощными лавочками, и последние пользуются такой популярностью (несмотря на то, что качество товара в них очень часто оставляет желать лучшего), что право пользоваться ими рассматривается, как немалая привилегия; чтобы получить эту привилегию, колхозники дол-

жны *вперед уплачивать* колхозу 20% своего денежного заработка, да и в этом случае объем разрешаемых покупок обычно ставится в строгое отношение к числу отработанных дней...

Регулярное недоедание плохо гармонирует с материально-бытовым благополучием, и трудно представить, чтобы не кто-нибудь из элиты, а средний колхозник мог позволить себе щегольнуть в резиновых сапогах или даже полакомиться лишним куском сахара. Тем более, что с явлениями такого рода мы встречаемся далеко не на каждом шагу. Рост потребления городских товаров в деревне кажется внушительным только при его процентном измерении. По своей абсолютной величине он очень скромен.

Не приходится отрицать, что имеет место и второе обстоятельство, на которое обычно ссылаются, как на симптом улучшения материально-бытового положения колхозников, — рост жилищного строительства. По утверждению Хрущева на декабрьском пленуме 1958 года, «за последние 5 лет построено 3,3 миллиона домов в сельской местности», — количество, достаточное для обеспечения новым жилищем 10-12% всех семей колхозников.

Однако не подлежит сомнению также тот факт, что, в общем и целом, жилищные условия не только не улучшились в деревне за хрущевские годы, но резко ухудшились, и ухудшились отнюдь не в результате только того, что пришло время расплачиваться за долголетнее оставление домов без ремонта, и что с каждым годом стали сильнее давать себя знать до сих пор не вполне устраненные еще военные разрушения. Вся аграрная политика Хрущева это непрерывный ряд ударов по жилищным условиям, один другого болезненнее. Не только массовая переброска колхозников, — часто по национальному признаку, — из одного конца Союза в другой, с вынуждением их оставлять свое жилье на произвол судьбы и отправляться куда-то, где никто не думает о подготовке для них какого-нибудь помещения; не только освоение целины, при котором внезапно срываемым с места «патриотам» обязательно приходится не меньше нескольких месяцев жить в «вагончиках», а то и просто под открытым небом, а потом группами селиться в пресловутых «стандартных домиках»; не только укрупнение колхозов, всегда вносящее с собой жилищный хаос, если не во все, то в известную часть поселений, попадающих в сферу его действия, — и это даже тогда, когда оно не сопровождается сселением колхозников в

новый «колхозный центр». Губительно отзываются на жилищных условиях даже мероприятия, непосредственно не касающиеся их. Достаточно вспомнить об «организованной дезорганизации» приусадебного хозяйства, от которой у колхозников опускаются руки, и пропадает охота браться на своем участке за что-нибудь серьезное; об отвлечении всех взрослых на полноденную работу на колхоз, делающем для них физически невозможным уделять дому должное внимание; о неписанном законе, заставляющем колхозников то и дело пускать к себе жить то новых вселенцев, еще не нашедших себе постоянного пристанища и мыкающихся с семьей по чужим дворам, то командируемых на полевые работы студентов.

При таких условиях усиленное жилищное строительство не может иметь и, несомненно, не имеет того лучезарного смысла, какой приписывает ему пропаганда. В какой-то части оно, конечно, вызывается повышением бытовой требовательности строющихся и их нежеланием довольствоваться жилищными условиями, всегда считавшимися в деревне нормальными; в соответствии с этим, и новые дома являются в какой-то части «добротными» строениями, иногда даже с претензиями на «шик» (дома колхозной и иной деревенской аристократии). Но в общем и целом теперешнее строительство в колхозах это попытка колхозников «из последних сил» кое-как смягчить только что описанные условия. Оно знаменует собой не тягу вверх от веками установленного жилищного стандарта, а стремленье ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы только их жилье не опускалось с этого стандарта вниз, на уровень логова. И строящиеся сейчас «дома», в целом имеют, повидимому, мало общего с тем, что мы обычно означаем этим именем. В лучшем случае они представляют собой упрощенное подобие последнего.

Ничто не укрепляет нас так в этой мысли как нижеследующее соображение Хрущева: «Наши товарищи, побывавшие в Болгарии, положительно отзываются о ценном опыте строительства, накопленного болгарскими друзьями за годы народной власти. Там широко распространено изготовление кирпича ручным способом, силами семьи, строящей свой дом... Видимо, нам целесообразно использовать болгарский опыт в сельском строительстве» («Правда», 16 декабря 1958 г.).

Третье обстоятельство, привлекающее к себе внимание оптимистов за последние годы, это то, что в деревне сильно расширилась при Хрущеве сеть учреждений по общественно-

му обслуживанию бытовых и культурных потребностей населения.

Трудно сейчас найти колхоз, где не было бы детских яслей или детдомов. Наблюдаются попытки устройства школ-интернатов. Там и сям появляются общественные столовые, бани, иногда прачечные. В корреспонденциях из передовых колхозов можно встретить сообщения об устройстве старческих домов, домов отдыха, иногда даже гостиниц. И наряду со всем этим повсеместно выросло число библиотек, клубов, читален, домов для спорта, организаций художественной самодеятельности и т. п.

Но более чем очевидно, что толковать все это в безоговорочно оптимистическом смысле было бы такой же ошибкой, как восхищаться усиленным жилищным строительством, и, в основном, по тем же причинам.

Что касается общественного обслуживания интересов детей, домохозяек, холостяков и престарелых, то оно происходит на фоне безжалостного разрушения семейного уклада деревни, являясь одновременно и попыткой смягчения его последствий, и орудием его проведения. Сколько хозяйственных и моральных трагедий кроется здесь за казовой видимостью! И какова ценность оказываемых при этом услуг? Надо быть действительно оптимистом, чтобы, зная, как вообще делаются дела в советских учреждениях (кроме показательных), не допускать сомнения в том, что о детях в яслях или интернатах заботятся не меньше, чем в семье, или что в общественных колхозных столовых можно сейчас не хуже, чем дома, поесть, в общественной бане чище вымыться... Что же касается культурных учреждений, то мы, во-первых, не знаем, кого они, как правило, обслуживают: всю ли колхозную массу, т. е. средних ли представителей последней, или же только своих и заезжих аристократов. Во-вторых, совсем неясной оказывается их работа. Кое-какая часть их, надо думать, стоит на высоте. Но многие просто лишь числятся на бумаге. А многие, вероятно работают так, что лучше бы не работали.

Что вообще общественное обслуживание бытовых и культурных нужд деревни не приходится сейчас рисовать одной розовой краской, видно из потрясающих искажений фактов, к каким обычно прибегает пропаганда в его восхвалении. Отмечу только манеру ссылаться на наблюдающиеся в последние 2-3 года «прекращение отлива молодежи» из колхозов и «массовое возвращение в колхозы» былых отходников, как на своего рода «сводное» или «суммарное» свидетельство

улучшения колхозного быта. Как будто молодежь не прикреплена сейчас к колхозам постановлениями 1956-го и следующих годов относительно отнятия у ее близких четверти, половины или даже всей земли, в случае ее ухода насторону! И как будто былых отходников побудили вернуться домой не отчаянные призывы их терроризированных семей, а жажда творчества и желание приобщиться к стремительному материальному подъему и смелому культурному взлету «села», облагодетельствованного Хрущевым!

III

Не только нет фактов сколько-нибудь бесспорно устанавливающих повышение жизненного уровня колхозников. Нет также оснований думать, что что-то вынуждает сейчас власть делать ставку на мужика и не на словах, а на деле повернуться лицом к деревне.

Почему, по мнению оптимистов, власть, если бы даже и хотела, не могла бы сейчас не отказаться от своей традиционной аграрной политики? Из всех соображений, высказываемых на этот счет, самым серьезным является то, что иначе нельзя сейчас привести в порядок сельское хозяйство, а вместе с последним и всю вообще хозяйственную и политическую жизнь СССР. Но даже и это соображение не выдерживает критики. Вдумаемся только в четкую формулировку его, даваемую Б. И. Николаевским («Соц. Вестник», 1960, № 4, стр. 111).

«Диктатуре, чтобы укрепить свое положение, необходимо повысить производительность труда в стране вообще, и производительность труда в деревне в первую очередь... Возвращение к сталинским методам грубого, прямого насилия невозможно,... потому что крестьян теперь из-под палки заставить работать нельзя... (и потому, что), чтобы проводить политику террористического насилия над деревней, особенно в массовых масштабах, необходимо иметь готовые кадры людей, согласных применять это насилие. А таких кадров диктатура теперь не имеет... Повышать производительность и на заводах, и в деревне нужно и можно только через повышение личной заинтересованности рабочих и колхозников, через поднятие их жизненного уровня».

Дело могло бы обстоять так только в том случае, если бы советская власть в какой-то мере разделяла фактические и социологические предпосылки этого рассуждения, и для нее не значило бы перестать быть самой собой, кладя их в основу

своих отношений к деревне. Но нет ничего более далекого от этого.

С первых же дней колхозного строя и до прихода Хрущева к власти Кремль неуклонно исходил в своей политике регулирования и вознаграждения труда колхозников из четырех следующих теоретических положений.

1. Определяющее влияние на уровень производительности труда оказывает не личная заинтересованность работающих, а техническая и организационная обстановка, в какой они работают, и прежде всего размер хозяйства и широта использования в нем богатых и многообразных возможностей крупного производства. Личная заинтересованность работающих только несколько усиливает хорошее действие обстановки или смягчает дурное, но не меняет его по существу.

2. Быть лично заинтересованным в успехе дела отнюдь не значит непременно связывать с ним расчеты на материальную или моральную (орден, звание героя труда и т. п.) выгоду. Не меньшей, если не большей, стимулирующей силой обладает опасение работающего что-то потерять или потерпеть в случае неуспеха, особенно когда опасение это приобретает форму страха, а предметом его являются не только хозяйственные, но и общие жизненные блага.

3. Поскольку необходимо использовать личную заинтересованность в целях поддержания производительности труда на желательном уровне, в первую очередь, и с особой силой надо пускать устрашение отстающих, не останавливаясь даже перед голым физическим террором. Поощрению успевающих надо уделять не так много внимания. В основе своей оно должно практиковаться лишь по отношению к активистам и передовикам, — с тем, чтобы делать их достижения неотразимым на вид доводом в пользу неустанного повышения норм выработки. И даже это имеет смысл делать лишь постольку, поскольку само собою разумеется, что повышение норм выработки и связанное с ним умножение оснований для наложения взысканий на неуспевающих произведет на массу желательное дисциплинирующее действие и будет держать ее в неослабевающем напряжении.

4. Поднятие жизненного уровня работников не только не отражается на производительности труда непременно положительным образом, но имеет тенденцию понижать ее, ослабляя у них заинтересованность в заработке. Идеальным, с хозяйственной и политической точек зрения, является такое положение рабочей массы, при котором она все время нахо-

дится на границе физической способности выполнять свои обязанности. Нецелесообразно держать ее в более суровых условиях, но позволять ей подыматься выше этого уровня значит давать волю силам, которые легко могут оказаться опасными.

Эти четыре принципа никогда открыто не объявлялись властью (кроме первого) ее хозяйственно-политическим символом веры, но всегда проводились в жизнь строжайшим образом. Если наблюдались отклонения от них, то только кажущиеся и мимолетные. Что же могло случиться с приходом к власти Хрущева, что вынуждало бы власть отбросить «сталинские методы» и пытаться оздоровлять сельское хозяйство, исходя из совершенно других начал?

Ни в коем случае не прекращение возможности терроризировать колхозную массу. Эмигрантам этого, может быть, и не видно, но власть прекрасно знает, что, как при Сталине, так и теперь крестьян *можно* «заставить работать из-под палки». Из необъятной массы доказывающих это фактов достаточно упомянуть об освоении целины. И неоткуда взяться у власти опасению, что, если ей понадобится террор, к ее услугам не хватит «людей, готовых применять насилие». Если скинуть со счета переходный момент массового превращения крестьян в колхозников, то можно очень спорить о том, кто чаще прибегал к помощи насильников: Сталин ли в последние годы или Хрущев за первые 6-7 лет своего властвования. Вспомним лютый (хотя и бескровный) поход на деревню «30-тысячников» и не законченную еще «гагановскую» кампанию с ее тысячами и тысячами передовиков-добровольцев, переходящих из успевающих колхозов в отсталые, — официально с тем, чтобы ознакомлять их со своими техническими достижениями, фактически же для того, чтобы спешно проводить там «организацию масс». Вспомним с каждым годом усиливающуюся практику устройства в колхозы на ответственные места чужаков-горожан, основной квалификацией которых является уменье «мобилизовать массы на работу». Учтем, что колхозники имели основание кого-то бояться, когда в 1956 году по всему Союзу покорно вносили на своих общих собраниях «дополнения и поправки» к сталинскому уставу сельскохозяйственной артели, отнимавшие у них часть земли и скота, и самих их превращавших в граждан второго разряда; что и сейчас кому-то удается весьма убедительно «разъяснять» колхозникам, что им выгоднее быть без коров, чем с коровами.

Не могло также вынуждать Кремль к отказу от сталинских методов то, что положительным материальным поощрением колхозников стало почему-то при Хрущеве проще, удобнее или дешевле пользоваться, чем террором. Поощрительную политику нельзя проводить в деревне не смягчив всерьез, а не для вида только (как пресловутым повышением поставочных и закупочных цен) обирание колхозов и колхозников. Между тем что-то явно мешает Кремлю пойти на это. Иначе было бы сейчас невозможно явление, отмеченное Хрущевым на декабрьском Пленуме 1958 года: «У нас не перевелись еще такие горе-хозяева, которые оставляют колхозы и совхозы без семян, а весной просят ссуду, упускают лучшие сроки и сеют чем попало». («Правда», 16 декабря 1958 г.). И уж во всяком случае Кремль не опустился бы до таких потрясающих по их безоглядному хищничеству мероприятий, как продажа колхозам «техники» и особенно введение «нового порядка» заготовок.

Нельзя, наконец, представлять дело так, что в панике от бедственного состояния сельского хозяйства, власть вынуждена была ухватиться за материальное поощрение колхозников просто на авось, в полунадежде-полувере, что, может быть, хоть оно поможет. Факты не вяжутся с этим. Достаточно ознакомиться с результатами состоявшегося в этом июне в Москве совещания деятелей сельского хозяйства, чтобы убедиться, что никакой паники среди вождей не наблюдается, и что власть ищет выхода из создавшегося в деревне положения не в том, чтобы отказываться от традиционной аграрной и агрикультурной политики или смягчать ее, а в том, чтобы доводить ее до предельной остроты и законченности.

Если так неубедительна даже серьезная попытка доказать невозможность для Кремля не пойти сейчас на крутой поворот в его отношении к интересам колхозной массы, то что сказать о доказательствах, которым сами авторы их, повидимому, не придают значения, так как бросают их мимоходом и, раз высказавши, позже уже не возвращаются к ним? В лучшем случае здесь дело сводится к произвольным, ничем не обосновываемым и по существу неубедительным утверждениям. Вот несколько примеров из книги В. П. Марченко: «Основные итоги хозяйства послесталинского периода», Мюнхен, 1959. «Нищенский уровень жизни села не мог продолжаться без конца: он стал тормозом для повышения жизненного уровня СССР в целом» (стр. 151). Из чего это заключает автор? «Технические и объемно-производственные успехи СССР бы-

ли бы невозможны, если бы послесталинский режим не согласился допустить некоторый рост потребления в стране» (7). Почему был бы невозможен, автор не объясняет, хотя должен был бы объяснить, считаясь с тем, что вся промышленность СССР и вся реорганизация сельскохозяйственного производства выросли на недоедании страны, и что недоедание до сих пор планомерно поддерживалось властью, и как раз в целях обеспечения «технических и объемно-производственных успехов». Что же случилось после Сталина, что вдруг выбило из рук Кремля это хорошо проверенное и до сих пор как будто без промаху действовавшее орудие борьбы с технической отсталостью? «Без повышения жизненного уровня села был бы невозможен и грандиозный агро-технический эксперимент... на целинных и залежных землях» (25). В каком смысле невозможен, остается опять таки загадкой. Автор не хочет, конечно, сказать, что сытого легче сорвать с места, чем голодного, и что, если бы Хрущев не подкормил предварительно колхозников, ему не удалось бы заманить на освоительные мытарства достаточное количество поневоле-добровольцев. Но в чем же другом усматривает автор связь между подъемом жизненного уровня деревни и освоением новых земель? «Считаться с интересами потребления было необходимо... для сохранения советского престижа в странах-сателлитах и во всем мире» (24). И это утверждение ничем решительно не подкрепляется. Между тем читателю было бы полезно знать, что заставило Кремль покупать престиж за такую огромную цену, как ломка всей внутренней политики, тогда как для этого было «за глаза достаточно» ничего не менять в стране, а просто сфабриковать и пустить по свету легенду о появлении у советских верхов теплосердечного внимания к потребителям. «Колхозное крестьянство... является в советской системе наиболее нуждающимся потребителем и должно было поэтому стать субъектом повышения (потребления) в первую очередь» (26). Как будто в природе советской власти прислушиваться к нуждающимся...

IV

Чем объясняется эта неспособность «оптимистов» взглянуть жизни в глаза и убедиться во вздорности пропагандных уверений относительно растущего благополучия в деревне? Сколько-нибудь обстоятельно ответить на этот вопрос нельзя в короткой заметке, — он несравненно сложнее и глубже, чем

кажется. Я укажу только два основных, как мне кажется, источника, питающих это явление.

Один источник можно назвать *техническим*. Он заключается в том, что невыразимо трудно разобраться в советской действительности на основании доступных заграницей материалов. Кто работал когда-нибудь над «постановлениями ЦК КПСС и Совета министров СССР» или другими советскими официальными документами, тот хорошо знает, сколько усилий требуется лишь для одного того, чтобы прочесть какой-нибудь из них от начала до конца. Настолько все они многословны и косноязычны. Но литературная неуклюжесть материалов — ничто, по сравнению с их нарочитой путанностью и резко выраженной направленностью на завуалирование действительного смысла декретируемых в них мероприятий и создания о них у читателя совершенно превратного представления.

Неопытных или нетребовательных читателей власть старается сбивать с толку просто тем, что извращенно формулирует содержание документов, указываемое обычно в их официальном наименовании. Здесь неизменно пускается в ход язык эвфемизмов. Например, закон 10 марта 1956 года, подчиняющий не только хозяйственную, но в значительной мере и личную жизнь колхозников безапелляционному усмотрению местных властей, официально именуется: «Об уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в организации колхозного производства и управлении делами артели». Закон 1958 г., доводящий политику обирания деревни до пределов цинизма и безоглядности, носит мирное, успокоительное название: «Об отмене обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, о новом порядке, ценах и условиях заготовок сельскохозяйственных продуктов».

На тех, кто не склонен судить о проводимых в «постановлении» мероприятиях по тому, как их толкует власть, а хочет составить о них свое собственное мнение, принято воздействовать таким образом. С одной стороны, принимаются меры к тому, чтобы придавать ярчайшую крестьянофильскую окраску всем декретируемым в постановлении мероприятиям. Особенно тем из них, которые больше других пропитаны антикрестьянским духом, и особенно путем декретирования одновременно с ними и выдвигания на первый план параллельных мероприятий, касающихся одной и той же стороны деревенской жизни и явно как будто свидетельствующих о

стремлении власти пойти навстречу интересам колхозов и колхозников.

Читатель лишен возможности понять действительный общий смысл постановления, не проделав сложной аналитической работы, к которой способны и склонны немногие.

Что ясно встает перед ним в постановлении, это лишь казовая, пропагандная сторона проводимой в нем реформы, лишь маска, надеваемая на последнюю в дезинформационных целях. Он видит, например, что повышаются государственные закупочные цены на сельскохозяйственные продукты (Сентябрьский Пленум 1953 г.); или что вводится принцип равнения государственных закупочных цен на себестоимость закупаемого (Июньский пленум 1958 года); или что отменяются обязательные поставки продуктов (тот же пленум); или что колхозам предписывается помогать безкоровным колхозникам обзаводиться собственным скотом (Сентябрьский Пленум 1953 г.). Но в девяноста пяти случаях из ста он не заметит, что повышение закупочных цен сочетается у Маленкова, — помимо многого другого, — с борьбой против получения колхозниками несравненно более высоких цен на вольном рынке; что под равнением закупочных цен на себестоимость Хрущев имеет в виду установление цен на уровне издержек производства соответствующих продуктов не в колхозах, а в совхозах, где они по официальным расчетам, значительно ниже, и таким образом стремится не к тому, чтобы положить конец изъятию продуктов из деревни в убыток последней, а к тому, чтобы закрепить этот порядок; что отмена обязательных поставок (т. е. обязательной сдачи государству некоторой доли продуктов полударом) нисколько не облегчает лежащего на колхозах податного бремени, так как то, что колхозы выигрывают на их отмене, им предназначено с большой лихвой отдавать назад государству, волей-неволей сбывая ему впредь всю массу продуктов по пониженным против прежнего ценам; что декретированная в свое время Маленковым помощь колхозов колхозникам в обзаведении скотом, по существу означала собой возложение на колхозников обязанности принимать на свое попечение и, за свой счет, сохранять и размножать для колхозов ту часть скота, которую те были не в состоянии сами обставить надлежащим уходом...

Всего этого нельзя заметить, не напрягая сильно внимания, так как разъяснения, дополнения и оговорки, превращающие крестьянофильские пункты «постановлений» в их противоположность, делаются таким образом, чтобы они не попа-

дались на глаза читателю или, чтобы, попавши, не были им поняты. Их помещают обычно подальше от соответствующих крестьянофильских пунктов постановлений; по возможности там, где их меньше всего можно ждать. Приводят не все сразу, а разбрасывают отдельными кусками то там, то сям. Делают как бы вскользь и между прочим, в контексте с декретированием мероприятий, только боком касающихся тех, которые разъясняются, дополняются или оговариваются. Выражают не в форме открытого отрицания или ограничения соответствующих крестьянофильских мероприятий, а окольным путем, в виде какого-нибудь обычно обходимого читателем цифрового расчета или технико-организационного предписания...

С другой стороны, всё делается для того, чтобы, поскольку от читателя нельзя скрыть антикрестьянских мотивов постановления, он по крайней мере не мог бы ощутить всей их силы и резкости. Одни удары по интересам деревни (самые тяжкие) просто не декретируются в постановлениях в сколько-нибудь конкретном виде, а только намечаются в бледных общих чертах, с тем, чтобы им давалось надлежащее оформление какими-нибудь другими инстанциями и в документах, недоступных читателю. Классический пример этому — постановление 10 марта 1956 года об уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии самодеятельности колхозников. В нем только указывается в двух словах на необходимость некоторого уменьшения приусадебных участков и кое-где личного скота колхозников. Что «уменьшение» должно превратиться в повсеместный полуразгром и скота, и участков, это власть предоставила формально постановить колхозным собраниям, и это закреплено в колхозных протоколах, из которых лишь ничтожная часть до сих пор опубликована. Другие меры, идущие вразрез с интересами деревни, проводятся в постановлениях как бы молчком: о них совсем не упоминается в тексте, и о существовании их приходится заключать окольным путем, на основании других мероприятий, которые без них были бы невозможны. Например, узаконенное Маленковым вынуждение колхозов все время увеличивать количество продуктов, продаваемых государству по повышенным, но все же убыточным, ценам становится известным читателю лишь потому, что в одном из параграфов Сентябрьского Постановления вводится добавочная надбавка к цене для тех колхозов, которые начинают практиковать это. Смысл третьих неудобных для советского престижа нововведений власть либо пытается затемнять нарочито неудобопонимаемым

языком (пальма первенства в этом отношении принадлежит узаконениям эпохи Маленкова), либо старается смягчать чисто-словесными ограничениями и оговорками. Но какое бы благоприятное впечатление ни производили они на посторонних (особенно иностранцев), в ушах «своих» они не могут звучать иначе, чем призыв обострять, а не смягчать соответствующие акции. Например, очень популярна формула: «при условии совершенной добровольности», которая в переводе на язык местных властей звучит: «не считаясь ни с каким сопротивлением». Хрущев постоянно подчеркивает по разным поводам, например, по поводу продажи колхозам «техники» МТС: «с этим делом не следует спешить», вперед зная, что каждый раз заявление это местные власти поймут, как требование, проводить дело в самом спешном порядке.

Всё сказанное дает только слабое представление о препятствиях, которые власть ставит на пути тому, кто хотел бы прорваться сквозь дымовую завесу пропаганды и увидеть советскую жизнь так, как она есть. На самом деле они гораздо сложнее и значительнее.

Другой источник, питающий оптимистическое легендотворчество относительно советской деревни, можно назвать психологическим. Дело заключается здесь в неспособности «оптимистов» подойти беспристрастно к советской действительности, особенно к наблюдающимся в ней сдвигам. В общей форме значение психологического момента в возникновении или создании оптимистических легенд очевидно и общеизвестно. И оставаясь в пределах общего и общеизвестного, я напомню, какая масса «оптимистов» выросла в вере в прогресс и в убеждении лучезарной роли революции в деле материального, социального и культурного подъема широких народных масс; до какой степени несомненно для большинства из них, что рано или поздно, но обязательно должен наступить момент, когда издержки революции будут с лихвой оплачены, и она выполнит наконец великую миссию, предназначенную ей историей. Отмечу, что такого рода теоретический подход оптимистов к советской действительности часто сочетается у них с эмоциональной установкой, заставляющей их не очень всматриваться в «острые углы» советской действительности, не слишком всерьез принимать её минусы и с воодушевлением приветствовать в каждом кажущемся им светлым сдвиге, конец отхода революции от полагающегося ей пути и начало дороги к лучезарной эре.

Д. Иванцов

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ЛАГЕРЕ

1

Тема — «интеллигенция в советском лагере» — представляет собой только частный случай и производное от более широкой темы: «интеллигенция в советском обществе». Лагеря («трудколонии» и как бы они еще иначе ни назывались) с их населением и структурой не противостоят советскому обществу, а существуют внутри него, как законный результат и следствие породившей их системы. Вследствие «сгущенности» или «обнаженности» (можно также сказать «преувеличенности») некоторых свойственных системе черт, лагеря могли бы служить прекрасным полем наблюдения для социолога, психолога и философа... если бы такое наблюдение не исключалось самой природой лагерного режима. Никто до сих пор систематически не исследовал положения интеллигента в советском обществе — и тем менее в советском лагере — несмотря на обилие материала, накопившегося в литературе о лагерях, всегда, впрочем, в большей или меньшей мере обесцененного ограниченностью личного опыта и его эмоциональной насыщенностью, далекой от бесстрастия. У людей, прошедших пять-десять лет лагерного заключения, — свой горький опыт, но далеко не всегда, при наилучшем желании, оказываются они в состоянии обобщить его или придать ему систематическую форму. Даже в книгах-сводках (последняя по времени и богатая содержанием — Paul Barton "L'Institution concentrationnaire en Russie", Paris, Plon, 1959 содержит обзор известного материала за время с 1930 по 1957 год) мы не найдем многого на интересующую нас тему. Нижеследующие замечания не претендуют на большее, чем на своего рода «мотто» к той работе, которая когда-нибудь будет составлена.

Мне известны по собственному опыту восемь советских лагпунктов. Только в трех я находился более продолжительное время: год в одном, около трех лет в другом, около года в третьем. Время 1940-45. Это были годы войны. С тех пор,

как мы знаем, многое изменилось в лагерном быту. Уменьшилось число заключенных, улучшились бытовые условия. Эти (и другие) перемены не коснулись, однако, существа лагерной жизни. Лагеря при Хрущеве, как и в сталинскую эпоху, остаются закрытыми и недоступными для объективного наблюдения, тем более изучения. Лагеря засекречены и представляют собой часть той конспиративной стороны режима, раскрытие которой, хотя бы частичное, признается шпионством.

Для нашей темы важно отметить одну перемену: с начала 50-ых гг проводится отделение политических заключенных от «бытовиков». Это не могло не отразиться на атмосфере и быте лагерей. Понятие политзаключенного не совпадает с понятием интеллигента вообще, а особенно в Сов. Союзе, где прегрешения против установленного порядка продолжают иметь массовый характер, как нигде в странах Запада. Но, очевидно, среди политзаключенных положение интеллигента будет иным, чем среди бытовиков, и, в частности, концентрация политзаключенных, имевшая место после войны, вызвала те симптомы или попытки «политических» проявлений, какие не наблюдались до и во время войны.

2

Существуют привычные понятия-штампы, которые наполняются для нас живым содержанием только при соприкосновении с действительностью. Один такой штамп — «республика рабочих и крестьян» — «рабочекрестьянское правительство» — известен со времен Ленина. Как третий член, несколько позже пришла «трудовая интеллигенция». Советское общество состоит из рабочих, крестьян-колхозников и «трудовой интеллигенции», но строится оно — партией. Партиец имеет свои особые черты независимые от классового происхождения. В какой мере стиль советской жизни определяется трудовой и, определеннее, партийной интеллигенцией, оставалось неясным западным наблюдателям, пока — невольно — те из них, кто в начале войны попал в распоряжение советской администрации, не столкнулся с социальной «материей» советского общества.

Тогда мы сделали одно поразительное открытие: нигде — ни в кабинетах начальников советских учреждений, с которыми приходилось иметь дело, ни в органах политической полиции, арестовывавшей нас, ни во время допросов, производимых прошедшими специальные школы следователями НК-

ВД, ни на ответственных постах руководителей лагерной администрации — мы не встречали «интеллигентных» людей в европейском смысле слова.

Перед нами были люди примитивные, часто безграмотные, люди темные, выученные властью выполнять определенные функции, люди не лишенные природного ума и отлично приспособленные к той советской действительности, о которой мы не имели понятия, — но это не были «интеллигенты». С ними не было у нас общего языка, и мы не могли иметь к ним претензий, когда они просто не понимали что им говорят. В первое время мы полагали, что массовые аресты невинных людей и вывоз их на далекий север в лагеря, предназначенные для преступников, основан на ошибке или недоразумении. По нашему предположению, люди интеллигентные и образованные, управляющие огромной страной, находились где-то выше, в центральных инстанциях. До них трудно добраться, но когда мы установим с ними контакт, всё сразу выяснится и будет улажено. Только постепенно, в течение долгих месяцев, для нас стало ясно, что среда людей управляющих огромным лагерным царством, с его миллионами населения, *гомогенна* снизу до верху.

Различия в личной одаренности и степени партийной подготовки людей, составляющих аппарат власти в Сов. Союзе, не касаются того главного, чему он обязан своим единством и психологической однородностью. Это главное — результат исторической эволюции диктатуры в Сов. Союзе. «Республика рабочих и крестьян» — отнюдь не фикция и не миф, созданный советскими идеологами. Своим существованием она обязана концепции интеллигентов. Зачатая в уме Ленина и его ближайших сотрудников, она была осуществлена и построена выходцами из рабочей и крестьянской массы. Этой массе, которая интеллигенцией в свое время искренне идеализировалась (в трех разных вариантах: славянофильства, народничества и ленинской веры) пришлось взять на себя функции непосильные и превышавшие ее умственный и моральный уровень. Интеллигенция в старом, классическом стиле 19 столетия была советской революцией отброшена, в силу ее чуждости и непригодности, или же поставлена в служебное положение. Устранением интеллигенции, как влиятельного политического фактора, направляющего и формирующего сознание масс, объясняется не только общая брутальность большевицкой системы, но и пассивность, с какой массы, вовлеченные в

превышающий их разумение революционный процесс, следуют партийному руководству.

Очень скоро наметился естественный отбор среди масс, выдвинутых в процессе революции на командные посты. Во времена Сталина перестали говорить о «рабоче-крестьянском правительстве». Возник новый класс властвующих, класс советской бюрократии и технократии, воспитанный не в традициях старой русской либеральной и радикальной, свободолюбивой при всех своих разногласиях интеллигенции, а в чиновничьем послушании, железной дисциплине и той эмфазе исполнительности, для которой параллель в русском прошлом можно найти разве только в явлении московских «служилых людей».

Яркой демонстрацией этого нового класса явился его зрелый продукт и законный возглавитель, Никита Сергеевич Хрущев, во время своих гастрольных поездок «по лицу земли широкой». В этой демонстрации был дан незабываемый урок западному миру. Кто такой Хрущев? Не крестьянин и не рабочий, несмотря на свое происхождение, и меньше всего интеллигент, несмотря на многообразную осведомленность. Он, в кругу своих «служилых людей диктатуры», — наглядное свидетельство метаморфозы правящего слоя в Советской Империи.

Проблема — что сталось с интеллигенцией, понимаемой как авангардная интеллектуальная группа, духовная элита нации, этим не разрешается. Наука, метафизическая мудрость, литература, искусства, техника, — это все существует в Сов. Союзе и повинуется внутренней логике своего развития, частью покровительствуемое властью, частью регламентируемое и преследуемое. Но как бы ни относилась советская власть к отдельным представителям интеллигенции, носителям самозаконного начала, — нет сомнения, что интеллигенция в целом, как социальное явление, типичное для западной культуры (или для всякой культуры, основанной на почитании духовных ценностей), ею осуждена. Там, где задачей является приведение масс к общему духовному знаменателю, там встреча носителей монополизированного «просвещения» и «просвещаемых» масс происходит на полдороге специальной выучки и квалифицированного мастерства. Культурный процесс проходит под знаком дрессировки, методы которой могут отличаться разной степенью брутальности; при этом интеллигенция неизбежно, поскольку она хочет быть независимой от предуказанного властью шаблона, объявляется «буржуазной», «антинародной» и тем самым подлежит усмирению и

уничтожению. Не обязательно для этой цели изолировать ее в лагерях (судьба Б. Пастернака). Советская страна полна глухого и затаенного внутреннего сопротивления. Условием существования интеллигенции в Сов. Союзе является, по крайней мере, ее внешняя лояльность и дисциплинированность. Лагеря же представляют особый случай, поскольку в них социальная структура советского общества дана в чистом виде, и все контрасты и особенности советского общества выступают без украшений. Лагеря — модель общества, управляемого голым насилием, где не требуется даже фикции «согласия» управляемых. Тема — «интеллигенция в лагере» — полна глубокого интереса именно в силу парадоксальности и противоестественности этого явления. Акт, в силу которого помещается в лагерь принудительного образа жизни (что гораздо шире чем «принудительный труд») человек не *вопреки* своей интеллигентской сущности, а именно, за свою принадлежность к этой осужденной социально-духовной категории, есть акт политической перверсии.

3

Отметим, прежде всего, что процентное отношение интеллигенции в лагерях (или как бы еще иначе не назывались места принудительного «перевоспитания») должно значительно превышать ее относительную численность в советской провинции.

Дореволюционная интеллигенция концентрировалась в университетских городах и только редкими одиночками была вкраплена в деревенскую и провинциальную Россию. Всегда существовала огромная разница между культурным уровнем и интеллектуальным напряжением жизни в большом русском городе и в глухой провинции. Она сохранилась и по сей день. Я провел почти год в маленьком сибирском городке Алтайского края с населением в 20 тыс. (Славгород, 1945-6), работая на заводе и ежедневно встречаясь с людьми самых разнообразных занятий. Если были в этом городе русские интеллигенты (не-русских, ссыльных, было немало), я с ними не встретился. Они были хорошо законспирированы. Суждения моих сослуживцев, их осведомленность в вопросах мировой политики, литературы, искусства находились на детском уровне. Этим я не хочу сказать, что они «ошибались» или «мало знали» о том, что происходит в мире. Более важным было то, что они были целиком определены *извне*, как дети, бес-

прекословно принимающие авторитет старших. В лагерях в течение пятилетнего пребывания я имел бо́льшую возможность общаться с интеллигентами, чем на воле в советской провинции. Можно, не рискуя впасть в преувеличение, сказать, что после культурных центров и институций СССР вторым местом, где заметно ощущается присутствие интеллигентских элементов, является замкнутый мир советских лагерей.

Структура лагерного общества, его расчленение по производственному признаку, представляется следующим образом:

Во-первых: основная рабочая серая масса, поделенная на «бригады». Во-вторых: «лагобслуга» не занятая на производстве, — комендатура, бухгалтерия, кухня, санчасть, техническая и культурно-воспитательная часть. В третьих: администрация из заключенных, распоряжающаяся работой и бытовыми условиями лагерной массы. В четвертых: «вольные», т. е. военизированная охрана, политический надзор и верхушка администрации из не-заключенных (часто бывших заключенных). С принадлежностью к одной из этих групп связаны различия в материальном положении и общественная позиция лагерного человека, и поскольку это четвертое деление не произвольно и случайно, а лежит в основании функционирования лагерного общества, можно их называть «классами», своеобразным отражением классового строения всего советского общества.

Интеллигенты, т. е. люди по своему образованию и типу выделяющиеся из общей массы заключенных, концентрируются, главным образом, в бараках АТП (административно-технического персонала), в санчасти, обслуге, но можно их встретить так же на общих работах и среди инвалидов, составлявших, в мое время, непременную принадлежность каждого советского лагеря. По отношению к ним, насколько возможно без ущерба для производства, но часто и в ущерб производству, власть применяет принцип «ротации», т. е. не допускает, чтобы люди слишком долго оставались в той же функции и в том же лагере, чтобы они закрепились и привыкли к своему месту и окружению.

Быть интеллигентом в лагере отнюдь не составляет преимущества и так же мало дает права на то, чтобы быть причисленным к «правящему слою», как и на воле. Интеллигенты не управляют лагерным царством, как они не управляют и советским государством. В лагере существует специфическое не-

доверие властей к «образованным». — «Сколько языков знаешь?», — спрашивали иностранцев советские заключенные и по дружбе советовали: — «лучше не признавайся, а то за каждый язык лишний год набавят».

Недоверие лагерной власти к интеллигенции заложено глубоко в самой сущности советской системы. Мне вспоминается сцена «чистки» в гор. Екатеринославе (еще до переименования в Днепропетровск), свидетелем которой я был юношей, в 1921 году. Во время публичной проверки членов партии они рассказывали свои биографии и отвечали на вопросы из толпы. Двери были открыты, и каждый с улицы мог войти, слушать и ставить вопросы. Вошел и я. Отчитывался редактор областной газеты, бывший меньшевик, перешедший к большевикам. Это был блестящий оратор, без затруднения и с авторитетом отвечавший на все задаваемые вопросы. Он, казалось, был выше всех сомнений, но когда, наконец, он вышел за двери, председатель трибунала, производившего чистку, партийный функционер, подчеркнуто-пролетарского вида, обратился к аудитории и, покачивая с сомнением головой, сказал: «слишком уж он хорошо говорит!».

Слишком хорошо говорить, как и слишком самостоятельно мыслить, не было достоинством в рабоче-крестьянской среде первых лет революции. Также и в лагерном обществе, основанном на выполнении и перевыполнении «плана», лучше интеллигенту не выделяться и не обращать на себя внимания начальства, которое ценит усердие в работе, «высокие показатели» и коллективные добродетели, но не лишние знания и, в особенности, не критический ум интеллигента.

Лагерная система легко подчиняет себе людей из деревни, и из городских низов, неотразимо, хотя и не сразу, влияет на людей, бессознательно ищущих твердого руководства в жизни, — но интеллигенты в лагере являются наименее податливым материалом. «Культурно-воспитательные» и политические хозяева лагерей относятся к ним с настороженной опаской. Интеллигентам, как правило, не поручалось в мое время функций по культурному обслуживанию, даже такому безобидному, как чтение вслух по баракам газет, выдаваемых культурно-воспитательной частью. Следили за находившимися в их распоряжении книгами, за их разговорами и перепиской. Изолируя за колючей проволокой интеллигенцию, власть рассчитывает не столько на ее «перевоспитание», как на ее обезврежение и уничтожение ее «вредного» влияния на воле-

4

В окружающей его серой массе заключенных интеллигент может рассчитывать на признание только в том случае, если найдет с ней общий язык, т. е. постарается, прежде всего, быть как все и работать как все, не отставая от окружающих. Они не станут его товарищами; *он* должен думать о том, чтобы стать *их* товарищем; тяжесть приспособления падает на него. Горе беспомощным, неумелым, кабинетным людям. В бригадах, которые во время войны составлялись из «западников» (поляков и евреев из оккупированных областей Польши) случалось еще на первых порах, что писатель, педагог с именем или священник брался под особое покровительство членами бригады: ему оказывали особое внимание, не гнали и не погоняли на работе и в конце дня приписывали ему незаслуженные проценты при рубке леса и других тяжелых работах. Такое отношение в советских бригадах невозможно, ибо там «интеллигенция» не вызывает к себе ни уважения, ни симпатии. Ценится хороший работник, прораб, техник, врач. Ценится всякое умение — но не ценятся и не вызывают уважения образованность, мнения, идеи.

Ошибкой было бы считать, что массовый лагерник, лишенный свободы советской властью, тем самым находится в состоянии конфликта с советским обществом вообще. Всякий идейный нон-конформизм в этой среде, исполненной сознания своей массовости и стихийности, вызывает насмешливость и недоверие. Советский человек относится без уважения к идеям и всякого рода индивидуальным «кредо», к вере, неподдержанной государственным авторитетом, но не большим уважением пользуется и оффициальная доктрина. Причину такого отношения надо видеть, с одной стороны, в очевидном для него бессилии всякой не-советской идеологии повлиять на ход вещей в окружающей его действительности, а с другой — в не менее очевидной «инструментальности» и мнимости также и советской идеологии. Не надо быть интеллигентом, чтобы мыслить согласно указаниям партии. Интеллигент, притязающий на внутреннюю независимость, вызывает иронию и кажется чудаком. Советское общество далеко от либерализма, который в дореволюционной России не успел сложиться в сколько-нибудь значительную общественную силу, а в советских условиях отцвел, не успев расцвести. Любопытство в лагере возбуждает религиозный сектант или верующий, так же как чужак из-за границы, открыто подчеркивающий свою

не-советскость; это любопытство, если речь идет о людях с сильной индивидуальностью, может сопровождаться и сочувствием и уважением. Но дистанция сохраняется, и эти люди не могут рассчитывать на то, чтобы создать в лагере свой круг. В лагере, где личный состав беспрерывно течет, любые отношения, основанные на личном общении людей, без труда ликвидируются начальством, рассылающим неудобных ему или беспокойных людей по разным лагпунктам.

5

Остается еще солидарность интеллигентов между собой, явление, вытекающее в лагерной жизни из элементарного инстинкта самосохранения и составляющее одну из характернейших особенностей лагерного быта.

Попадая в новую и чуждую ему обстановку, интеллигент не одинок. Он всюду встречает себе подобных и может рассчитывать на их поддержку, — как если бы существовал какой-то «тайный орден» интеллигенции, связанный обетом взаимной помощи.

Много можно спорить о понятии «интеллигенция» — есть ли это «класс» или только прослойка, интеллектуальная категория или культурно-историческая формация... нельзя никому запретить произвольно расширять или съуживать это понятие... но практически, в чужом лагерном окружении, интеллигенты образуют одну, сравнительно сплоченную семью. Очень легко завязываются знакомства, связи и дружеские контакты. Достаточно одного внешнего вида, манеры держаться и разговаривать, достаточно иногда одного слова и взгляда, чтобы быть принятым в среду «интеллигенции» данного лагпункта. Как уже было указано, нет такого пункта, где бы не находились люди, связанные общей принадлежностью к «интеллигенции». В общей массе они так же различимы, как люди белой расы среди черных, или, наоборот, черные среди белых. Солидарность реальна и ощутима на каждом шагу; без нее интеллигент не мог бы продержаться в лагере. Она выражается в протекции всякого рода, при назначении на работу, при снабжении питанием и одеждой, в амбулатории, в больнице, и в бесчисленных мелких услугах, оказываемых в течение дня друг другу. Идеологические расхождения, казавшиеся важными на воле, при водворении в советский лагерь теряют

свою остроту... Если они и продолжают существовать, то они не подчеркиваются и не мешают взаимному сближению.

Здесь может быть будет уместно дать несколько живых зарисовок «лиц в толпе» — типичных интеллигентов в лагере. Термин «лицо в толпе» (''the face in the crowd'') особенно применим в данном случае, ибо в безличной массе людей, считаемых по-бригадно и выражающих смысл своего существования в процентах выполнения нормы, интеллигент — именно и есть тот, кто сохраняет или пытается сохранить свое лицо.

СТАРЫЙ БОЛЬШЕВИК

Старый большевик Л. был в течение всей зимы моим соседом в больничной палате Котласского пересыльного пункта. Он был крупного роста и по внешности напоминал Булганина, с острой козлиной бородкой, высоким лбом и умным взглядом живых глаз. Л. был членом партии с 1913 года и занимал крупные, ответственные посты в советской иерархии. В качестве заведующего снабжением горной промышленности СССР он часто ездил заграницу. О своих впечатлениях, в особенности об американских поездках и приключениях, он любил рассказывать в тесном кругу трех-четырех доверенных друзей.

Рассказывал он потешно и с большим юмором. Л. был человеком живого темперамента и неподдельного добродушия, но далеко не был дипломатом и, разъезжая по американской провинции, не раз совершал faux pas, когда случалось ему выпить лишнее и заключить знакомство с бойкой проезжей девицей. Об этих его промахах было известно в Москве, и не сносить бы ему головы, если бы не покровительство Сталина, который ему мирволил и не придавал значения его неполитическим слабостям. Л. описывал кремлевское заседание, где нападали на него Сольц и Розенгольц (позднее ликвидированные Сталиным), и где в последнюю минуту несколько добродушных слов, сказанных «хозяином», спасли его от расправы.

Погубило его безрассудное желание вмешаться в высшую политику. Во время войны этот искренний и по-своему честный человек пришел к заключению, что «наша идея провалилась» (это было его характерное выражение) и передал партийному руководству меморандум, где изложил свои соображения насчет того, что и как следует изменить в управлении страной. На меморандум раннего ревизиониста хозяин реагировал иначе, чем на неумеренную выпивку и веселые похож-

дения в американском Мидл-Исте. Л. был арестован и изъят из обращения. Ему дали 10 лет. В Котласе, где он начал отбывать свой срок, уже было ясно, что его песенка спета. Л. был болен редкой болезнью — гемофилией — и несмотря на его внешне-здоровый вид ежедневно подвергался опасности внутреннего кровотечения и смерти. Котласские врачи продержали его полгода в госпитале, но администрацию лагеря невозможно было убедить, что этот внешне-здоровый и крепкий человек готов был как соломинка надломиться при малейшем физическом усилии. Его несколько раз выводили в этап, и несколько раз спасали его доктора, пока в начале 1945 года он не исчез окончательно из Котласа. Трудно предположить, что он выжил в лагере.

В разговорах с Л. я имел возможность заглянуть за кулисы психологии «старого большевика». Л. замыкал шествие — в последнем ряду русской революционной интеллигенции, история которой начинается с Радищева, а кончается расстрелами и чистками 30-ых гг. В Л. была обезоруживающая наивность, и когда он, обращаясь к иностранцу-доктору, заключенному в лагере, говорил ему: «вы, доктор, настоящий большевик!», то этим он хотел сказать, что считает его другом человечества и особенно хорошим человеком. Из его рассказов о жизни на Западе было ясно, насколько Запад, его культура и уровень жизни, импонировали этому человеку, который в царской России стал революционером именно в борьбе за освобождение, за материальный и духовный подъем народа, — и потом по личному опыту имел возможность составить себе представление о сравнительных достоинствах двух систем. «Наша идея провалилась», — это он мог сказать в интимной беседе в лагере, но, очевидно, это убеждение назревало в нем давно и было заключением, к которому пришел этот человек «идеи».

МОЛОДОЙ СОВЕТСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ

А рядом с этим старым и зашедшим в безнадежный тупик «честным большевиком» память рисует мне образ молодого советского интеллигента. Назовем его Игорь.

С ним я встретился и подружился поздней лагерной осенью, когда туманы лежали на скошенных лугах, рабочие бригады после тяжелой ударной работы летних месяцев вяло копошились, отсиживались часами под мелким дождичком вокруг дымивших костров. Вели бесконечные разговоры. Сосед мой оказался неожиданно милым и приятным собеседником. Ему

было не больше 25 лет. Овал его девического лица, бархатные ресницы, открытый взгляд, ровный и спокойный голос, вежливость и мягкость обращения, — все отличало его от окружающих. Мы скоро сблизились. Нескончаемой темой наших разговоров при костре в открытом поле под осенним северным небом был — Париж. Оказалось, что Игорь провел в Париже два года своей жизни, подростком 13-14 лет. Отец его занимал крупный пост в парижском торгпредстве. В кабинете отца висел портрет Ленина с собственноручным посвящением... По возвращении в Советский Союз отец благоразумно посвятил себя академической деятельности и стал профессором права. Игорь был арестован в конце 1938 года в волне репрессий, которыми сопровождались московские процессы.

В чем была его вина? Он не прервал знакомства с сыном расстрелянного наркома. От семьи осужденного все отступились, и тогда Игорь поставил в комсомольской организации, к которой принадлежал, на обсуждение вопрос: правильно ли бойкотировать детей за грехи отцов? — Какой нарком? — Но Игорь не хотел назвать его имени, как если бы имя было убито вместе с его носителем, и назвать его значило оживить призрак осужденный на исчезновение.

Игорь воспитался среди кремлевской аристократии, часто бывал на даче у Сталина и Ворошилова. Естественно, что я задал ему вопрос, который тогда занимал людей на Западе: как объяснить, что заслуженные вожди революции, прославленные деятели, с такой готовностью признавались на суде во всевозможных фантастических преступлениях, которых они наверное не совершали? — Ответ Игоря был прост:

— Видно, вас никогда по настоящему не били... человек избитый до того, что мочится кровью, подпишет и скажет, что угодно.

Человек, который мне это сказал — без горечи и с крайней простотой, как если бы речь шла о каком-то само собой понятном законе, регулирующем человеческие отношения, — был по образованию авиационным инженером-конструктором, а по происхождению потомком революционной российской интеллигенции. Это было последнее слово мудрости, последний вывод, к которому пришло поколение сталинской молодежи.

Я никогда не разговаривал с Игорем на политические темы. Мы, западные люди, никогда не пускались с советскими заключенными в откровенные разговоры, отмалчивались или взвешивали каждое слово. Игорь, со своей стороны, тоже отличался

крайней сдержанностью и никогда не терял самообладания. Он был «застегнут на все пуговицы», как говорится.

Только раз, когда беседа неожиданно коснулась антитезы «материализма и идеализма» (на которой, как известно построено преподавание философии в Сов. Союзе), мой собеседник загорелся удивившим меня интересом. Очевидно, того, что я ему сказал, не было в советских учебниках. И я почувствовал, что предо мной ум живой, доступный воздействию и открытый для самостоятельной мысли, — несмотря на годы партийной индоктринации и внедрения «диамата».

Позже, находясь в сибирской ссылке, я списался с Игорем, который к тому времени, отбыв пятилетний срок, лечил на воле нажитый в лагере туберкулез. На этом прервался наш контакт, но образ его остался в моей памяти, как символ и напоминание, что существует в Сов. Союзе молодое поколение интеллигентов, которое не следует смешивать ни с правящей бюрократией, ни с целиком контролируемыми ею послушными исполнителями ее воли.

За вычетом мирового катаклизма, опасность которого, я думаю, неустранима пока не изжита лениносталинская идеология, — единственным выходом из тупика, куда привела человечество утопия коммунизма, является постепенное нарастание в советской стране новой интеллигенции, способной изнутри проникнуть в аппарат власти и изменить политический «климат» страны. Поколению Игоря теперь за сорок лет. Оно прошло лагеря, войну, а за ним пришла волна повоенной, посталинской интеллигенции, о которой мы ничего не знаем, кроме того, что в ближайшие годы ей предстоит осуществить новый сдвиг в советской иерархии и — возможно — в советской системе.

ДВА СИОНИСТА

В марте 1945 года трое заключенных уединились в тесной каморке за «раздаточной» больничного барака в Котласе.

Один из них был высокий сутулый старик с седой бородой, с деликатным и характерным «профессорским» лицом. Это был д-р Вениамин Бергер, заведующий бараком, а в прошлом многолетний председатель Сионистской Организации Литвы. Второй был приземистый, широкоплечий и круглолицый с белесыми бровями человек, исполнявший обязанности «лекпома» в соседнем больничном бараке. Третий — автор настоящего очерка — был закутан в простыню, из-под которой торчали худые ноги в больничном белье...

Лагерь Котлас был полон евреев... и на эту беседу охотно пришло бы человек 20... но это было бы связано с опасностью для них и для нас. Трое участников были русскими сионистами, но при всей силе отрицания советской идеологии и режима, при всей их верности общему идеалу, они представляли три разных направления в сионизме и не во всем сходились между собой.

Доктор В. Бергер кончил киевский университет до первой мировой войны, хорошо знал Европу, был известным врачем и общественным деятелем, пользовался всеобщим уважением. Это был человек прямой и на допросе в НКВД, который его арестовал после аннексии Литовской республики, сказал, что единственное, о чем он жалеет, это что его деятельность не увенчалась бóльшим успехом и ему не удалось своевременно вывезти из Литвы в Страну Израиля больше евреев. Он был приговорен к десяти годам заключения и после семи лет пребывания в лагере скончался в Котласе весной 1948 года.

Второй участник беседы был человеком другого типа. В противоположность консервативному в своих воззрениях д-ру Бергеру это был убежденный социалист, представитель левого крыла в сионизме, и во время погромов на Украине 1918-20 гг. сыграл роль организатора еврейской самообороны. После победы большевиков этот человек провел всю свою жизнь в тюрьмах и лагерях, откуда его освобождали ненадолго, чтобы снова через короткое время посадить. То, что он был сионист с социалистическими убеждениями, только усугубляло его вину в глазах его преследователей.

Я не называю его имени здесь, несмотря на то, что его больше нет в живых. Он сам выбрал анонимность. В тот вечер я спросил моих двух собеседников: «могу ли я, если посчастливится вернуться в свободный мир, предать гласности их имена, добиваться, чтобы были предприняты шаги для их освобождения?» — Доктор Бергер не сказал мне ни «да» ни «нет». Он предоставил мне решать: «поступайте, как найдете нужным». Это дало мне право позже писать о нем и сделать трагически-неудачную попытку возбудить на Западе интерес к его судьбе. Но тот — второй — не хотел борьбы. Я видел перед собой человека сломленного, разбитого и потерявшего веру в спасение. Он, в молодости организовавший самооборону против погромщиков, капитулировал на склоне лет пред силой, которая отняла у него не только годы жизни, но и веру в целесообразность сопротивления.

— «Моя жизнь кончена» сказал он мне: — «но у меня остаются дети, они живут в Советском Союзе, и я не хочу,

чтобы им повредила гласность, которая может создаться вокруг моего имени. Я прошу вас забыть обо мне, — как весь свет забыл обо мне уже давно».

Я не забыл о нем, но мне кажется, что сопоставление реакций этих двух заключенных интеллигентов поучительно. Оно показывает, как на самых крепких людей влияет длительная изоляция и чувство оторванности, потеря контакта с внешним, свободным миром (которая у русского сиониста была больше, чем у д-ра Бергера, сравнительно недавно вывезенного из Литвы).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эти четыре примера — четыре фигуры: советского интеллигента старого закала, молодого советского интеллигента, западного общественного деятеля и русского сиониста-социалиста — достаточны, чтобы пояснить некоторые простые положения об «интеллигенции в лагере».

Не случайно, что активная, беспокойная и слишком «самостоятельно мыслящая» часть населения в Сов. Союзе попадает в лагеря и остается там столько времени, сколько нужно, чтобы внушить власти убеждение в ее безвредности для режима. Для того и существуют лагеря («трудовые колонии» и как бы они еще не назывались). Удивляться надо легковерности людей, предполагающих, что когда бы то ни было режим диктатуры, представляемый ныне Никитой Хрущевым, обойдется без этого фундаментального в советских условиях института.

Совершенно несостоятельна и для каждого знакомого с аппаратом лагерного надзора фантастична мысль, что лагеря могут быть очагом организованного идейного сопротивления или подготовки кадров для идейного движения на воле, т. е. в «незаключенном» советском обществе. В лагерях случаются беспорядки, акты протеста, вспышки отчаяния, вызванные произволом местной администрации, но они лишь подтверждают сказанное выше.

Материал, имеющийся в нашем распоряжении, о забастовках и восстаниях на Воркуте, в Печорлаге — показывает еще раз, как безнадежно лагерное сопротивление.

В лагерях, как в большом, но мутном зеркале, можно наблюдать отражение того, что делается на воле. Однако, пребывание в лагерях не воспитывает к борьбе — оно ломает характер и воспитывает резиньяцию. В результате метаморфозы, претерпеваемой в лагерном заключении интеллигенцией

всех видов, у одних умирает круг привычных идей и заменяется всеобщим скептицизмом, у других наступает самоуглубление и «переоценка ценностей».

Достоевскому в свое время на царской каторге было достаточно четырех лет заключения, чтобы пройти через обе эти стадии: отказа от идей, которыми он жил раньше, и новой перспективы жизни. Долговременное заключение имеет целью не переубедить строптивого интеллигента, а научить его сосуществовать с властью: оно — школа конформизма. Достоевский вышел из каторги углубленным мыслителем, но для заточившей его власти было существенно не это, а то, что он отныне стал лояльным и послушным ее подданным. Разница между Достоевским и клиентами новых советских лагерей та, что, выйдя на волю, они не напишут «Записок из Мертвого Дома» и никаких новых путей советскому обществу не укажут.

Во всех приведенных мною случаях было нечто общее: внутренняя сила сопротивления режиму или мера независимости от него была связана со знанием Запада. Старый большевик и молодой Игорь знали жизнь на Западе. Д-р Бергер был европейцем. Русский сионист в силу своего образования и убеждений был связан внутренне с несоветской страной Израиля. Всюду действовал импульс полученный извне, как в буквальном географическом, так и в культурном, духовном смысле. Обобщив, можно сказать, что не только самое слово «интеллигенция» иностранного происхождения на русском языке, но и связанное с ним понятие — в основе своей является продуктом западной цивилизации, как бы своеобразно оно не преломилось в русской жизни.

В переломное и переходное время, переживаемое человечеством как на Западе, так и на советском Востоке, единственным связующим звеном между разобщенными его частями является неистребимая солидарность людей свободного интеллекта. На вопрос: как может интеллигенция в Сов. Союзе выполнить свою миссию — служить общечеловеческой и национальной культуре, поддерживать идейное брожение в массах, пока не придет срок *освобождения,* единственным ответом кажется: — это возможно только в тесном контакте и общении со свободной интеллигенцией за пределами Советского Союза. Будущее — как советской интеллигенции, так и всего советского общества, — а в конце-концов и наше собственное будущее — зависит от меры, в какой удастся это общение наладить, поддержать и расширить.

Ю. Марголин

СТАРЫЕ МЕХИ

> Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые.
>
> *Евангелие от Марка, 2, 22.*

В № 59 «Нового Журнала» была помещена статья Е. Петрова-Скитальца под названием «Кронштадтский тезис сегодня». Эта статья интересна и примечательна тем, что трактует о принципах будущего государственного устройства России, которое установится после свержения власти коммунистической партии. Вопрос о будущих государственных формах сравнительно мало затрагивается и еще меньше обсуждается в русской эмигрантской прессе, а поэтому указанная статья вызывает особое к себе внимание.

Говоря об основах будущего устройства России, Е. Петров выдвигает старый, «кронштадтский» тезис, выработанный кронштадтскими революционерами в период восстания (1921 года). Строго говоря, он настолько поверхностен и мало разработан, что вряд ли может быт назван тезисом, т. е. доказываемым положением: он скорее является лозунгом, выброшенным без доказательств и основанным главным образом на эмоциях, почему и страдает некоторой демагогичностью. Сводится он к следующему: обязательное сохранение советского строя, но при уничтожении власти коммунистической партии. В более короткой форме он может быть высказан так: «Долой коммунистическую партию, вся власть — свободным Советам!» Или же в еще более краткой форме: «Да здравствует советская власть без коммунистов!»

Совершенно очевидно, что раньше, чем говорить о пригодности или непригодности этого тезиса в условиях настоящего времени, необходимо точно установить само понятие — советская власть. Какой смысл содержит в себе этот термин, и какую форму государственного устройства определяет он? Есть ли в советской власти такие достоинства и положительные свойства, которые заставляли бы сохранять её даже в том

случае, если власть коммунистической партии будет свергнута, и, следовательно, будет возможно построение «советской власти без коммунистов». Для ответа на этот вопрос надо, кажется мне, учесть некоторые особенности советской власти, составляющие ее государственную и политическую сущность.

1

Идея советской власти была создана Лениным и явилась, так сказать, практическим воплощением учения Маркса о диктатуре пролетариата. Впервые эта идея была с полной отчетливостью сформулирована Лениным в его «апрельских тезисах» (1917 г.), а несколько позже, в октябрьские дни, он выставил её, как противопоставление демократической идее. В тогдашней революционной борьбе столкнулись два начала: демократическое — «Вся власть Учредительному Собранию» и ленинское — «Вся власть Советам!» Другими словами: идее всенародной власти Ленин противопоставил идею власти **классовой.**

Именно это обстоятельство сразу определило суть советской власти: она есть власть классовая, выражающая собою диктатуру пролетариата. Пассивным и активным избирательным правом при ней первоначально обладали лишь некоторые, весьма ограниченные слои населения: пролетариат и беднейшее крестьянство, что явствовало из самого наименования: «Советы рабочих, солдатских, матросских, крестьянских и батрацких депутатов». Все остальные категории населения в выборах в Советы не участвовали и, следовательно, не допускались к государственным делам и к решению государственных вопросов.

Таков был принцип построения Советов, таковы были сами Советы по своему составу и именно такую советскую власть защищали кронштадтские тезисы. Никаких других Советов в те годы еще не было, кронштадтцы их еще не знали, а в хаосе подготовки восстания и, тем более, в дни самого восстания они никаких других положений о Советах не разрабатывали и не устанавливали. Их тезис не только не возражал против узко классовой власти Советов, но и утверждал эту власть, протестуя лишь против партийного засилия. Поправок в сторону всенародности кронштадтцы отнюдь не вносили.

Некоторые изменения произошли уже позже, после ликвидации кронштадтского восстания, но эти изменения ничуть не поколебали основной принцип формирования Советов: с

некоторой вынужденной натяжкой избирательное право стало предоставляться той части городской интеллигенции, которая именовалась расплывчатым и неясным термином — «служащие». Но подобное расширение избирательной базы ничуть не повлияло ни на порядок выборов, ни на состав Советов, ни на их классовое лицо. Все «эксплоататоры», начиная от мелкого лавочника («буржуй») и кончая крестьянином, имевшим корову («кулак»), не говоря уже о бывших помещиках, домовладельцах, купцах, хуторянах и прочих «капиталистах», ни активным, ни пассивным избирательным правом не пользовались, а были зачислены в многомиллионный разряд «лишенцев».

За время первых двух пятилеток в СССР произошли коренные изменения в области экономических взаимоотношений, которые привели к построению бесклассового общества: класс «эксплоататоров» в Советском Союзе исчез, а вместе с ним исчезло и классовое деление. Показательным курьезом, характеризующим новое положение, явилось то, что пресловутые «классовые враги» были в срочном порядке переименованы во «врагов народа».

Казалось бы, что при новом классовом составе, т. е. в бесклассовом обществе, автоматически отпала и надобность в классовой, т. е. в советской власти, о чем в своё время предупреждал Маркс, говоря (в письме к Вейдемайеру), что «диктатура пролетариата не является постоянной формой, но является лишь переходным этапом». Термин «Советы трудящихся» перестал быть термином, т. е. словом-понятием, но стал словом-ярлыком, потому что всё население страны было насильственно превращено в единую массу «трудящихся», делившуюся на три категории: рабочие, колхозники и трудовая интеллигенция.

2

Возможно, конечно, что сторонники кронштадтского тезиса укажут на то, что после уничтожения классов в СССР советская власть утеряла свою классовую природу и стала общенародной: Советы со времен сталинской конституции избираются на основе всеобщего избирательного права, а поэтому по сути являются своеобразным парламентом.

Допустим. Но даже и при этом допущении возникает естественный и важный вопрос. Если в России после свержения коммунистической власти установится всенародная власть, то

следует предвидеть ряд коренных изменений, которые могут произойти в экономической жизни. Сохранится ли без коммунистов та экономическая политика, которая имеет место сейчас? Сохранится ли государственная монополия промышленности, торговли и банков? Или же будет признано право (хотя бы ограниченное) частной промышленности и торговли? Будет ли сохранено коллективное сельское хозяйство (колхозы) или же будут узаконены другие формы и виды землепользования? Мне думается, что ответить на эти вопросы не так и трудно: государственная монополия, в чем бы она ни проявлялась, настолько скомпрометировала себя в глазах советских трудящихся, что вряд ли можно ожидать ее полного сохранения при освобождении от коммунизма. Речь идет, конечно, не о примитивной альтернативе — социализм или капитализм? т. е. речь идет не о реставрации капиталистической системы, а о создании таких новых политико-экономических форм, при которых возможно восстановление частного сектора без реставрации классического капитализма.

И если предположить (с достаточной долей вероятности и обоснованности), что после отстранения от власти коммунистической партии в стране восстановится не только свободное искусство, свободная наука и свободная религия, но также свободная промышленность и свободное землепользование, то при этом условии будет неминуемо появление в городе и в селе некоторых добавочных классов, ныне в СССР не существующих, которые на коммунистическом языке называются «эксплоататорскими» и «капиталистическими». Конечно, их эксплоататорские тенденции будут строго ограничены разумным законодательством, а поэтому будет невозможно возвращение того положения, при котором «нашим потом жируют обжоры, наш последний кусок хлеба рвут», но будет так же невозможно и зачисление этих новых классов в разряд «лишенцев», т. е. лишение их избирательных прав. А при этом условии в состав Советов вольются представители новых классов, и, значит, Советы перестанут быть Советами одних только трудящихся. Какой же смысл и какое содержание будет тогда иметь сохраненная «советская власть»?

Такая перспектива, конечно, не стояла перед творцами кронштадтского тезиса, и они принимали «советскую власть» в той оголенной классовой сущности, какая была свойственна их времени. Но эта перспектива неминуемо будет поставлена новой жизнью и потребует своего современного разрешения, а не того, какой представлялся кронштадтцам 40 лет назад, когда

слова «буржуй», «капиталист», «кулак» что-то определяли и в чем-то убеждали. Демагогическая шелуха давно уже спала с этих слов и «режь буржуев» давно уже стало анахронизмом. Поэтому и реставрация кронштадтского тезиса в наше время представляется крайне сомнительной: почему же она желательна и почему она надобна?

3

Советская власть по своей идее, по своему назначению и по целям, которые она ставит перед собою, является не только классовой властью, но является вместе с тем и диктатурой, так как она есть практическое выражение учения Маркса о диктатуре пролетариата.

Она, эта классовая диктатура, ведущая классовую борьбу и не ограниченная конституцией и законодательством, не сдерживаемая ответственностью и руководящаяся лишь классовыми требованиями, неминуемо и, так сказать, органически перерастает рамки дозволенного ей диктата и, расширяясь и углубляясь, начинает подавлять собою все проявления государственной, общественной и личной жизни. Мы знаем, что диктатура в коммунистических условиях определяет собою всю жизнь граждан, устанавливая даже течения в искусстве и моральные критерии. И у нас нет гарантий, что при сохранении классовой советской власти (хотя бы и без коммунистов) диктатура не распространится до таких же или подобных пределов. Наивно полагать, будто другие, не коммунистические диктаторские группы и органы проявят политическое благородство и гражданскую честность, сами себе не дозволяя расширения своих диктаторских возможностей. Обязательным свойством каждой диктатуры является такой её рост, который неизменно приводит её к политике порабощения.

Поэтому следует с особой настороженностью и даже с недоверием отнестись к кронштадтскому тезису, который требовал борьбы с диктатурой коммунистической партии, но сохранял классовую диктатуру советской власти. Диктаторская природа советской власти не только не смущала кронштадтцев, но даже привлекала их своей определенностью и прямолинейностью, отвечавшим эмоциям того времени. Но эта природа будет недопустима при любых формах освобожденной и обновленной жизни, которая, надо полагать, не допустит появления какой бы то ни было диктатуры.

4

У советской власти есть еще одно обязательное свойство, вытекающее из её марксистской природы: она является властью не национальной, а, наоборот, стремится в идеале стать интернациональной властью. Этот её признак был твердо установлен Лениным, который расценивал её именно как первый шаг на пути к «всемирному Исполкому». Сталин еще тверже утвердил этот признак: он указывал на то, что «советская власть является наиболее интернациональной изо всех государственных организаций» и призывал «насадить действительный интернационализм и создать ту замечательную организацию, которая называется СССР и является живым прообразом будущего объединения народов в единое мировое хозяйство» («Вопросы ленинизма»).

Советская власть, выросшая из классового зерна и созревшая на классовой почве, понимает и чувствует себя в интернациональном пределе и ориентируется на свое интернациональное значение. Поэтому она по природе своей не может ставить перед собою национальных задач и стремиться к достижению национальных целей. Для неё интернационально-классовые интересы являются преобладающими и подчиняющими себе интересы нации. Поэтому, принимая кронштадтский тезис и сохраняя в дальнейшем советскую власть, мы должны заранее согласиться на снижение значимости всего того, что составляет национальную сущность народа и государства во всех областях духовной и материальной жизни. Это интернациональное и, следовательно, а-национальное свойство советской власти должно быть учтено при оценке кронштадского тезиса и при определении желательности сохранения советской власти (хотя бы и без коммунистов) в будущем российском государстве.

Итак:

1. Советская власть по идее, её породившей и её направляющей, является властью классовой, но не всенародной. Кронштадтский тезис, восставая против коммунистов, полностью сохраняет классовую сущность советской власти в ее первоначальном, т. е. ленинском понимании.

2. Будучи реальным выражением марксовой идеи диктатуры пролетариата и являясь (по мысли того же Маркса) лишь переходным этапом, советская власть имеет свой смысл и мыслима лишь в период классовой борьбы. В условиях же бесклассового общества её назначение загадочно и непонятно, вернее же всего просто ненужно.

3. Будучи диктатурой, советская власть этим своим свойством исключает все демократические возможности, признаки и проявления, а базируется, как всякая диктатура, на насилии, которое приводит к тактике террора и бесправия.

5

Е. Петров предлагает в своей статье возродить старый кронштадтский тезис — «Да здравствует советская власть без коммунистов!» Но вся его статья дает основание полагать, что под именем «советская власть» он разумеет не классовую, не «рабоче-крестьянскую» власть, а некоторую иную. Какую?

Конечно, ни тема, ни размеры статьи не дали возможности Е. Петрову с достаточной полнотой и несомненностью ответить на этот вопрос, но основные вехи ответа он расставил ясно: он имеет в виду власть не классовую, а всенародную. «Власть в стране, говорит он, должна быть **народной**» и повторяет это утверждение в другом месте: «Мы утверждаем необходимость построения **демократического** государства». Еще дальше он высказывается с такой же точностью: структура государственного аппарата по его мнению должна быть «беспартийная, с **демократическими выборами** в органы власти, т. е. **с новой, иной** конституцией» (подчеркнуто мною. Н. Н.).

Эти высказывания, надо полагать, возражений встретить не могут. Но некоторое недоумение они вызывают. Таких недоумений в основном два:

1) Утверждения автора статьи о необходимости коренной демократизации советского строя идет вразрез с кронштадтским тезисом, который требовал не демократической, а именно классовой, «рабоче-крестьянской» власти, отвергая не её марксово-ленинскую сущность, а протестуя лишь против монополии коммунистической партии. Кронштадтский тезис отнюдь не ратовал за власть демократического Учредительного Собрания, но целиком признавал антидемократический лозунг октябрьской революции — «Вся власть Советам».

Поэтому естественно рождается недоумение: почему же этот антидемократический лозунг, лежащий в основе кронштадтского тезиса, должен быть положен в основу при выработке демократической государственной программы будущего? Какое отношение имеет этот кронштадтский тезис к утверждениям Е. Петрова о необходимости полной демократизации строя?

2) Второе недоумение вызывается следующим соображением. Если послекоммунистический государственный строй

России будет построен, как говорит автор статьи, на базе иной, не сталинской, а демократической конституции; если органы центральной и местной власти будут формироваться путем свободных выборов; если классовая сущность правления будет ликвидирована; если примат коммунистической партии будет уничтожен; если исполнительная власть будет ответственна перед властью законодательной; если в стране восстановятся гражданские свободы, появятся различные политические партии и будет крепко установлен правовой порядок, основанный на законе; если, одним словом, будет призван к жизни тот демократический принцип, на который справедливо указывает Е. Петров, то почему же новая власть, построенная на этих основах, должна будет по-прежнему называться «советской», хотя с советской властью она не только не будет иметь ничего общего, но, наоборот, пойдет путем полного её изживания.

***

«Если на клетке слона увидишь надпись «буйвол», не верь глазам своим!» — убеждал когда-то Козьма Прутков. И в самом деле: если буйвол из клетки выведен и заменен слоном, то нет ни смысла, ни надобности сохранять прежнюю надпись. И если новая советская власть утеряет все признаки и все свойства «советской власти», а взамен их приобретет новые признаки и свойства, то какая же причина может заставить сохранять старое название — «советская»?

Конечно, нет надобности особенно придираться к слову-названию: «от слова не станется». Но в данном случае название, «советская власть», является не словом-ярлыком, но словом-понятием, а поэтому включает в себя очень многое. Какой силой обладает это очень многое: силой притяжения или силой отталкивания?

Е. Петров в своей статье утверждает, что отталкивание в советских гражданах вызывается только коммунистической партией, всё же советское ими настолько принимается, ценится и даже уважается, что они не захотят с этим советским расстаться. К сожалению, он не уточняет, с чем именно советским не захотят расстаться граждане СССР, а ограничивается только двумя-тремя примерами: бесплатная медицинская помощь, доступность образования, библиотеки, покровительство спорту и т. д. Но думается мне, что не одной только этой положительной категорией ограничивается представление граждан о советской власти: есть у них достаточно полная и убедитель-

ная другая, отрицательная категория представлений: бесправие и произвол, нищенская заработная плата и изнурительные очереди, удушение свободной мысли и издевательская система выборов, всеохватывающая ложь и удушающая пропаганда... Со словом «советская власть» у них неминуемо появляется мысль о колхозах, о соцсоревновании, о концлагерях, о беспредельном бюрократизме, о принудительной высылке молодежи на целину и о многом другом.

Ошибочно думать, будто в сознании граждан СССР всегда проведена некая демаркационная линия, отделяющая все хорошее советской власти от всего плохого коммунистической партии. И в самом деле: кто определит хотя бы с приблизительной точностью, где кончается советская власть и где начинается партия? Боюсь, что на этот вопрос ответить невозможно, а поэтому и сомневаюсь, что граждане на каждом шагу дают себе ненужный отчет: «Библиотеки и школы? Это благодеяние исходит от советской власти. Бесправие и полунищенская жизнь? Это зло исходит от коммунистической партии». Эти два понятия (советская власть и коммунистическая партия) настолько слились воедино, что различаются только с трудом и только теоретически. Более того: в представлении граждан вся система советской власти и все её проявления заключаются именно в партии, и именно партийное начало видят они во всем. Для них всё является партией и её органами: и государственные тресты, и профсоюзы, и пресса, и суд, и — даже сами Советы. Верховный Совет Республики — это не нечто самостоятельное и независимое, но только какой-то филиал ЦК КПСС.

А поэтому с трудом верится, что советская власть сама по себе обладает в глазах граждан каким-то очарованием, ради которого надо сохранять её наименование даже при обновлении жизни. Думается даже наоборот: думается, что освободившиеся граждане примут это наименование в штыки.

***

Я умышленно не хотел бы касаться здесь одного чрезвычайно спорного положения, выставленного Е. Петровым, если бы оно не было истоком его требования о сохранении советской власти и сверх того не было бы его базой. Вот это положение: «Понимая Октябрь не как партийную революцию, а как народную, мы солидаризируемся с основным лозунгом кронштадтцев и утверждаем необходимость построения демократического государства».

С этим положением многие не согласятся. Если октябрьская революция действительно, была не партийной, а народной, то почему не народной была февральская революция? Как следует в данном случае понимать слово «народ»: как всю массу населения страны или только как часть его, т. е. «голытьбу»? В этом случае о «народности» революции не может быть и речи, но должна быть речь о «классовости» ее: всё та же «рабоче-крестьянская» революция, организованная и проведенная большевистской партией. Поэтому становится совершенно непонятно: как возможно «построение демократического государства» на базе антидемократических «завоеваний Октября»?

Е. Петров утверждает дальше: «лозунг октябрьской революции — диктатура пролетариата — принимался народом, как идея народоправия» (подчеркнуто мною. Н. Н.). Это утверждение крайне нуждается в доказательствах, потому что слишком многое противоречит ему. Октябрьская революция сразу начала уничтожение не только «капиталистов, помещиков и фабрикантов», но и интеллигенции, духовенства, офицерства, людей свободных профессий и, одним словом, всех тех, кто был «не от сохи» и «не от станка». Поэтому очень трудно, даже невозможно увидеть демократическую идею народоправства в кровавой борьбе Октября с демократией страны. Ведь нельзя же вычеркнуть из истории тот факт, что одним из первых проявлений этой «идеи народоправия» был разгон Учредительного Собрания, т. е. грубейшее насилие над тем органом, который воплощал в себе эту идею.

**
*

Но есть в статье Е. Петрова одно бесспорное положение, с которым нельзя не согласиться. Он безусловно прав, указывая на то, что «октябрьская революция была дорога простонародью именно потому, что оно верило, что господ больше нет и вместе с тем народу возвращаются его человеческие права и достоинства, что простолюдин больше не «мужик», не «хам», а человек».*

Совершенно несомненно, что деление всей массы народа на привилегированные и податные сословия, отличные друг от

---

* Небезынтересно и даже важно отметить неясность в терминах этой цитаты: «простонародье», «господа», «народ», «простолюдин»... Какое содержание вкладывает автор в термин — народ, употребляя его в ряду остальных терминов?

друга по правам и обязанностям, по положению и по жизненным возможностям, было в 20-ом веке губительным анахронизмом, препятствовавшим росту государства и психологически извращавшим взаимоотношения между людьми. И, конечно, возвращение к прежнему сословному делению не только немыслимо, но и должно страшать своим катастрофическим уродством.

Но для обеспечения равенства необходимо ли сохранение советской власти? Нет надобности доказывать, что это равенство уже было достигнуто Февралем и могло быть упрочено не в советских условиях, а в условиях демократической системы. При советской же власти — увы! — равенство строится по чересчур шигалевскому способу: «все — рабы и в рабстве все равны». Несколько трудно видеть «возвращение народу его человеческих прав и достоинств» в разорении крестьянских хозяйств, в ссылках в концлагери миллионов крестьян, в закабалении их в колхозах и в полунищенском существовании, на которое они обречены советской властью. Кроме того, нельзя пренебрегать и тем, что советский строй не случайно, а вполне закономерно уже привел к появлению «сословий», т. е. привилегированных групп, освобожденных от несения целого ряда тягот, лежащих на «податных» группах. Поэтому нет большого доверия к тому, будто новый советский строй может гарантировать равенство вне шигалевского понимания этого слова.

Е. Петров совершенно прав, говоря, что «проблема свержения коммунизма утыкается в вопрос: «А что потом?» Люди, говорит он, ждут идеи нового социального и политического устройства страны».

Это бесспорно. Но бесспорно также и то, что люди ждут идеи именно **нового** устройства, которое отвечало бы требованиям современной жизни и пониманиям современных людей. Поэтому нельзя признать удачной и согласованной с сегодняшним днем попытку воскресить в 60-ых годах тезис, выработанный и выставленный в совершенно других условиях, людьми с другими пониманиями и чувствами. Жизнь и люди создали за эти годы иное, новое вино, которое не следует вливать в достаточно ветхие кронштадтские мехи: «и вино вытечет, и мехи пропадут».

Н. Нароков

ИЗ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ: ХУННУ*

Из всех евразийских степных народов древности одним из самых воинственных и сильных были гунны. Гуннский хан Аттила (434-453), ставка которого была в нынешней Венгрии, держал в страхе и Византию и Западную Римскую Империю. Среди союзных или подвластных ему народов были и аланы (предки осетин), и готы, и славяне. Славянские волхвы, надо думать, пользовались большим почетом у гуннов и после смерти Аттилы принимали участие в его похоронах. Не случайно историк гото́в, алан Йордан, писавший по-латыни (в VI веке), рассказывая о поминальном пиршестве по Атилле, называет этот обряд древне-славянским словом «страва».

Царство Аттилы распалось после его смерти, но нашествие гуннов на Европу тем не менее имело значительные исторические последствия, сдвинув с места и перемешав различные народы. С уходом многих германских племен на Запад, в восточной и средней Европе подняли голову славяне. Осколки туркоязычных племен гуннского союза отхлынули к востоку от Венгрии — в северное Причерноморье и на северный Кавказ, где они стали известны под именем болгар. В VII веке одна из ветвей болгарского племенного союза обосновалась в среднем Поволжье (потомки их — чуваши). Другая ветвь вновь двинулась на запад — в Добруджу и на Балканский полуостров. Эти болгары подчинили себе живших там славян, а потом слились с славянами и приняли их язык, и вместе с тем дали свое имя этой ветви славян — болгарскому народу.

Задолго до появления гуннов в Европе кочевники, жившие в Монголии, воевали с Китаем и внушали такой же ужас Китаю своими набегами, как гунны Аттилы — Византии и Риму. В китайских летописях эти кочевники называются хунну. В исторической науке высказывалось мнение, что сходство имен «гунны» и «хунну» случайно и что гунны не были потомками хуннов. Большинство ученых однако отстаивает идею

* Л. Н. Гумилев, Хунну: Средняя Азия в древние времена. Москва, Академия Наук СССР, Институт Востоковедения, 1960.

преемственности гуннских переселений с востока на запад. Эта точка зрения была убедительно обоснована К. А. Иностранцевым в его исследовании «Хунну и гунны».[1] Насколько можно судить по остаткам хуннского языка, они, как и гунны, были туркоязычным народом.

В своей книге «Хунну» Л. Н. Гумилев признает преемственность гуннов от хуннов[2] с значительными оговорками, необходимыми, по его мнению, для объяснения некоторых черт несходства в антропологических и этнографических признаках хуннов и гуннов в различных источниках. По утверждению Гумилева (стр. 241-247 его книги), после того, как держава Хунну распалась под ударами китайцев и монголов и остатки разбитых хуннов бежали в Приуралье, хунны смешались с уграми (предками венгров), которые и сопровождали хуннов в дальнейшем их поступательном движении на запад, начавшемся около 350 года.

Истории гуннов в южной России после этого времени Гумилев не рассматривает, отсылая читателя к книге М. И. Артамонова «История хазар», о выходе которой уже объявлено, но которая, насколько мне известно, еще не вышла в свет. Отметим, что Гумилев является редактором этого труда Артамонова.

«Хунну» Гумилева — выдающийся труд большого значения для всех, интересующихся ролью кочевников в мировой истории и в особенности в предыстории и истории России-Евразии.

Лев Николаевич Гумилев (родился в 1912 г.) — востоковед, историк и археолог. Историей степных народов он заинтересовался еще в юности. В середине 1950-х годов Гумилев, в сотрудничестве с С. И. Руденко, принимал участие в археологическом обследовании Алтая, летом 1958 г. Гумилев вел археологическое обследование Балаганской степи (на Ангаре, ниже Байкала) и ее стыка с тайгой. В 1959 г. и летом 1960 г. он обследовал низовья Волги и вел археологические работы в прикаспийской части былой хазарской державы.

С социологической точки зрения основная тема рассматриваемой нами сейчас книги Гумилева — сопоставление осед-

---

[1] Первоначально напечатано в «Живой Старине» (1910). Позже издано отдельной книгой (Ленинград, 1926).

[2] Гумилев употребляет имя «Хунну» для обозначения государства хуннов. Имя «хунны» он вводит для отличия восточных предков гуннов от гуннов в Европе.

лого земледельческого и кочевого общества (Китай и Хунну), контрасты между этими двумя социальными формациями и взаимное влияние одной на другую.

Труд Гумилева основан на тщательном исследовании как археологических данных, так и письменных источников. Письменные источники истории хуннов главным образом китайские. Уже более столетия тому назад (1851) систематические извлечения из китайских летописей, касающиеся хуннов и других кочевников (начиная с «Исторических Записок» Сыма Цяня, жившего во II в. до н. э.), появились в русском переводе монаха Иакинфа Бичурина, труды которого высоко ценил Пушкин, бывший с Бичуриным в дружеских отношениях. Когда Пушкин писал «Историю Пугачевского бунта» Бичурин сообщил ему недоставшие Пушкину сведения о калмыках (см. примечание 8 к главе 1 «Истории Пугачевского бунта»). Бичурин окончил Казанскую духовную семинарию в 1799 г. и на следующий год получил место преподавателя в этом же учебном заведении, только что тогда преобразованном в духовную академию. В 1807 г. Бичурин был назначен начальником русской духовной миссии в Китае, где и пробыл до 1821 года. По происхождению Бичурин был чуваш.

Десять лет тому назад появилось «юбилейное» переиздание (сто лет после первого издания) труда Бичурина, столь важного для истории хуннов.[3]

Следует тут сказать, что в свое время только часть трудов Бичурина была издана; много ценного осталось в рукописи. Рукописное наследие Бичурина было изучено и подготовлено к печати Гумилевым. Только что вышел в свет сборник неизданных ранее трудов Бичурина.[4]

В первых трех главах «Хунну» Гумилев обрисовывает географическую и этническую обстановку «зарождения» и «становления» хуннов и их предысторию. В IV главе говорится о построении китайцами «Великой стены» для ограждения Китая от нападений хуннов и других кочевников. В V главе Гумилев описывает сложение мощной военной державы хуннов

---

[3] *Н. Я. Бичурин (Иакинф)*. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Три тома (III том — приложения). Москва-Ленинград, т.т. I-II, 1950; т. III, 1953.

[4] *Н. Я. Бичурин (Иакинф)*. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии. Составители Л. Н. Гумилев и М. Ф. Хван. Географическое Общество СССР, Чувашское государственное издательство. Чебоксары, 1960.

и затем (главы VI-XVI) дает последовательный очерк военной и политической истории хуннов и их борьбы с Китаем вплоть до ослабления и распада хуннского государства. Последняя глава (XV) посвящена проблеме преемственности хуннов и гуннов. На фоне хронологического очерка истории хуннов Гумилев следит и за изменениями их общественного и хозяйственного строя.

Гумилев с сожалением отмечает, что «фольклор и прочие проявления хуннской духовной культуры безвозвратно утеряны» и о них имеются только краткие упоминания (стр. 98). В частности, до нас не дошли памятники хуннского эпоса, но эпос у них несомненно был. Мне кажется, задачу изучения хуннского эпоса следовало бы поставить хотя бы в предварительном порядке. Подойти к ее хотя бы частичному разрешению можно было бы путем анализа остатков эпоса европейских гуннов, а также путем поисков отражений хуннского эпоса в эпосе турецких и монгольских племен более позднего времени. Отражений хуннского эпоса можно искать и в произведениях искусства. В этом отношении очень ценна работа М. И. Ростовцева «Герой Срединной Азии и его подвиги». Ростовцев обратил внимание на сцены из жизни кочевников, изображенные на ряде сибирских и подобных им северо-китайских золотых блях, часть которых относится, повидимому, к хуннской эпохе. Изображения эти иногда толковались как жанровые сцены. Ростовцев видит в них сцены ритуально-религиозного или эпического характера. К статье Ростовцева приложена краткая, но проникновенная заметка Ю. Н. Рериха, осветившего эпические мотивы изображений героя на бляхах, изученных Ростовцевым, параллелями с тибетским и монгольским эпосом.[5]

Много внимания уделяет Гумилев вопросам этнологии, при чем он касается не только Китая, Монголии и Сибири, но также и «западных стран» (Средней Азии), куда завела и китайцев и хуннов их борьба между собой.

В этническом составе населения Китая и Срединной Азии Гумилев придает большое значение «европеидам» — древним племенам белой расы, в особенности же загадочным динлинам. О динлинах Гумилев, еще до выхода в свет его книги, написал особую работу, в которой он пересматривает и развивает взгляды, высказанные более полувека тому назад известным

[5] M. Rostovtzeff, The Great Hero of Middle Asia and his exploits. Artibus Asiae, 4 (1933), стр. 99-117.

путешественником и исследователем Монголии Г. Е. Грумм-Гржимайло.[6]

Среди многих других племен и народностей — турецких (тюркских), монгольских, тунгузских, тибетских, угорских и северо-иранских — Гумилев упоминает и аланов, язык которых — по основному строю его — считается северно-иранским, но в который входят и другие элементы — «яфетические», по определению Н. Я. Марра. Гумилев говорит, что аланы «во II в. до н. э. обитали на северных берегах Аральского и Каспийского морей, затем распространились на Северный Кавказ» (стр. 249). Мне кажется, что область расселения аланов была значительно шире. Можно с уверенностью сказать, что аланы заходили гораздо дальше к востоку, чем «берега Аральского моря». Чешуйчатый панцырь и оружие воинов, изображенных на некоторых наскальных изображениях на Енисее, совершенно сходны с изображением вооружения аланских конников на фресках Керченских катакомб. По мнению М. И. Ростовцева, Енисейские изображения, вероятно, относятся к аланам восточной ветви.[7]

Гумилев упоминает «оленные камни», т. е. плиты, украшенные изображениями оленей, солнечного диска и оружия (стр. 47). Эту «плиточную культуру» Гумилев связывает с периодом «становления» ранне-хуннского общества (IX-IV века до н. э.). Но следует вспомнить, что олень был священным животным аланов, что солнечный диск нередко встречается в аланских украшениях и что, по свидетельству Аммиана Марцеллина, аланы поклонялись мечу и клялись оружием. Заметим уже здесь кстати, что и солнечный диск и олень играли большую роль также в древне-русском (и русском народном) искусстве и что, судя по договорам Руси с греками X века, языческая Русь клялась оружием. По моему мнению, «оленные камни» относятся к кругу аланской культуры, а не хуннской.

Общественный строй хуннов создался в условиях кочевой жизни. Как правильно пишет Гумилев (стр. 27), «кочевой быт отнюдь не предполагал беспорядочного плутания по степи. Кочевники передвигались весной на летовку, расположенную в горах, где пышная растительность альпийских лугов манила к себе людей и скот, а осенью спускались на ровные мало-

---

[6] Л. Н. Гумилев. Динлинская проблема. Известия Всесоюзного Географического Общества, т. 91 (1959), стр. 17-26.

[7] М. И. Ростовцев. Сарматы и парфяне, гл. III тома XI Cambridge Ancient History. 1936, стр. 100.

снежные степи, в которых скот всю зиму добывал себе подножный корм. Места летовок и зимовок у кочевников строго распределялись и составляли собственность рода или семьи. Так было и у хуннов».

«Хуннский род был патриархальным, т. е. дети принадлежали к роду отца, а не матери... С отцовским родом всегда бывает связана экзогамия, и у хуннов она налицо, так как жен полагалось брать исключительно из чужого рода». (стр. 81). Хуннская держава создалась и держалась объединением главных родов, которых считалось 24. Глава объединения — шаньюй («высочайший») первоначально был выборным. В дальнейшем престол чаще всего передавался от отца к сыну (см. генеалогическую таблицу хуннских шаньюев на стр. 284). Но шаньюй не был абсолютным монархом; власть его была ограничена родовой аристократией (стр. 74).

У каждого из родовых старейшин была своя дружина, с которой он выступал на войну под верховным начальством шаньюя. Китайцы исчисляли общую численность хуннского войска от 60 тыс. до 300 тысяч человек — последняя цифра, вероятно, преувеличенная. Основным оружием хуннского всадника был лук. «Тактика хуннов состояла в изматывании противника... Отогнать их было легко, разбить — трудно, а уничтожить — невозможно». (стр. 79). Позже у хуннов упоминаются и меч и копье (типичное оружие аланов).

С превращением хуннов в сильную военную державу приобретает значение деление войска на «тысячи» и «тюмени» (тюмень — отряд в 10.000 воинов, древнерусская «тьма»). Китайские источники упоминают об этом вскользь. Мне кажется, что и Гумилев обратил недостаточно внимания на этот вопрос. Гумилев думает, что цифра 10.000 в китайских источниках «не просто число, а понятие множества неисчислимого — то же, что для наших предков тьма тьмущая». (стр. 60). Но дело в том, что китайцы могли упоминать отряды в 10.000 человек (тюмени) со слов самих хуннов, а для последних, как для многих степных народов, понятие «тюмень» имело совершенно точное значение по отношению к военному устройству. Такое же значение имело для наших предков монгольской эпохи понятие «тьма». Слово «тьма» древне-славянское и создалось независимо от турецко-монгольского термина «тюмень».

В монгольской империи Чингис-хана «тюмень» был не только военным, но и административным термином: округ, выставлявший 10.000 воинов. После монгольского завоевания Русь была разделена на военно-податные округа, называвшие-

ся по-русски «тьмы». Каждая русская тьма должна была выставлять 10.000 рекрутов в монгольскую армию по требованию монгольского императора и платить определенный размер налога.[8]

Конь — основа жизни кочевника, близкий друг своего хозяина-воина, почти что член рода своего хозяина. У аланов — да и не у них одних — конь таврился родовым знаком (тамгой) хозяина (для рогатого скота употреблялось особое тавро). Многие роды и родоначальники назывались по масти их коней. Для примера: имя одного из аланских вождей, ушедших в Европу во время «переселения народов», дается в латинских источниках как Сафрак. Это — транскрипция аланского (осетинского) слова «саураг» — название определенной масти лошадей (отсюда русское «саврасый»). Очевидно, аланский вождь славился своей породой лошадей этой масти.

У кочевников было в обычае подбирать коней определенной масти для каждого воинского отряда. Гумилев сообщает (стр. 65), что основатель хуннского могущества шаньюй Модэ (209-174 до н. э.) имел «четыре войсковых подразделения, определявшихся мастью лошадей: вороные, белые, серые и рыжие». Тут можно вспомнить, что когда монголы вторглись в Рязанскую землю, они потребовали «десятины (десятой части) во всем: и в людях, и в князьях, и в конях — в белых 10 (т. е. десятую часть), в вороных 10, в бурых 10, в рыжих 10, в пегих 10». (См. Новгородскую Первую Летопись под 1238 г.). Здесь мы видим пять мастей, т. е. на одну масть больше, чем у хуннов Модэ.

Мастями коней заинтересовались в хуннское время и китайцы. Первоначально, говорит Гумилев, лошадь у китайцев была «малорослая, слабосильная, тихоходная и маловыносливая, не могла сравняться с хуннской лошадью» (стр. 123). Для того, чтобы противостоять хуннам, китайцам пришлось создавать заново кавалерию, а для этого нужно было и улучшить породу лошадей. В поисках подходящей породы китайцы обратили внимание на «западные страны». Побывавший там китайский агент Чжан Цянь доложил императору У-ди (в 126 г. до н. э.), что в стране Давань (Фергана) есть «добрые лошади (аргамаки), которые происходят от небесных лошадей

---

[8] Я выясняю основы и значение тюменной организации в Монгольской империи и систему «тем» в подчиненной монголам Руси в книге The Mongols and Russia. New Haven. 1953 (стр. 126-127, 211, 215-219).

и имеют кровавый пот». Гумилев здесь (стр. 124) цитирует «Исторические записки» Сыма Цяня в переводе Иакинфа Бичурина.

В другом китайском историческом сочинении повествуется: «В даваньском владении находятся высокие горы. На этих горах водятся лошади, которых невозможно достать: почему выбирают пятишерстных, т. е. пестрых, кобылиц и пускают при подошве гор для случки с горными жеребцами. От сих кобылиц родятся жеребята с кровавым потом и посему называются жеребятами породы небесных лошадей». (Та же стр. у Гумилева — перевод Бичурина). Думаю, что в фразе «пятишерстных, т. е. пестрых, кобылиц» слова «т. е. пестрых» — пояснение Иакинфа Бичурина. Пояснение это только сбивает читателя с толку. Совершенно очевидно, что речь идет не о пестрых кобылицах, а о кобылицах пяти разных мастей, возможно тех именно мастей, о которых, много веков спустя, говорилось в монгольском указе при нашествии на Рязань. В конце концов китайцам удалось улучшить породу лошадей и создать сильную кавалерию, а с помощью ее не только остановить натиск хуннов, но и разрушить хуннскую державу (хотя последний решающий удар нанесли хуннам не китайцы, а монголы). Но куплен был успех дорогой ценой — путем выжимания из населения непосильных налогов наживавшимися на этом чиновниками. Немудрено, что и подвластные китайцам пограничные племена и китайские крестьяне часто перебегали к хуннам, считая, что «у хуннов весело жить» (у хуннов не было налогов). В связи с этим Великая Стена, построенная китайцами для отражения хуннов, получила для Китая добавочное назначение — не пускать к хуннам перебежчиков из Китая (стр. 55, ср. стр. 147).

В хуннской державе потому не было налогов, что хуннский народ состоял из свободных родов. Родовичи были воины своего племени, а не подданные шаньюя. Источниками доходов хуннов были: военная добыча; подать, собиравшаяся ими с покоренных народов (преимущественно в Средней Азии); «подарки» китайского императора (в те времена, когда Китаю приходилось откупаться от хуннских набегов); и наконец — торговля. Владея обоими берегами «песчаного моря» (пустыни Гоби), хунны были посредниками в торговом обмене между Китаем и Сибирью. Из Сибири шли к хуннам меха, из Китая — шелковые ткани, парчевая одежда и другие предметы роскоши. Но в числе китайских подарков (хунны считали их данью) привозился к хуннам также и хлеб. Хлеб хунны, кроме

того, покупали у китайцев и на пограничных рынках. Хунны вообще всегда настаивали на открытии для них этих рынков. Закрытие рынков вызывало войну. Когда Китай усилился, а хунны ослабели и не было привоза хлеба из Китая, хуннам пришлось самим заводить у себя посевы проса. Землю для них пахали перебежчики из Китая и военнопленные, обращенные в рабство (стр. 147).

Длительное общение с Китаем не могло не оказать значительного влияния на хуннское общество, в особенности на верхи этого общества. При дворе шаньюя и среди хуннской аристократии быстро развился вкус к роскоши. «Китайские женщины, выдаваемые замуж за шаньюев и князей, и их свита приносили китайские вкусы и взгляды, а многочисленные перебежчики, поступавшие на службу и делавшие карьеру, обучили хуннов тонкостям дипломатии». (стр. 193).

Против «изнеживающего» китайского влияния сплотилась старо-хуннская партия, настаивавшая на сохранении степных обычаев и строгой военной дисциплины. Борьба китаефильского и старо-хуннского направлений проходит через всю историю хуннов за последние два века существования хуннской державы. Раздоры между этими двумя течениями, осложненные личными столкновениями и интригами, а также усиливавшейся оппозицией родовых старейшин шаньюям сильно ослабили хуннскую державу, и, в конечном счете, много способствовали ее падению.

При оценке роли хуннов в мировой истории — и, в частности, в истории Евразии — нельзя забывать о расширении географического кругозора человека тех времен и распространении культурных связей между различными народами в хуннскую эпоху. «Открытие Сибири» (по удачному выражению Гумилева) хуннами сопровождалось открытием «западных стран» и хуннами и китайцами. «Дипломатические путешествия, обогатив китайскую науку, дали возможность китайским ученым составить исторические карты Западного края» (стр. 114). Восемь таких карт помещено в «юбилейном» переиздании упомянутого выше труда Иакинфа Бичурина, в приложении к III (дополнительному) тому.

Нужно вспомнить здесь, что, начиная с походов Александра Македонского, греки стали проникать на восток, в Иран, Индию и Среднюю Азию, чем были сильно раздвинуты рамки эллинистической культуры и расширен географический кругозор людей этой культуры. Два потока — не только военных,

но и умственных — шедшие один с востока, другой с запада, встретились и сомкнулись в Туркестане.

Книга Гумилева написана талантливо. Гумилев чувствует и природу и людей. Очень удачны его описания пустыни, подкрепленные красочными цитатами из сочинений Пржевальского и других русских путешественников. Не забывает Гумилев и значения северных лесов — «таежного моря». Насыщенная фактами различного порядка — военно-политического, социального, культурного и экономического — книга Гумилева по необходимости составлена в сжатом стиле. Тем не менее, его краткие характеристики многих из описываемых им исторических деятелей, а также и социальных сдвигов и человеческих отношений, ярки и вдумчивы. Данные письменных источников, где это возможно, подкрепляются свидетельством археологических раскопок. Один из примеров мастерской смычки данных истории и археологии в труде Гумилева — его описание посмертной судьбы хуннского шаньюя Учжулю, успешно воевавшего против китайского императора, узурпатора Ван Мана.

«К счастью для Ван Мана, его враг, Учжулю-шаньюй, умер в 13 г. н. э. Учжулю-шаньюй был торжественно похоронен и пролежал в могиле под курганом 1911 лет. В 1924 г. курган этот был раскопан экспедицией П. К. Козлова, и находки из него хранятся теперь в Эрмитаже. Курган датируется точно благодаря надписи на лакированной китайской чашечке: «Сентябрь 5 года. Цяньпин, изготовитель Ваньтаньцзин, живописец украшений Хо, другой изготовитель И, наблюдал Бяньу». Дата соответствует 2 г. н. э. На дне чашечки была надпись «Шаньлинь» — название дворцового парка около Чанани. Там в 1 г. до н. э. Учжулю-шаньюй был принят императором и богато одарен». (Стр. 191).

В книге Гумилева имеется пять схематических карт расселения племен в Срединной Азии и последовательных фаз развития хуннской державы от VIII века до н. э. — до II века н. э. Карты эти дают общие рамки для того, чтоб следить за ходом писанных событий, но недостаточны для детальных справок. В приложениях к книге помещены «Словарь этнонимов» (с краткими сведениями о каждом племени), синхронистическая таблица, две генеалогических таблицы хуннских шаньюев и таблица родословия усуньских князей (Усуни — один из «западных народов», с которыми воевали хунны). Все эти приложения очень полезны и помогают читателю разобраться в сложном содержании книги, но они не могут заменить указа-

телей — имен (личных и географических) и предметного — а указателей этих, к сожалению, не дано.

«Хунну» Гумилева — первое звено задуманной им «степной трилогии». Второе должно быть посвящено туркам (тюркам) VI-VIII веков; третье — монголам Чингис-хана, его предшественникам и преемникам.

Г. В. Вернадский

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА В. И. ИВАНОВА К В. Ф. ХОДАСЕВИЧУ

Публикация Н. Н. Берберовой

1

Среда, 7 октября [1924 г.]

Дорогой Владислав Фелицианович,

Только что получил Ваше открытое письмо из Парижа. Итак, Вы, быть может, уже здесь. Спешу сообщить Вам свой адрес: 172 via Quatro Fontane. 3 piano (presso Placidi)

Непременно хотел бы с Вами увидеться. Не уезжайте, не повидавшись со мной. Заходите ко мне или назначьте у себя свидание. Привет!

Дружески преданный Вам

Вяч. Иванов

2

[Визитная карточка. Октябрь 1924 г.]

Лицевая сторона: Prof. Dott. Venceslao Ivanov
Al Sig. V. Hodassevic (camera 104)

Обратная сторона: Огорченный тем, что Вы меня не застали, поехал к Вам и ждал Вас до 12 час. Итак, не судьба увидеться. А я хотел поговорить с Вами подробно о сотрудничестве в «Беседе». Напишите мне об этом обстоятельно. Нуждаюсь в литературной работе и в издании разнообразных вещей. Сообщите, если Алексею Максимовичу[1] писать трудно, его мнение о присланной ему пьесе[2]. Напишите также о Париже. Спасибо, что заходили. Привет.

3

Рим, 29/XII. 1924.

Спасибо за дружеское Ваше письмо, дорогой Владислав Фелицианович, и сердечное Вам с супругою[3] пожелание счастливого нового года. Как ни мрачен общий фон и Вашего и моего душевного настроения, по одинаковым причинам, в письме Вашем правильно отмеченным («Россия раскололась пополам, и обе половины гниют, каждая по своему»), — все-же мы оба, хоть физически-то, еще живы, а следовательно способны и к нечаянной радости, когда сильная светлая волна, откуда ни возьмись, вдруг плеснет из неведомых родников души и непонятно освежит, оживит иссыхающую омертвелую душу. Вот такого-то счастия, прежде всего, и желаю Вам в новом году, желаю и себе; но Вам — с уверенною надеждой, себе же менее уверенно. Что до Вас, — слышал я с разных сторон столь восхищенные отзывы о Ваших стихах последнего времени, мне к сожалению неизвестных, — да и без этих отзывов так знаю Вас, лирического поэта, — что Вашей хандры, как бы ни была она глубоко оправдана, ежели только Муза с Вами, окончательно бояться не могу: когда в поэте затоскует Саул, закономерно поднимет в нем-же свой голос и Давид. Что до меня, — возможно, что в эту самую минуту, когда, говоря о Вас, невольно подбадриваю сам и самого себя, — Саул во мне стосковавшись по все чаще и слишком надолго пропадающем Давиде, сам пытается перебирать пальцами струны его заброшенной арфы, да не налаживается волшебная песня. И опять скажешь: не жизнь поэту без его живой страны, а в Москве, где я прожил летом, после 4-летнего сидения в Баку, три месяца и должен был надышаться хваленым «озоном», видел я только нервных больных под действием веселящего газа, и как ни уверял себя, что мертв я, а вокруг меня живые, глаза и сердце упорно отказывались свидетельствовать о жизни и радости, которые веют там, где дышет животворящий Дух. И жадно хотелось переменить воздух и оглядеться в Европе и из Европы; но жизни на западе я также не узрел — и вот влачусь в пустыне мрачной. Остается обратить пустыню в пустынь, чего бы я и желал: другими словами, так как по истечении годовой командировки вернуться я не обязан, если не хочу сохранить за собой бакинской профессуры по классической филологии и поэтике — крепко думаю пустынножительство заграничное продолжить, — была бы только литературная или какая иная мне доступная работа. Похож я на Филоктета, оставленного с язвой и луком на пу-

стынном острове. Разница же в том только, что на бедном Филоктете еще и зарок не употреблять в пищу зверей и птиц «не чистых», а «чистых» на окаянном острове так мало, что хоть помирай... (Вот, к примеру, вульгарность коего прошу мне извинить, — издатель Ваш не то, чтобы стихи мои издать, даже обещанного гонорара выслать не хочет, ниже книжек «Беседы»...). Но возвращаюсь к новогодним размышлениям и наипаче желаю Вам избавиться в новом году, под милостивым влиянием сорренто-ского воздуха и тепла, от этой ужасной Вашей хвори, которая, как Вы пишете, покоя Вам не дает, но заставляет непрестанно томиться и лечиться, — так что выходит: и Вы Филоктет на острове. Дай Бог Вам поправиться и выздороветь окончательно. Дорогому Алексею Максимовичу передайте также мой новогодний привет и пожелания душевной свежести и доброго здоровья. Пока жму крепко Вашу руку и остаюсь

сердечно преданный Вам
Вяч. Иванов

Гершензону[4] я до сего дня из-за границы не писал, а потому и от него вестей не имел; в сентябре он должен был — из-за болезни — поехать заграницу. Он говорил мне: «десять месяцев поживете там — и потянет неудержимо в Россию; через десять месяцев здесь — туда». Но я-то другой человек, и привык за свою жизнь пустынножительствовать на Западе долгими годами и рядами лет, только укрепляясь в своем русском самочувствовании.

Пишу для «Беседы» об «Идиоте»[5]. Не присоветуете ли чего-нибудь относительно изданий? Привет!

В. И.

4

12 января 1925.

Дорогой Владислав Фелицианович,

От Муратовых[6] добыл я книгу Вашу: читаю и перечитываю «Тяжелую Лиру» с восхищением конечно, боль, горечь и скорбь исполняют свое высшее эстетическое (— и не только эстетическое!) назначение, когда из их горнила вырывается гимн, — когда

На гладкие черные скалы
Стопы опирает Орфей.[7]

Этот высокий акт преодоления озаряет Вашу лирику необыкновенным, несколько жутким, ибо нездешним отблеском, падающим из мира «страшных братьев»; и проносится по ней мгновеньями ветер «почти свободы». У Бодлэра вырываются порой больные и вместе торжествующие крики этого великолепного дуализма. Из дуализма лирического пафоса вытекает с художественною закономерностью и дуализм формы. Это соединение жестокого веризма и гимнической монументальности. Синтез de l'Ange et de la charogne, как изображение человека — вот Ваше паскалевское задание, выполненное с редко изменяющим вам мастерством. И как благодарен Вам читатель за то, что эта беспомощная в земной юдоли, хрупкая Психея (вспоминаются свои строки:

Меж пальцев алавастровых лампада
Психеи зябкой теплится едва, —
Алмазная играет синева), — [8]

что эта милая Психея является и бестрепетной и победоносной, несмотря на все пробелы в душе и мире «как бы от пролитых кислот»... Одним словом, обнимаю Вас за «Тяжелую Лиру» горячо.

Вот обо всем этом и хотел я Вам тотчас написать, когда пришло Ваше милое письмо, содержавшее и деловой вопрос. На последний отвечаю так: книжек «Беседы» все не получил, деньги же высланы через банк, в размере 375 лир (или 68 нем. марок) за 9 сонетов, т. е. 126 стихов по рассчету, следовательно 25-28 копеек за стих. Но ведь это ни на что не похоже! Принужденный дорожить здесь и теперь каждым грошем, я был приведен этим обстоятельством полностью в уныние. А еще Алексей Максимович писал мне о повышении гонорарного тарифа в виду допущения «Беседы» в Россию!

Поклон Вашей супруге. В прошлом письме я решил познакомиться с нею заочно. К сожалению, стихов ее доселе не видел.

Поклон Алексею Максимовичу. Если Можно, помяните меня в молитвах к издателю.

Дружески Ваш

Вяч. Иванов

ПРИМЕЧАНИЯ

Вячеслав Иванович Иванов (1866-1949) приехал с семьей из Советской России в Италию в августе 1924 года. Семья его — дочь Лидия, сейчас известная в Италии органистка и композитор, и сын Дмитрий, — ныне французский журналист. Они поселились в Риме. Владислав Фелицианович Ходасевич (вместе с Н. Н. Берберовой) был в 1924-25 г.г. в Италии три раза: первый раз весной 1924 г., когда Иванова там еще не было, во второй раз — в октябре того-же года, когда Ходасевич и Иванов, как видно из двух первых кратких записок, разминулись, и в третий раз — весной 1925 г., когда Ходасевич был на пути из Рима в Париж. Самые теплые дружеские отношения связывали Ходасевича с Ивановым. Они хорошо знали друг друга по Москве, где Иванов жил до своего переезда в Баку. В 1920 году Ходасевичу, между прочим, довелось жить в том самом Доме Отдыха, где жили В. И. Иванов и М. О. Гершензон, и где была ими написана «Переписка из двух углов». (См. «Некрополь» В. Ф. Ходасевича, статья о М. О. Гершензоне).

Первое письмо, на котором В. И. Ходасевичем не проставлен год, адресовано в Рим, в гостиницу «Минерва», где Ходасевич остановился. Как видно из письма, Ходасевич, выезжая из Парижа, предупредил Иванова, что на несколько дней он остановится в Риме (он ехал в Сорренто). Но вторая записка, оставленная в том же отеле лично Ивановым, показывает, что свидание на этот раз не состоялось. Третье письмо адресовано уже в Сорренто, где Ходасевич провел зиму 1924-25 г., в доме Горького.

В эти месяцы еще не была потеряна надежда на то, что журнал, который редактировали Горький и Ходасевич, «Беседа», будет продолжаться. Издатель жил в Берлине и все еще надеялся (на основании обещаний Горького), что «Беседа» будет допущена в Россию, однако, события в литературной жизни Петербурга и Москвы шли таким ходом, что с каждой неделей становилось ясней, что журнал обречен: издатель «Беседы», С. Г. Сумский (ему принадлежало издательство «Эпоха», где вышли сочинения Блока, Белого и др.), через три года, в 1928 году, вынужден был прекратить издательское дело.

Четвертое и последнее письмо также адресовано В. И. Ивановым в Сорренто. Ответные письма Ходасевича к Иванову находятся в Риме, в архиве В. И.

[1] — Горький.

[2] — Пьеса в стихах В. И. Иванова «Любовь-Мираж», сатирическая шутка, до сих пор не опубликованная.

[3] — Н. Н. Берберова.

[4] — М. О. Гершензон, автор «Грибоедовской Москвы», «Декабриста Кривцова» и др. 1869-1925.

[5] — Статья об «Идиоте» получена в Сорренто не была и в «Беседе» не напечатана. Русский текст позднее пропал у переводчика и статья эта была напечатана только по-итальянски.

[6] — Муратов, Павел Павлович, автор «Образов Италии», «Эгерии» и др. 1881-1950.

[7] — Цитата из «Баллады» Ходасевича. Дальнейшие цитаты также из стихов «Тяжелой Лиры».

[8] — Цитата из стихотворения Вяч. Иванова «Психея-скиталица», 1915 г.

Н. Берберова

БИБЛИОГРАФИЯ

LEONARD SCHAPIRO. *The Communist Party of the Soviet Union.* Random House — New York, 1960.

Этот большой том в 630 страниц фактически является первой научной историей большевизма и коммунистической партии Советского Союза со дня ее основания и до наших дней. Автор, профессор Леонард Шапиро, родившийся в Англии в 1908 году, детство свое до 1920 года провел в России. Образование он получил в Англии и сейчас он профессор Лондонского университета. Несколько лет тому назад в Англии и Америке вышла его книга «Возникновение большевистского самодержавия». Этой книгой автор завоевал себе вполне заслуженную репутацию не только серьезного знатока русского революционного и социалистического движения и русской революции, но и беспристрастного ученого историка. Для своей новой книги «История коммунистической партии Советского Союза» проф. Шапиро использовал не только многочисленную печатную литературу по этому вопросу, но и богатый архивный материал Британского музея, Гарвардского и Колумбийского университетов в США, а также архив Б. И. Николаевского в Нью Йорке. Ленин правильно назвал большевистскую партию «партией особого типа». Но до сих пор весь мир знал о большевистской партии только то, что писали официальные большевистские историки, причем прошлое партии не раз подвергалось радикальному пересмотру, согласно требованиям тех, кто стояли у власти. Такая судьба постигла «Историю партии» Г. Е. Зиновьева, потом «Историю» И. Попова, вслед за ней «Историю» Е. Ярославского, а на 20-м съезде партии и «Краткий Курс» Сталина.

Теперь наконец на английском языке есть объективная и обстоятельная история не только коммунистической партии, но и тех партий, против которых большевики боролись до своего прихода к власти и которых они подавили в 1917 г.

В книге Леонарда Шапиро нет ничего полемического. Автор объективно и подробно излагает историю большевистской организации, сначала как отдельной фракции РСДРП, он рассказывает и о всех маневрах Ленина, в результате которых Ленин создал, по его словам, «партию особого типа» и как в 1917 году при помощи

этой партии ему удалось захватить власть. Автор показывает, как позднее при тоталитарном контроле государства партией и при диктатуре нескольких лиц над партией, Сталин захватил всю власть в свои руки и создал беспримерный в современной истории «культ своей личности». И, наконец, автор анализирует изменения, происшедшие после смерти Сталина. На целом ряде примеров профессор Шапиро показывает, как марксистская теория разно истолковывалась в угоду политике данного момента, не только Лениным, Сталиным и Хрущевым, но и их противниками в рядах коммунистической партии. Все без исключения оппозиционные фракции в коммунистической партии поддерживали насильственное подавление демократических и социалистических партий и каждая оппозиционная группа в самой коммунистической партии была уничтожена при полном одобрении и поддержке остальных оппозиционных групп. Так, например, Троцкий помог Ленину ликвидировать вождей Рабочей Оппозиции, чтобы потом при помощи Зиновьева и Каменева, самому быть уничтоженным Сталиным. Потом Бухарин помог Сталину уничтожить Зиновьева и Каменева, и позднее был сам расстрелян так же как и они.

Профессор Шапиро дает правдивое описание революционных событий и той роли, которую те или другие видные большевики играли в партии и в революции.

Проф. Шапиро рассматривает до-революционных и по-революционных социалистических и коммунистических противников Ленина и Сталина — меньшевиков, троцкистов и всех так наз. правых и левых «уклонистов» как жертв обстоятельств, которые они сами помогли создать.

Из книги Шапиро видно, что огромное большинство большевистских лидеров не отличались особым героизмом. Почти все они восхваляли Сталина, неоднократно публично каялись в своих «грехах» перед партией и отказывались от своих убеждений, лишь бы остаться привилегированными членами ком. партии. О Троцком проф. Шапиро пишет: «Так же как и Мартов, (лидер левых меньшевиков. *Д. Ш.*) Троцкий пал жертвой его веры в марксистскую догму. Только потому, что каждый из них верил в необходимость «единства партии пролетариата». Они оба — Мартов в годы 1910 — 1914, а Троцкий после 1922 г. — совершили ошибку, ища компромисса с противником, единственная цель которого была — полное политическое уничтожение всех тех, кто стояли ему поперек дороги».

Проф. Шапиро отмечает тот факт, что по официальным данным, 14 процентов всех членов коммунистической партии и 10 процентов кандидатов партии, умерших в первые три месяца 1925, когда началась открытая травля Троцкого, покончили самоубийством.

Уже в 1922 г. четверть всех членов коммунистической партии состояла из молодежи ниже 25-летнего возраста. Больше половины членов были людьми в возрасте меньше 30 лет и 85 процентов меньше 40 лет. Старые большевики, бывшие участники Октября и гражданской войны, уже тогда составляли незначительное меньшинство в партии. Часть из них умерла естественной смертью или покончили самоубийством, другие, разочаровавшись в коммунизме покинули ряды партии, многие были «вычищены» по приказу Сталина, а наиболее видные из них были впоследствии ликвидированы вместе с меньшевиками, эс-эрами и анархистами.

Сталинский период проф. Шапиро называет «Третьей революцией». Начало ее он относит к поражению Бухарина в Политбюро и в Ц.К. партии. Бухарин был идейным вождем «правых» большевиков, настаивавших на продолжении НЭП-а. Они были и противниками «ликвидации кулаков как класса». Выступая против насильственной коллективизации они требовали ослабления террора в стране. Глава «Поражение Бухарина» — одна из самых интересных в книге Шапиро. Автор приводит интересные цитаты из статей и речей Бухарина, которые уясняют его точку зрения. Так напр., в речи произнесенной им в Москве 21-го января 1929 г. в пятую годовщину со дня смерти Ленина Бухарин привел такую выдержку из одной из самых последних статей Ленина: «Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали на политическую борьбу... Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на *мирную организационную культурную работу*». Последние слова Бухарин подчеркнул и прибавил свой собственный коментарий, что *«третьей революции» не должно быть.* Но Сталин именно тогда настаивал на усилении «классовой борьбы», т. е. ликвидации НЭП-а и «раскулачивании» крестьян. Уже в феврале 1929 лидеры правой оппозиции (Бухарин, Рыков, Томский) предстали перед Контрольной Комиссией партии, чтобы дать ответ на обвинения предъявленные им от имени большинства Политбюро. Обвиняемые подали протест в Политбюро, содержание которого известно только из цитат приведенных их противниками. Бухарин, Рыков и Томский протестовали против единоличных решений и замены коллективного контроля контролем одного человека, Сталиным. По словам Сталина, они требовали понижения темпа индустриализации, прекращения насильственной коллективизации, и создания новых совхозов, восстановления частной торговли, отмены исключительных мер против «кулаков», которые по их словам, ведут «к военно-феодальной эксплуатации». В терминах сильно напоминавших все прежние оппозиционные течения в партии они также жаловались

на «бюрократизацию» и на политику, которая ведет к ликвидации Коминтерна. «Судя по взглядам, высказанным Бухариным в его «Заметках экономиста», — говорит проф. Шапиро, — трудно поверить, что вышеизложенное является точным резюме того, что было сказано в обращении к Политбюро. Но эта формулировка дала возможность Сталину представить Бухарина и его последователей, как защитников ненавистного «кулака», а следовательно не только антимарксистами, но и контр-революционерами». В апреле 1929 г. Сталин произнес длинную речь — против Бухарина и его группы, которая, однако была напечатана лишь через много лет (в 12 томе Сочинений Сталина).

Позднее на процессе Бухарина, Рыкова и других видных правых большевиков прокурор Вышинский обвинял Бухарина в целом ряде преступлений, которых тот не совершал. Бухарин во всем «сознался». Только одно обвинение против него он до самой последней минуты упорно отрицал, а именно, то, что он якобы вместе с левыми эс-эрами в 1918 г. замышлял арестовать и убить Ленина. К началу процесса были привезены в Москву многие левые эс-эры и левые коммунисты, долго сидевшие в разных тюрьмах и концлагерях, которые должны были выступать в качестве свидетелей против Бухарина. Все они, за исключением Бориса Камкова, одного из бывших лидеров левых эс-эров, показали о Бухарине все, что им сказал о нем Вышинский. Один Камков имел мужество открыто противоречить Вышинскому. Он решительно отрицал, что Бухарин вместе с левыми эс-эрами замышлял убить Ленина. Какую кару Камков понес за это не трудно себе представить. Он бесследно исчез.

Главы о московских процессах старых большевиков и о кровавых «чистках», проведенных Сталиным во второй половине 30-х годов, принадлежат к наиболее интересным в книге Шапиро. Между прочим, в его книге мы впервые находим правдивое изложение взглядов различных течений в меньшевизме до и после революции.

О послесталинском периоде проф. Шапиро пишет сравнительно кратко, в виде эпилога. Коммунистическую партию Хрущева он считает именно такой партией, которую предвидел Ленин: массовой, строго централизованной, где доминирует партийная бюрократия, имеющая всю монополию власти. Хрущев, как и Ленин, диктаторствует через партию, в то время, как Сталин очень часто действовал вопреки воле партии. Проф. Шапиро воздерживается от предсказаний, но высказывает одно интересное соображение. Он сомневается захотят ли коммунисты нового поколения, более образованные чем их предшественники и не несущие ответственности за преступления Сталина, быть ограничены правилами ленинско-сталинской «под-

польной конспирации». Для них Ленин в конце-концов только легенда.

Книга Шапиро не только история коммунистической партии. Она фактически является также краткой историей Советского Союза за сорок с лишним лет. Недостатком книги я считал бы чрезмерное обилие (особенно в первой части) мелких подробностей, которые очень важны для историков-специалистов, но не могут интересовать среднего интеллигентного читателя, особенно иностранца. Эту книгу следовало бы перевести на русский язык.

Д. Шуб

GEOFFREY BAILEY. THE CONSPIRATORS. An extraordinary story of intrigue between Russia and Western Europe during the years before World War II. Harper and Brothers. 1960.

В своей книге Джоффри Бэйли освещает наиболее яркие эпизоды борьбы советской тайной полиции с активными организациями российской эмиграции в период с 1920 по 1938 год. В своем предисловии автор пишет, что ставит перед собой задачу тщательно проанализировать собранную им обширную и разнообразную документацию и на ее основе дать первый *цельный* очерк подпольной борьбы того времени, которая по его словам, не имеет равных в истории.

Будучи, вероятно, специалистом своего дела, Дж. Бэйли, как явствует из подзаголовка книги и его собственного предисловия, представляет себе цепь описываемых событий как борьбу между Россией и Западной Европой. Такое представление, конечно, в корне неверно. В те годы российская эмиграция, несмотря на свои внутренние разделения и партийные разногласия, представляла собой весьма крупную политическую силу, действовавшую в качестве самостоятельного фактора и причинявшую большевикам не мало тревог и опасений. В тогдашней своей борьбе против коммунизма российская эмиграция была одинока, и ни одна держава Западной Европы не оказывала ей существенной и действенной помощи. А то, что Дж. Бэйли представляется «необычайной повестью об интригах между Россией и Западной Европой», могло выражаться лишь в стремлении некоторых государств использовать в своих целях действия эмигрантских организаций против советской власти.

Дж. Бэйли работал над книгой почти четыре года. За этот срок автор изучил множество находящейся в нескольких крупных библиотеках литературы — книги русских и иностранных авторов, статьи и сообщения в газетах и журналах; выслушал и некоторых живых свидетелей, по ряду причин, вероятно, не слишком склонных

к откровенности. Результаты своей работы автор изложил на 306 страницах, из коих лишь 267 составляют, собственно, книгу. Остальное — это подробный библиографический указатель, сноски, заметки и справки о некоторых действующих лицах книги.

Книга разделена на двенадцать глав. Их темы — краткая история первого «Треста», трагический конец Б. В. Савинкова и С. Рейли, похищение генерала Кутепова, «дело» Тухачевского, кровавая ежовская чистка в СССР, похищение генерала Е. К. Миллера. Изложить все это на 267 страницах — трудно, но Бэйли справился с этим отлично. Его книга до такой степени насыщена фактическими данными, их анализом, гипотезами и выводами, что просто диву даешься, как можно было изложить столь кратко такое количество событий.

Наиболее полно, удачно и убедительно рассказаны истории завлечения в сети ГПУ таких опытных конспираторов, как Б. В. Савинков и Сидни Рейли. Хорошо описаны работа ГПУ и НКВД по проникновению в эмигрантские организации и по вербовке провокаторов из эмигрантов. Здесь книга Бэйли показывает все преимущества, которыми в борьбе с эмиграцией располагает мощный аппарат тайной политической полиции тоталитарного государства. Держа в своих руках инициативу, провоцируя эмигрантов в выгодных для себя направлениях, по временам применяя откровенное насилие и террор, ГПУ и НКВД шаг за шагом разбили многие попытки эмиграции повлиять тогда на судьбы России под советской властью.

Отсутствие исчерпывающих данных о работе ГПУ ставит Бэйли в нелегкое положение. В сомнительных случаях (а их много) он старается избрать наиболее вероятную версию. И пишет с соответствующими оговорками. Тем не менее он принимает на веру некоторые сомнительные версии. Так, например, он пишет о том, что точные обстоятельства похищения ген. А. П. Кутепова были окончательно установлены (стр. 111). Бэйли пользуется здесь полицейской версией, основанной на показаниях госпитального служащего Стеймеца, якобы видевшего похищение генерала. Но, как известно из судебного процесса Плевицкой, обвинительным актом по ее и генерала Скоблина делу признано, что обстоятельства похищения ген. Кутепова и личность похитителей никогда не были раскрыты. Связывая оба похищения с именем Скоблина, обвинительный акт тем самым намекает на то, что и Кутепов, и Миллер были заманены в западню человеком, к которому они оба питали доверие. Записка ген. Миллера указывает на то, как он попал в западню, подготовленную Скоблиным. В случае похищения ген. Миллера днем на улице не произошло никакого насилия. Вероятно, то же самое случилось и с ген. Кутеповым, который, как впрочем отмечает и Бэйли,

никогда не пользовался неизвестной ему автомашиной и никогда не входил один в незнакомый дом (стр. 105). Следовательно, версия похищения ген. Кутепова на улице Руссле — днем, около его квартиры, с применением насилия и вытекающим из него риском для похитителей — могла быть изложена только как одна из гипотез.

Указание Бэйли на то, что, по словам ген. Миллера, Кутепов был связан с Тухачевским более чем странно и к тому же никак не документировано. Трудно поверить, что такой скупой на слова и сдержанный в делах секретного порядка человек, как Е. К. Миллер, мог легко доверить кому-либо такую тайну. К тому же следует учесть еще политическую и психологическую обстановку конца двадцатых годов, исключавшую какую-либо связь между такими антиподами, как красный маршал Тухачевский и белый генерал Кутепов.

Далее, пытаясь проникнуть в причины похищения ген. Е. К. Миллера, Бэйли высказывает убеждение, что к разгадке этой тайны ближе всех подошел Вальтер Кривицкий. Хотя последний ничем не документировал своих соображений, Бэйли принимает на веру версию Кривицкого и вместе с ним утверждает, что ген. Миллер был в курсе «заговора» Тухачевского, что он мог «разоблачить» Сталина и что это вызвало необходимость его уничтожения. Бэйли правильно отмечает охлаждение в отношениях между Скоблиным и ген. Миллером, происшедшее в декабре 1936 года. Но произошло оно из-за решения ген. Миллера освободить Скоблина от должности возглавителя секретной «внутренней линии», свившей себе гнездо в недрах Русского Обще-Воинского Союза. Тем самым ГПУ лишалось возможности непосредственно через Скоблина контролировать РОВС. Учитывая потенциальные возможности РОВС-а в условиях надвигавшейся войны, ГПУ и решило удалить Миллера с поста председателя РОВС-а и тем открыть Скоблину путь к возглавлению этой организации.

Чрезвычайно сомнительно утверждение Бэйли, что проживавший в Финляндии ген. Добровольский предупреждал ген. Миллера о недоброкачественности Скоблина *уже в октябре 1933 года* (стр. 125). Как видно из выступлений мэтра Мориса Рибэ на процессе Плевицкой, «Петр Петрович» (т. е. Скоблин) был назначен руководителем секретной работы РОВС-а лишь в сентябре 1933 года; первая неудача с посылкой людей из Финляндии в СССР произошла в начале лета 1934 года; но лишь 25 августа 1935 года, со слов финнов, ген. Добровольский впервые и лишь косвенно намекал ген. Миллеру на неблагополучие в его парижском окружении.

Что до «дела» Тухачевского, то, несмотря на все оговорки, ясна вера Бэйли в антисталинские заговоры в красной армии. Между

тем, ничто не доказывало и до сих пор не доказывает наличия этих «заговоров». Реабилитация Тухачевского и других красных генералов после XX съезда КПСС — лишнее тому подтверждение. В этом смысле доводы Бэйли не убедительны, и это несмотря на кажущееся обилие различных справок, ссылок и домыслов.

Нам думается, что Бэйли с успехом мог бы не писать своего послесловия. Одного словесного свидетельства ген. Бискупского недостаточно для того, чтобы утверждать о разоблачении немцами Опперпута, явившегося якобы для шпионской работы на занятой немцами территории. Во-первых, крайне сомнительно, чтобы НКВД послал бы его в третий раз в не-коммунистический мир. Во-вторых, нет никаких доказательств, что расстрелянный немцами «барон фон Мантейфель» был именно Опперпутом. В-третьих, вряд ли он, как знавший многое из деятельности ГПУ и НКВД, мог уцелеть во время ежовщины, когда исчезли его начальник Артузов и многие другие деятели этого учреждения.

В заключение — о досадных мелочах, портящих впечатление от книги. Русский читатель будет несомненно удивлен, узнав, что генерала-от-инфантерии Александра Павловича Кутепова Бэйли называет генерал-лейтенантом Павлом Александровичем Кутеповым (стр. 89). Пресловутого капитана Фосса, артиллериста по роду оружия, Бэйли числит по кавалерии. Из сноски на стр. 231-ой можно заключить, что генерал Корнилов был первым полковым командиром Скоблина по Корниловскому полку, в то время как первым командиром был полк. Неженцев. Иностранный отдел ГПУ (ИНО ОГПУ) Бэйли именует Иностранным Управлением ОГПУ, хотя ясно, что в Управлении могут быть лишь отделы, но никак не управления. Имеются еще кое-какие погрешности этого рода, и их хорошо было бы избежать.

Высказанные замечания все же не умаляют значения труда Дж. Бэйли. Этот труд нужен и полезен. Из него и политик, и дипломат, и военный могут почерпнуть многие нужные сведения о приемах работы советской тайной полиции в среде эмиграции.

Б. Прянишников

Л. РЖЕВСКИЙ. ДВОЕ НА КАМНЕ. Товарищество зарубежных писателей. Мюнхен. 1960

В отчетный сборник входят три рассказа, ранее напечатанные в эмигрантских периодических изданиях. В сборнике эти рассказы тщательнее отшлифованы. Содержание и форма рассказов Л. Ржевского показывают, что автор, как писатель, несомненно вырос.

Трудно поверить, что перед нами тот самый Ржевский, который написал наивно-сентиментальный роман «Между двух звезд». Эти три вещи сделаны наблюдательным прозаиком, который знает тонкости литературной техники, при чем приемы его мастерства часто напоминают Вениамина Каверина раннего периода и Набокова-Сирина. Их влияние обнаруживается и в системе применяемых Ржевским художественных образов и в некоторых композиционных приемах. Но в чем Ржевский оригинален — так это в тематике и в искреннем изображении внутреннего мира своих героев. При этом, на мой взгляд, очень важно, что Ржевский — новый эмигрант, и читатель его рассказов, написанных умелой рукой, получает редкую возможность проникнуть в своего рода идеологический заповедник. Автор как бы приоткрывает ту Россию, которую советская литература вынуждена обходить молчанием.

«Какая это трагедия, что невозможно писать о главном — о страданиях, о несправедливостях, — говорит Вика из рассказа «Двое на камне». — На этом ведь выросла наша старая литература, которой будто бы мы наследники. Но сейчас эти наследники молчат, как ослепли на все... Когда я об этом думаю мне хочется стать телефонисткой, а не учительницей».

А начинающий писатель Саша из этого же рассказа возмущен теми, кто «убивают творческие идеи на корню».

«Им, — признается он, — подавай пропагандный барабан, для него они, коли надо, сдерут шкуру с самого твоего задушевного замысла».

В рассказах Ржевского выведены советские интеллигенты: студенты, студентки, аспиранты, архитекторы, профессора. В показе их Ржевский задерживается не столько на фабуле переживаемых ими страданий, сколько на том, как эти страдания отразились на их внутреннем мире. «Я совсем не помню, что именно говорил Радов, — вспоминает герой «Сентиментальной повести», — помню только его лицо с полузакрытыми глазами (у него была привычка приспускать веки, когда он говорил), с усилием спокойное лицо травимого. Глядя тогда на это лицо, я подумал, что во всех «защитах» на этом совещании, как и в обвинениях, именно вот это оскорбленное человеческое, личное, пренебрегалось, обходилось совсем, как будто его и не было». В сборнике «Двое на камне» Л. Ржевский и выступает в защиту оскорбленного человеческого, личного, действующих лиц своих рассказов. И выступает, как наблюдательный художник. В сочетании формального литературного умения с «заповедным» содержанием и состоит ценность сборника «Двое на камне».

Вяч. Завалишин

ECONOMIC SYNTHESIS. By Dr. Boris Ischboldin, New Book Society, New Delhi, 1958, pp. 543, $6.00. Distributor: The Book Store of St. Louis University, St. Louis 3, Mo.

Др. Б. Ижболдин, выдающийся русский экономист и профессор экономики в Сант Льюисском Университете, этой своей работой, без сомнения, обогащает американскую экономическую литературу. Задача книги — дать подлинный синтез различных взглядов в экономической науке. Несмотря на то, что автор придерживается «в основном консервативного подхода», его программа скорее прогрессивна чем консервативна и, в некоторых случаях, смелая.

Книга показывает интересную панораму общественно-экономических идей. Она удачно соединяет традиционные теории с современными доктринами. Она остро критикует и оспаривает некоторые теперешние идеи «с механистическими тенденциями». Обращаясь к читателям говорящим по-английски, автор открывает некоторые малоизвестные богатства европейской экономической мысли. В этом отношении одной из интересных глав книги является та, где автор подчеркивает вклад в науку некоторых русских экономистов (Туган-Барановский, Струве и др.).

В целом, книга передает генезис различных идей. В ней тщательно анализируются истоки тех и других доктрин, их эволюция и значение для нашего времени. Все источники — и традиционно признанные, и спорные, и популярные, и не популярные (включая советских теоретиков, как Попов, Зелингер и Гухман) одинаково подвергаются автором тщательному рассмотрению. Доктор Ижболдин считает, что экономический прогресс должен сопровождаться ростом социальной ответственности. Как и многие экономисты до него он убежден, что экономика может быть использована для поднятия человеческого благосостояния. В этом отношении особенно заслуживает внимания его идея «социальной ренты». Он считает, что у каждого есть право на достаточную долю во всем, что производится в нормально функционирующем хозяйстве. И автор убежден, что от принятия такой более прогрессивной идеи «социального обеспечения» зависит само существование капиталистической системы. Автор подчеркивает возможность согласования капиталистической демократии с стремлением к большей социальной обеспеченности. Он считает, что такое развитие капиталистического общества не приведет к упразднению демократии. Наоборот, — идея «социальной ренты» сделает возможной мирную эволюцию в западных странах.

На наш взгляд «Экономический синтез» Ижболдина — одна из наиболее будящих мысль книг, опубликованных после войны в об-

ласти экономики. Это — произведение ученого, который не только экономист, но и человек широкого кругозора.

Д. Викор,
профессор экономики в государственном университете штата Теннесси.

У ИСТОКОВ РУССКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ. Издательство АН СССР. М. 1959. Стр. 267, 74 репродукции (в общей пагинации).

Эта книга — коллективный труд 8 авторов, из которых 4 дали статьи, а другие 4 публикуют материалы с 3-мя приложениями. Все эти разносторонние исследования должны вести к единой цели, к ответу на вопрос, сто лет стоящий перед наукой: не было ли на Руси книгопечатания до появления Апостола 1564 г. Ивана Федорова? Положительное решение этого вопроса, несмотря на скудость и неясность источников, давно намечалось. Теперь оно определяется еще яснее: начало книгопечатания нужно отодвинуть на десятилетие назад, вне типографии Ив. Федорова появилось не менее 6-ти книг, а большинство этих так называемых «безвыходных» изданий и до Апостола 1564 г. К таким итогам привели кропотливые исследования, объектом которых были сохранившиеся экземпляры книг как вещественные, археологические памятники. Решающим критерием послужили вкладные записи на книгаах и упоминания о них, предшествующие изданиям, традиционно принимавшимися за первые. Акад. М. Н. Тихомиров, сам не раз производивший такие отдельные исследования, свел теперь все итоги в искусное цельное построение на широком общем историческом фоне.

Совершенно естественно, что рецензенту хочется остановиться тые в библиографии отчетного сборника, Барникот и Симмонс. Но на соображениях, возникающих при пристальном внимании к научной аргументации авторов статей, обобщенной академиком М.Н. Тихомировым. Можно только приветствовать его рекомендацию будущим исследователям искать новые данные в культурных связях с англичанами. Несомненно, это навеяно знакомством с теми находками, о которых сообщили в своей статье 1951 года, упомянутые в библиографии отчетного сборника, Барникот и Симмонс. Но составители списка не отметили, что та же статья была напечатана одним Барникотом в IV-ом выпуске парижского «Временника общества друзей русской книги» еще в 1938 г. в русском варианте. Важность этого описания была оценена лишь с того момента, как Р. Якобсон взялся за исследование новооткрытого львовского букваря Ивана Федорова. № 1 описания Барникота, может быть, дает ключ к новой научной сенсации, к открытию московского прототипа Букваря, что явно усматривается из разницы шрифта и пло-

щади страницы, причем оксфордский экземпляр типографски близок к Часослову 1565 года. Р. Якобсон это высказал как научный вывод, а я как естественное предположение (см. мою рецензию на его издание Букваря в № 45 «Нового Журнала»).

Смелая гипотеза М. Н. Тихомирова разбивает камень преткновения, на десятилетия задержавший ход научной мысли. Речь идет о знаменитом, но мнимом несоответствии в хронологии послесловия к московскому Апостолу 1564 г. По ней 1553-ий год оказывается будто бы 30-ым годом царствования Грозного. С излишней осторожностью М. Н. Тихомиров готов, идя за другими, допустить и опечатку, логично перемещая ее на вторую дату. Никакой нужды в этом нет при его толковании текста, основанном на полном несходстве приемов тогдашней пунктуации с нынешними. Исходя из этого, он предложил простейшее объяснение: в 1553 году начались «поиски» печатного дела, а в 30-ом году царствования вышло «повеление» о заведении царской типографии. Но аргумент брошен почти вскользь и досадным образом текст, столь важный именно с точки зрения пунктуации, в печатной цитате приводится с пропуском целых трех запятых в коротком речении «в 30 е», а запятые играют роль в нем то простого разделителя слов, то нашей соединительной черточки. О точке, разрывающей текст, он говорит лишь одним примером, тогда как все три страницы послесловия, приведенные в сборнике в репродукциях, это богатый материал для анализа и вывода, что вообще у Федорова, как и в рукописях, точки точкам рознь: то круглые, то квадратные; то жирные, то тощие: то внизу, то в середине, и средние почти заменяют абзацы. Следовало бы рассеять и последние сомнения, — в выражении «благоверный же царь». Это «же» тут имеет смысл не противительного союза (противопоставляющего Грозного Макарию), а повторно-усилительной частицы: «все *тот же,* упомянутый выше, благоверный царь...».

Послесловие Апостола приписывает Грозному инициативу создания печатного дела в России; М. Н. Тихомиров находит, что это «отражает действительный факт». Тут нужно уточнение: по его же изложению, инициатива принадлежала Макарию, уже начавшему печатное дело, а царская воля выразилась в переводе его на государственный бюджет.

Мысль М. Н. Тихомирова о добровольном отъезде печатников в Литву, А. С. Зерновой, работающей в той же сфере, кажется «неожиданной». Не согласна А. С. Зернова и с его признанием возможности участия Федорова в работе неизвестных типографий, ссылаясь на совершенство работы первопечатника. На это можно возразить, что и Федорову надо было когда-то учиться, чтобы дойти до совершенства.

Не очень убедительным представляется суд над известием Флетчера о московской типографии. Из текста не видно, была ли привлечена к делу общая оценка этого источника, сделанная проф. С. М. Середониным в его специальной монографии. Кстати, и А. С. Зернова, в своем труде о начале книгопечатания (1947) при подлинном тексте дает устарелый перевод по злосчастному изданию Бодянского. Работу покойной Е. В. Зацепиной, редакция печатает с долей снисхождения, но читатель встречает ее с удовлетворением: она интересна не только по мысли, но и публикацией замечательных иллюстраций. Это новая, и высокая, ступень на пути к ненаписанной еще общей истории русской миниатюры, в которой повторенные Е. В. Зацепиной два всадника займут, может быть, место рублевской Троицы в живописи.

В целом, отчетный сборник несомненно войдет новой страницей в русскую культурную историю середины XVI века.

К. И. Солнцев

Л. Н. ТОЛСТОЙ. ХРИСТИАНСТВО И ЦЕРКОВЬ. К 50-летию смерти великого писателя. Собрал и издал А. И. Чернов. Нью Йорк. 1960.

Эта брошюра в 32 страницы содержит ответ Л. Н. Толстого на отлучение его от православной церкви, цитаты из некоторых его религиозно-философских произведений, выписку из известного описания Толстым православной обедни в романе «Воскресение» и текст «определения святейшего синода», которым Толстой отлучен от церкви.

Брошюра эта вызывает у читателя недоумение. Зачем она издана? Составитель ее совершенно правильно пишет в предисловии, что «дать систематическое изложение религиозного мировоззрения Л. Н. Толстого в небольшой по размеру книжке — нет никакой возможности». Ну, а на 32 страницах, казалось бы и вовсе! Какой же материал взял составитель? Он взял материал, так сказать, полемический, антицерковный. И именно поэтому брошюра его и производит неприятное впечатление какого-то анахронизма и агитации.

Разумеется, каждый может делать что угодно даже с самым большим человеком. От этого никто не застрахован. Например, к пятидесятилетию со дня смерти Толстого в Советском Союзе его уродуют в угоду тупой партийной доктрине. «Известия» прямо написали, что «многое, о чем мечтал Толстой, восторжествовало в нашей стране, построившей социализм». Некий казенный литературовед Б. Мейлах сообщил, что самое главное в Толстом это

то, что «он негодовал по поводу палаческой политики царизма, столыпинской реформы и радовался португальской революции, свергнувшей короля...». И даже Леонид Леонов, от которого мы могли бы, кажется, ожидать хотя бы тут некоторого мужества, — в своей длинной речи памяти Толстого поставил его, конечно, рядом с «великим Лениным» и вульгаризировал мысли Толстого в стиле угодном «партии и правительству».

Вот при таком «общероссийском фоне» вряд ли следовало здесь, на свободе, в эмиграции пытаться сделать из Толстого устарелую агитку, преподнося дорогого всем русским человека в виде какого-то воинствующего антицерковника. Это не мерка для Толстого. Его в нее не уложишь. Толстой дорог русским (и всему культурному миру) не как «агитатор», «пропагандист», «революционер», «борец с царизмом». Бездонную глубину Толстого аршином антицерковности не измерить.

На мой взгляд, единственно ценное в отчетной брошюре это воспроизведение рисунка Л. О. Пастернака — «Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев и Н. Ф. Федоров». Рисунок сравнительно редкий и приятный.

Роман Гуль

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

Ю. МАРГОЛИН. *Еврейская повесть*. «Мааян». Тель Авив. 1960.

Л. Н. ТОЛСТОЙ. *Христианство и церковь*. К 50-летию смерти великого писателя. Собрал и издал А. Н. Чернов. Нью Йорк. 1960.

ФЕДОР КУБАНСКИЙ. *Орлы земли родной*. Издание автора. Петерсон, Н. Дж. 1960.

С. В. КОРСУНЕЦ. *Сквозь бури*. Рассказы, сказки, драма. Издание автора. Пацифик Палисейдс, Калифорния. 1960.

ВЛ. КРЫМОВ. *Завещание Мурова*. Роман. Из-во «Дон». Нью Йорк. 1960.

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. *Избранное*. Редакция и предисловие Марка Слонима. Юниверсити оф Мичиген Пресс. Енн Арбор. 1960.

АННА ПРИСМАНОВА. *Вера*. Лирическая повесть. Изд. «Рифма». Париж. 1960.

Р. ДОНЦЕВ. *По Ленинскому пути*. Издание ЦОПЭ. Мюнхен. 1960.

БОГДАН КРАВЦІВ. *На багряному коні революції*. В-во «Пролог». Нью Йорк. 1960.

К. КОНОНЕНКО. *Колоніяльний визиск-основа советскої індустріалізації* В-во «Пролог». Нью Йорк. 1960.

ДМИТРО СОЛОВЕЙ. *Політика ЦК КПСС у плануванні розвитку промисловости та промислових кадрів на Україні.* В-во «Пролог». 1960

Легенда и дествительность. Из-во «Пролог». 1959.

Soviet Short Stories. Edited by *Avraham Yarmolinsky.* Doubleday & Co. Garden City, N. Y. 1960.

ALEXANDER VANNOVSKY. *Volcanoes and the Sun.* Bridgeway Press. Tokyo. 1960.

Myth and Reality. Prolog. New York. 1959.

The Russian Review. October 1960. Vol. 19, N. 4. Hanover N. H. 1960.

ALBERT PARRY. *Russian Rocets and Missiles.* Doubleday & Company. Garden City, N. Y. 1960.

Ю. А. КУТЫРИНА. *И. С. Шмелев.* Издание Русского Научного Института при Русской Акад. Группе в Париже. Париж, 1960.

КНИГА 61-я: Из литературного наследства И. А. Бунина. Георгий Иванов — Посмертный дневник. *Бор. Зайцев* — Давнее. *Вячеслав Иванов* — Стихотворение. *А. Величковский* — Шесть стихотворений. *Б. Темирязев* — Рваная эпопея. *Д. Кленовскнй* — Четыре стихотворения. — *Е. Петров-Скиталец* — Полёт. *Н. Туроверов* — Смерть, стихи. *В. Яновский* — Заложник. *Ирина Одоевцева* — Разностопные ямбы. *Н. Нижальский* — На Араксе (очерк). *М. Форштетер* — Пять стихотворений. *Н. Трубецкой* — Ранний Достоевский. *Г. Адамович* — Наши поэты. Ирина Одоевцева. *Ю. Офроснмов* — Против течения (о поэзии В. Корвина-Пиотровского). *Воспоминания н документы: гр. В. Зубов* — Страницы воспоминаний. Гатчина. *Г. Аронсон* — Записки провинциального журналиста. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Н. Валентинов* — О предках Ленина и его биографиях. *Владас Станка* — В. С. Войтинский. *Ю. Деннке* — К диагнозу современного кризиса. *В. Некрасов* — В. И. Вернадский. *Прот. В. Зеньковскнй* — Л. Толстой как мыслитель. *Н. Лосский* — «Война и Мир» Толстого и «Доктор Живаго» Пастернака. *Библиография: И. Одоевцева* — «О Ремизове» Наталии Кодрянской. *Ю. О.* — В. Марков «Гурилевские романсы».

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ

Поэма

Изд-во «Мост» Цена 1 дол.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

1943-1958
СТИХИ

Вступительная статья **Романа Гуля**

Издание «Нового Журнала» Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА
к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати **Л. Л. Домгер**

Издание «Нового Журнала» Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост» Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

АЗЕФ

Исторический роман

Издательство «Мост» Цена 3 д. 50 ц.

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового «Журнала» за исключением № 1 и № 3. До № 25 книги стоят 2 дол. (10 цент. пересылка), начиная с книги № 26 — 2 дол. 25 цент. (10 цент. пересылка).

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1961 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, **кроме** праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня